МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## А. Н. РУБАКИН




# В ВОДОВОРОТЕ СОБЫТИЙ

DirectMEDIA

А. Н. Рубакин

# В водовороте событий




Москва
2024

УДК 82-36
ББК 84(2)6-49
Р82

**Рубакин, А. Н.**

Р82 В водовороте событий / А. Н. Рубакин. — Москва : Директ-Медиа, 2024. — 332 с.

ISBN 978-5-4499-4340-8

Книга воспоминаний историка медицины, профессора Александра Николаевича Рубакина посвящена самому тяжелому периоду его жизни — годах оккупации во Франции, где он жил и работал с 1933 по 1941 г., и годах заключения в концлагерях Франции и Алжира. Автор вскрывает всю подноготную грязной игры правящих кругов ряда стран Западной Европы, рассказывает о том, как простые люди буквально выживали во время оккупационного режима. Особые страницы Александра Николаевича — о годах заключения в концлагере, когда, несмотря ни на что, он не терял присутствия духа: «…я вижу, до какой степени всех нас спасала от отчаяния уверенность в том, что фашизм будет уничтожен, Советский Союз будет победителем. Не было ни минуты, когда бы эта уверенность ослабевала. Она сплачивала коллектив, вселяла в нас бодрость».

УДК 82-36
ББК 84(2)6-49

ISBN 978-5-4499-4340-8 

# Вступление

Февраль 1941 года. Долгий зимний вечер. Темно и холодно, темно и голодно. Льдом веет от мертвых радиаторов отопления. Наглухо закрыты ставни окон, плотно затянуты занавески. На улице темно, так темно, как бывает только на море, в бурю, в непроглядную осеннюю ночь. Лишь изредка слышны тяжелые шаги немецкого патруля. Их не спутать ни с какими другими шагами. Гитлеровец, даже если он один, всегда шагает в ногу с кем-то, как будто по команде.

Кафе и рестораны закрыты с десяти часов вечера. Из окна, если погасить свет в комнате и отодвинуть занавески, можно увидеть порой неясный силуэт прохожего; поблескивает синий свет «затемненного» электрического фонарика. Белеет краска на краях тротуаров и поворотах улиц, на черных стволах деревьев, на фонарных столбах. Так живет теперь вся Европа, Европа 1941 года.

Порой слышен грохот германского военного автомобиля — на фарах две щелочки, из которых брызжут струйки кажущегося невероятно ярким света. Пыхтя, тянутся по асфальту грузовики и бронетранспортеры. На них смутно вырисовываются черные фигуры людей в шлемах, с винтовками. Боязливо скользит велосипедист, бросая синий дрожащий свет фонарика на мокрый асфальт. Дома, как скалы в ущелье, стоят черные, безглазые, мрачные. Город молчит, молчит вся Франция. Она прячется в нетопленых квартирах, за ставнями, за занавесками, чтобы не видеть врага, не видеть своего трагического бессилия. Но люди не спят. Накинув на себя пальто или одеяло, обступив приглушенный радиоприемник, французы жадно слушают звуки родной речи, доносящейся из-за рубежа. Голос надежды нарушает молчание Франции.

Таков Париж, Париж зимою 1940–1941 гг.

Еще год назад он был полон людей, бурлил жизнью. Поток автомобилей захлестывал узкие улицы и широкие авеню, разбегаясь ручьями по окрестностям. Кто мог бы тогда представить себе Париж без толпы и без автомобилей, без едкой и остроумной ругани шоферов?

Войну, начавшуюся осенью 1939 г., перестали принимать всерьез. Раз навсегда решили, что эта война — странная, чудна́я (непереводимое французское выражение — «drôle de guerre», означающее одновременно и «странная» и «забавная»). Порешив так, как будто успокоились. Неизвестно было, почему началась война и чем она может кончиться. С фронта не сообщали ни о действиях французов, ни о движении врага. Не было ничего из того, чем во Франции люди жили и волновались четверть века назад, в ту страшную войну, которую помнила Франция, потому что еще живы были те, кто тогда воевал.

Правительство как будто не знало, что делать — так казалось многим. Война была не с теми, с кем хотелось бы воевать тогдашним правителям Франции. Обрекая фронт на бездействие, они воевали с собственным народом. Правительство Даладье создало бесчисленные концлагеря и сажало в них своих же граждан, расправлялось с патриотами, с непокорной Францией Народного фронта.

Летом 1940 г., в один месяц, Франция рухнула. Если солдаты еще сражались, то внутренне страна принуждалась к капитуляции. От Лилля до Парижа, от Бреста до Дижона Франция стала германской провинцией. Она потеряла все, что имела, все, что приобрела за последнюю четверть века. Больше того, ее традиционному историческому престижу был нанесен удар, который тогда многим казался непоправимым.

Все это произошло неожиданно для французского народа, а главное, так бесславно, что сами французы отказывались понимать, как могла Франция дойти до национальной катастрофы.

Привыкший к победам, уверенный в своей силе и величии, французский народ еще никогда в истории не знал полного порабощения. Бывали поражения и неудачи, но Франция оставалась Францией, сохраняла независимость, сохраняла территорию не попранной иноземными врагами.

Как же произошло это падение Франции? Было бы наивно упрощать смысл событий, говорить только о военном поражении, в котором повинна кучка предателей. Кто позволил предателям безнаказанно творить свое черное дело? Как удалось врагам восторжествовать над духом, над волей народа?.. Понадобилось ведь немало времени, чтобы народ воспрянул и Франция вновь обрела самое себя.

О бесславном крушении Франции, о годах ее трагического рабства и начале возрождения я и хочу рассказать. Это не книга истории, это лишь одна ее страница, серия картин, запечатлевшихся в памяти одного из свидетелей и участников трагедии великого народа в страшные 1940–1943 гг.

Я — врач. Судьба забросила меня во Францию молоденьким студентом в 1908 г. Участник революции 1905 г. в России, я с первого курса университета попал в царскую тюрьму, был сослан в Сибирь и оттуда бежал за границу, — в Париж, где жил и учился вплоть до Октябрьской революции. После революции я снова попал во Францию уже как советский гражданин.

Прожив во Франции свыше четверти века, я ее узнал и полюбил, — полюбил ее народ, веселый, бодрый,

отважный, свободолюбивый. Я люблю города Франции, ее людей, ее поэзию и науку.

И вот на моих глазах все это рушилось. Многие из тех, кого я знал близко, любил и уважал за ум, за храбрость, за человечность, превратились в странные существа, не знающие, что делать, бороться ли за свою родину, за свою свободу и как бороться. В эпоху Французской революции 1789 г. рабочие Лиона написали на своих знаменах: «Быть свободными или умереть». В 1938 г. писатель Жан Жионо, которого многие во Франции считали почему-то одним из «передовых» интеллигентов, писал: «Лучше быть рабом, чем воевать». В этой чудовищной формуле выражено кредо французских правящих классов, предавших свою страну и народ. За 20 лет, прошедших после первой мировой войны, буржуазия успела и сумела подавить поднимавшиеся силы народа, сбить его с толку, заразить широкие круги общества своей моралью. Плоды этой дезорганизации в особенности сказались в годы страшных испытаний.

Волна жестокости, предательства, трусости, измены, мелкого эгоизма захлестнула и поглотила многих.

Я пишу о них и о тех, кто стал жертвой предательства, обмана и растерянности. Среди них нашлись люди, сумевшие, когда настал час, пойти с народом, стряхнуть с себя опутавшие их оковы лжи, обмана, искупить кровью, пролитой во имя борьбы за Францию, свою вину перед родиной.

Порой у меня прорываются горькие слова о Франции. Но пусть в них не ищут осуждения французского народа. Во Франции я увидел трагедию страны, зараженной ядом фашизма. То, что произошло во Франции в те годы, можно было видеть и в других странах мира. Но я видел это во Франции и потому пишу о ней. Я пишу только о том, чему сам был свидетелем, от чего

страдал, как и французы. Пишу я эту книгу с ненавистью к фашизму и с глубоким уважением и любовью к французскому народу.

В войну 1914–1918 гг. мне пришлось служить врачом-офицером во французской армии. Передо мною весь путь, который прошла Франция со времени этой войны. Победа 1918 г. была куплена ценою жизни 1 200 000 французов. Но эти жертвы были скоро забыты. Еще не замолк грохот пушек на полях Фландрии, а Париж и вся Франция покрылись сетью «дансингов», в которых под новые тогда ритмы американских джазов плясало новое, не побывавшее на войне поколение и те, кто уцелел в боях. Внешне Франция процветала. Многочисленные, богатые сырьем колонии наводняли ее своими товарами. Франция, как и Англия и маленькая Голландия, жила дешевым трудом своих колоний. Сравнительно высокий жизненный уровень был достигнут за счет нищенского существования подчиненных Франции колониальных народов. Жизнь была здесь значительно дешевле, чем в Англии, Германии или Голландии. До первой мировой войны Франция вывозила в основном предметы роскоши. Она снабжала Европу и Америку шелковыми тканями, парфюмерией, ювелирными изделиями, тонкими винами, шампанским, фруктами. Война преобразила экономику страны. Особенно бурно развивалась тяжелая промышленность. Этому способствовало наличие естественных богатств во Франции. Железной руды здесь больше, чем в других странах Западной Европы.

После войны 1914–1918 гг. волна эгоизма и самодовольства захлестнула Францию, особенно буржуазию, мелкую и крупную, разбогатевшее крестьянство, даже некоторую наиболее обеспеченную часть рабочих. Два миллиона частных автомобилей катились по

асфальтированным дорогам страны. Миллионы туристов стекались сюда каждый год, вливая золото в дефицитный внешний бюджет. Газеты твердили французам о трогательной привязанности к Франции со стороны алжирских и тунисских арабов, о любви к ней аннамитов и мальгашей, сенегальских негров и сирийцев.

Бесстыдная печать, быть может, самая лживая и самая продажная в Европе, спекулируя на репутации страны свободолюбивой, твердила французам, что весь мир обожает Францию — «самую великую духовную державу мира».

Между тем французская буржуазия за четверть века, прошедшие с прошлой войны, словно нарочно делала все, чтобы вызвать неприязнь других народов в отношении Франции.

Рабочих рук не хватало, надо было заменить павших на войне. Во Францию хлынул поток иностранных рабочих из Центральной, Восточной и Южной Европы. Французские промышленники и даже крестьяне зазывали их к себе. Из Испании, Италии, Польши, Румынии, Чехословакии, наконец, из французских колоний потянулись сотни тысяч безработных. Почти все тяжелые виды работ выполнялись иностранцами. Около четырех миллионов иностранных рабочих, что составляло около 10 процентов населения страны, поселились во Франции. В угольных копях на севере страны работали поляки, на сельскохозяйственных работах — поляки, испанцы, чехи, русские белоэмигранты, на строительстве — итальянцы. Среди мелких ремесленников — десятки тысяч иностранцев. На «командных постах» инженерами, техниками, мастерами, как правило, работали французы. Иностранные рабочие не имели политических прав, их легко было уволить и даже выслать из Франции за малейшее сопротивление требованиям хозяев.

Иностранные рабочие — в их числе было много политэмигрантов из стран, где свирепствовали реакция и фашизм, — добивались французского гражданства, чтобы получить политические права и лучше защищать свои интересы. Тысячи рабочих «натурализовались» во Франции, исключая, впрочем, рабочих из колоний, которым французское правительство обычно отказывало в гражданстве. Но впоследствии была закрыта и эта лазейка. В 1935 г. парламент принял закон, по которому иностранцы могли быть лишены французского гражданства, если их деятельность представлялась «опасной для политического или социального порядка». Иначе говоря, даже став французским гражданином, эмигрант в случае вступления его в профсоюз или компартию мог в любую минуту быть лишен французского гражданства и выслан из страны, как «нежелательный иностранец».

Во французской армии не хватало солдат. Призывы новобранцев, предшествовавшие второй мировой войне, были «дефицитными»: призывались молодые люди, родившиеся в годы первой мировой войны, когда и без того низкая во Франции рождаемость упала почти вдвое. И вот тогда снова вспомнили об иностранцах: в 1938 г. парламент принял закон, по которому все апатриды, т. е. лица, «не имеющие отечества», а это были главным образом политэмигранты, должны были нести службу во французской армии и призываться в случае войны. Таких политэмигрантов во Франции были сотни тысяч — из Польши, Италии, Испании, Румынии, Германии. Это были большей частью люди в цветущем возрасте.

Вряд ли в период между двумя войнами была на свете другая страна, в которой так широко пользовались бы иностранным трудом и так эксплуатировали иностранцев, как во Франции.

Когда назревал промышленный кризис, на улицу прежде всего выгоняли иностранных рабочих — это должно было ослабить недовольство французов. А когда началась война, иностранцев, молодых и здоровых, стали забирать в армию, обещав им французское гражданство… если, конечно, они останутся живы. Стариков из числа иностранцев сажали в концлагеря. Бывало, что родителей сажали в лагерь «за политическую неблагонадежность», а сыновей направляли служить в армию. После капитуляции тех, кто защищал Францию, бросили в концлагеря, так как они стали не нужны капитулянтам. Со мной в концлагере Верне сидели сотни молодых людей, служивших во французской армии, участвовавших в кампании 1940 г. и даже удостоенных наград за боевые подвиги. «В благодарность» Петэн и Лаваль заключили их в концлагеря.

В лагере Верне содержался один русский, бывший солдат Экспедиционного русского корпуса, прибывшего во Францию в 1916 г. Он остался во Франции, женился на француженке, имел шестерых детей, из которых два сына служили в армии в эту войну. Сам он работал на заводе, был обвинен в «коммунизме» — хотя, замечу кстати, это был малограмотный человек, весьма слабо разбиравшийся в политике, — и посажен в концлагерь на неопределенный срок.

Мой лагерный пациент, иностранец, бывший солдат Иностранного легиона, рассказал, что французское правительство в 1939 г. обещало бойцам легиона французское гражданство после окончания войны. Легион геройски сражался против гитлеровцев и потерял почти половину состава. В одном батальоне уцелело всего 75 солдат. Оставшиеся в живых потребовали в 1941 г., чтобы правительство сдержало свое обещание. Но из 75 легионеров право гражданства получили только

14 человек. 12 из них отказались от этой чести. Тогда их посадили в концлагерь. Ни ранения, ни боевые награды не были приняты во внимание. С сентября 1941 г. в наш лагерь стали поступать сотни таких молодых иностранцев, служивших во французской армии. Из них многие даже родились во Франции и не знали другого языка, кроме французского. Их лишали французского гражданства.

Правящие классы, доведшие Францию до позорного поражения, не только не чувствовали благодарности к этим людям, защищавшим Францию, но ненавидели их за мужество, за самоотверженность, особенно тех, кто был врагом фашизма. Между тем в 1939–1940 гг. свыше 300 000 иностранцев встали на защиту Франции. Многие из них пошли в армию добровольно, чтобы сражаться с гитлеровцами.

Приведу еще два примера, которые характеризуют отношение тогдашних хозяев Франции к представителям других народов, особенно народов, борющихся за свою свободу.

В 1918 г. французская армия освободила свыше 90 000 русских военнопленных, которых немцы заставляли работать в тылу. Пленные эти, умиравшие от голода и лишений, с радостью встретили своих освободителей. Они ждали от них облегчения своей участи и отправки на родину, в Россию.

Но… из России доносятся громы победоносной революции. Империалисты организуют интервенцию в Россию. Вся ненависть французской буржуазии обрушивается на ни в чем не повинных русских военнопленных, освобожденных французской армией, на людей, которые были повинны только в том, что выражали желание вернуться на освобожденную родину. Им ставится ультиматум: или они будут служить в

контрреволюционных армиях Деникина и Юденича, или не поедут домой вовсе. Пленные отказываются служить в антинародной армии. В ответ правительство Клемансо сажает их в концлагеря, на голодный паек. Оттуда их распределяют вместе с солдатами бывшего Экспедиционного корпуса по рабочим командам, а не желающих работать отсылают в Северную Африку, где они сотнями умирают на каторге. Из 90 000 русских французские власти могли сделать 90 000 друзей Франции. А сделали они из них 90 000 врагов! Со мной в концлагере в Джельфе находился один из этих солдат, оставшийся в Алжире. Во второй раз в жизни, во Франции, он попал в концлагерь.

Другой пример. В 1939 г. 400 000 бойцов Испанской республиканской армии отступили под натиском дивизий Муссолини и Гитлера при благосклонном «невмешательстве» правительства Блюма на территорию Франции. На границе французские жандармы и «гард мобиль» — преторианская стража французских империалистов — обобрали их до нитки, избили и по приказу Даладье загнали в гигантские концлагеря. Даладье первый создал во Франции систему концлагерей. Франция присвоила вооружение испанской армии: пушки, винтовки, автомобили, реквизировала золото. Затем путем угроз и лишений испанцев заставляли возвращаться на родину, к Франко. Там их ждали расстрел или тюрьма. Оставшихся во Франции держали в лагерях, ссылали в Северную Африку. Так продолжалось вплоть до февраля 1943 г., когда высадившиеся в Алжире англо-американские войска, правда, не сразу, начали их освобождать. Во всех концлагерях, в которых мне пришлось сидеть во Франции, преобладали испанцы, бывшие бойцы республиканской армии. Надо было слышать, с какой ненавистью они говорили об этой стране!

…А французская печать писала, что в случае войны за Францию вступится весь мир. Эта иллюзия сыграла печальную роль в войне Франции с Германией.

Общественные порядки Франции, политика ее реакционных хозяев, врагов свободолюбивых народов и собственного народа, — вот что подготовило почву для трагедии лета 1940 г. Господствующие классы Франции, ее правящие круги за четверть века, прошедшие со времени первой мировой войны, старались воспитать в обществе полное равнодушие ко всему, что не затрагивает личных интересов «среднего француза». Это то, что сами французы назвали «наплевательством» («je m'en fichisme»).

Надо помнить, что Франция — страна, в которой мелкая и средняя буржуазия крайне многочисленна: примерно 12 миллионов мелких хозяев на 41 миллион жителей. Неудивительно, что мораль этой среды, которая была подвержена воздействию крупной буржуазии, глубоко разъедала страну.

Когда французы, будучи уже под игом германских оккупантов, начали сбрасывать с себя оцепенение, многие с ужасом спрашивали:

— Что сталось с нами?

В октябре 1940 г. один из моих старых знакомых, видный деятель демократического движения, человек умный, культурный, исключительно честный, сказал мне:

— Я не думаю, чтобы Франция могла опять подняться: дело ведь не только в военном положении, тут виноват весь народ. Я не знаю, что будет с Францией.

И так думали тогда многие французы… К счастью, они ошибались. Народ воспрянул и пошел к своему возрождению путем страдания и борьбы. Тяжел и тернист был этот путь!

* * *

Я все еще вижу Францию такой, какой покинул ее летом 1941 г., погруженной во мрак.

Но вот в этой ночи вспыхивают первые искры. На каменных стенах домов, едва забрезжит рассвет, пятнами выступают красные и синие объявления немецкой комендатуры; французы не читают их, они знают: еще десятки людей по приговору военного суда оккупантов «расстреляны за саботаж». Их много, этих страшных пятен, и с каждым днем становится все больше. Это — кровь пробуждающейся Франции, имена первых борцов за ее свободу.

# Часть первая. Сумерки Франции

## «Странная» война (Drôle de guerre)

Как было сказано выше, период с 3 сентября 1939 г. по 10 мая 1940 г. французы назвали «странной», или «чудной», войной. Это название оказалось очень метким. Франция объявила войну Германии, однако все правительственные учреждения Франции, вся ее печать вели войну… против СССР. Даже в первые дни войны во французских газетах трудно было найти статьи, направленные против врага — Германии. Франция объявила войну немцам, а Германией как-то сразу перестали «интересоваться». Не так было в отношении СССР.

Правда, французские власти в тот период не смели преследовать советских граждан во Франции. Арестовать их — значило идти на открытый конфликт с СССР. Но зато набросились на всех русских, проживавших во Франции и не имевших советского гражданства, даже на белоэмигрантов, если только они чем-либо проявили симпатию к СССР. Были арестованы почти все члены «Союза возвращения на родину», организованного русскими эмигрантами, заявившими о своем желании вернуться на родину. Помещение этого союза подверглось обыску и было разгромлено. Почти все его члены, чьи адреса нашли в помещении организации, были арестованы и сосланы в концлагеря.

Еще накануне войны, в июле 1939 г., правительство Даладье издало «исторический» декрет, дававший право префектам департаментов и полиции арестовывать и сажать без определения срока в концлагеря всех

подозреваемых в том, что их деятельность «угрожает» общественной безопасности и национальной обороне.

Этот декрет применялся почти исключительно к антифашистам — французским и иностранным. Компартия была распущена и запрещена, коммунистические газеты закрыты, их имущество конфисковано. Концлагеря быстро заполнялись. Реакция стала истреблять деятелей Народного фронта. Арестованных русских, в особенности же «возвращенцев», в тюрьмах избивали, мучили допросами, зато немцев старались беспокоить как можно меньше. Достаточно сказать, что знаменитый «Коричневый дом» в Париже, где собирались немецкие фашисты, остался нетронутым.

Пока шли аресты, из Парижа начался исход населения. Перепуганная буржуазия в предвидении воздушных налетов бежала в провинцию. Еще за день до объявления войны Париж начал пустеть.

Что можно сказать об этом исходе? Он был своего рода генеральной репетицией «великого исхода» июня 1940 г., после поражения Франции. Разница заключалась лишь в том, что летом 1940 г. люди бежали от реальной опасности, а тогда, в первые дни войны, спасались от опасности воображаемой. На вокзалах мелкие торговцы, служащие, женщины, семьи рабочих брали вагоны приступом. По дорогам текли сплошные потоки автомобилей, груженных до отказа. Везли домашний скарб, ценности. Все это было аккуратно уложено в чемоданы и баулы (в июне 1940 г. белье, меха бросали наспех во что и как попало). Везли домашних животных, кошек, собак, канареек, даже золотых рыбок в аквариумах. Сталкивались и ломались машины, ругались их владельцы, и все с ужасом всматривались в пустое небо, где не было видно не только немецких, но даже и французских самолетов. По ночам дороги зали-

вал нестерпимо яркий свет автомобильных фар: их тогда никто и не думал маскировать.

Куда же мчались люди в животном страхе перед неизвестным? Зачем?

Богатые, буржуазия знали это точно: еще задолго до войны они предусмотрительно арендовали имения, сняли дома, квартиры в департаментах, куда война, по их мнению, не могла дойти, куда не мог долететь немецкий самолет, — наивность людей, еще не видавших современной войны. В провинции жили их тетушки и дядюшки, какие-то дальние родственники, о которых раньше никто и не вспоминал и на которых сейчас возлагались все надежды.

Мелкие буржуа, чиновники, служащие, обеспеченные рабочие, мастера, интеллигенция не знали, куда и зачем они ехали. Париж, этот город, который, по их мнению, в первую очередь разгромят немцы, теперь страшил их.

Они не знали точно, что принесет с собой война, но рассчитывали, и не без основания, на самое худшее.

Правительство не давало никакого приказа об эвакуации Парижа и только советовало уехать всем, кто мог покинуть город.

Этот первый исход из Парижа был все же в основном исходом имущих классов, потерявших голову от страха. Но он оказался детской забавой по сравнению с тем, что произошло восемь месяцев спустя, когда около 12 миллионов французов с севера, из Арденн, из Эльзаса ринулись, как безумные, на юг, спасаясь уже от реального нашествия врага, двигавшего свои полчища к Парижу.

На фронте же было без перемен. В военных сводках, загадочных и непонятных, сообщалось о поисках разведчиков где-то во Франции, но не назывались ни города,

ни географические пункты. Публика, читая эти сводки, сперва изумлялась, затем стала подшучивать над ними и, наконец, вообще перестала ими интересоваться.

В начале войны несколько тысяч французских солдат вступили на германскую территорию и продвинулись на несколько десятков километров. Газеты торжествовали: «Немцы в этом секторе не оказали сопротивления». «Наши войска находятся на немецкой территории, а немцы еще не занимали нашей», — писали газеты.

Но в середине октября 1939 г. германские войска в течение нескольких часов очистили занятую французами территорию. Только много дней спустя официальная сводка глухо сообщила об отходе войск с позиций, «которые нецелесообразно было защищать». На деле же эта первая схватка обошлась французам в несколько тысяч раненых и убитых. Она показала, что французы сопротивлялись геройски и могли бы драться. Но немецкая военная техника оказалась неизмеримо сильнее французской. У французов почти не было ни танков, ни самолетов. Сражалась почти исключительно пехота. Артиллерии не хватало. Уже в эти дни запахло предательством.

В это время я жил в провинции, в департаменте Луаре, в 150 километрах от Парижа и в 40 километрах от старинного города Орлеана. Неподалеку лежал маленький городок Сюлли-на-Луаре, утопающий в садах, окруженный огородами. На берегу Луары стоял старинный замок, владение знаменитого маршала Сюлли, когда-то успешно сражавшегося против немцев. Жил я в большом и удобном доме, в трех километрах от деревушки Ванн-сюр-Коссон, среди лесов Солони. В старинных замках обитали захудалые потомки французских рыцарей. Целые стаи фазанов расхаживали вокруг нашего дома по свежескошенным полям, обнесенным

проволочной сеткой. Эта сетка служила защитой против кроликов, которые буквально заполонили округу. Солонь славилась изобилием дичи. Владельцы замков сдавали свои леса в аренду любителям охоты. Но, для того чтобы плодилась дичь, нужны засеянные поля. Их в свою очередь сдавали в аренду. Фермеры селились здесь, работали не разгибая спины, но спустя несколько лет уходили с земли, бросали фермы и даже имущество, так как весь урожай пожирали кролики и фазаны, от которых не спасали никакие сетки. Земля пустовала. Теперь по случаю войны охота была запрещена. Птицы и кролики поедали остатки урожая. Стада диких кроликов прыгали вдоль шоссе и по обочинам лугов, беспрепятственно нападали на поля и огороды. Бесчисленные пруды, заросшие зелеными водорослями и камышом, кишели рыбой. Ловить ее было некому, чистить пруды тоже. Все мужчины ушли на войну.

Местные крестьяне не испытывали волнения. За два тысячелетия война десятки раз проходила через их страну. В 1870 г. сюда добрались пруссаки. Еще ходили рассказы о той войне, о немцах, упившихся вином и в пьяном виде захваченных партизанами. Крестьяне привыкли к безмолвию своих лесов, к пустынным замкам, владельцы которых наезжали только в сезон охоты и оглашали окрестности звуками охотничьих рогов.

И вот осенью в наши места нахлынули нежданные гости — беженцы из Парижа. Тут были и сами владельцы замков, и парижане, снявшие за бешеную цену эти замки на время войны. Даже и контракты заключали тогда без обозначения срока. Так и писали: сдается на время войны.

Крестьяне встречали беженцев враждебно, с насмешкой, как чужих. Беженцы снимали все свободные помещения, платили за них такие цены, о которых крестьяне

раньше не могли и мечтать, скупали все продукты, мясо, масло, кур, яйца. Но крестьян это не привлекало.

В этом сказались консерватизм французского крестьянина, его нелюбовь ко всякому новшеству. У крестьян были свои старые клиенты, свой рынок и скупщики из Парижа, к которым они привыкли. Они верили, что война продлится недолго, а раз так, то незачем менять старых и испытанных покупателей на новых, случайных.

Кроме того, парижане нарушали вековые привычки крестьян. Ложились они поздно, требовали воды для умывания. Гости не любили и не понимали природу и очень скучали. После трех недель пребывания «на лоне природы» они думали только о том, как бы вернуться домой. Им не хватало кафе, театров, кино, консьержек. Тишина деревенских просторов, ночной лай собак, крики филинов, кваканье лягушек нагоняли на них тоску, пугали. Рабочие и мелкие служащие привыкли читать свою газету и отчеты о скачках: почти все они играли на скачках. Надо сказать, что парижские газеты, посвященные скачкам и спорту, вернее, коммерческой стороне этого дела, выходили огромными тиражами, их читали главным образом рабочие, мелкие служащие, шоферы такси, прислуга. В парижских кафе рабочие играли на скачках «заочно», пропивая зарплату.

В деревне ничего этого не было. Кругом леса и поля, пруды и реки, фазаны и кролики, которых нельзя было стрелять, так как охоту запретили. Даже ловить рыбу — любимое занятие рабочих и мелкого трудового люда в Париже — тоже нельзя было: пруды принадлежали частным владельцам, их охраняли сторожа.

Богатые беженцы скучали в своих замках. Газеты приходили только на другой день, ездить было некуда да и незачем, бензин уже нормировали. Не стало раз-

влечений, светских приемов, театров и универмагов, где парижанки могли проводить целые дни, перебирая ткани, платья, разные безделушки. Все течение жизни нарушилось. И ради чего? Ведь война по существу еще не начиналась!

Тыл «скучал», деморализовался, как деморализовалась в бездействии армия. «Странная» война брала страну измором, подготовляя поражение. Шла «война нервов».

Никто не мог и предположить, что всего через каких-нибудь восемь месяцев эти тихие селения, замки, леса и дороги начнет бомбить германская авиация, что цветущие городки будут сожжены дотла, что Орлеан будет наполовину разрушен и новый, небывалый поток беженцев захлестнет всю страну, втянув в себя и местных жителей.

Говорили ли здесь о войне? Разумеется, говорили, но как-то вскользь, без большого интереса, как будто война никого не касалась. Мужчин в деревне было немного, и до войны старики привыкли сами работать и в поле, и на виноградниках. Продуктов хватало. Только бензин пропал, но ловкачи все же ухитрялись получать его без карточек. Правда, автобусы, связывавшие все деревни с городом, стали ходить реже, некоторые маршруты вообще были отменены, так как машины были реквизированы для армии.

Постепенно беженцы стали возвращаться в Париж, сначала робко, а потом, видя, что эта война действительно «чудна́я», — толпами. О войне как будто даже перестали и думать. Никто не понимал, почему началась война и почему, раз она уже началась, никто по-настоящему не воюет. Публика читала газеты, но верила им только наполовину. Впрочем, мелкий французский буржуа, хотя и любит прикинуться скептиком, на деле свято верит той газете, которую привык читать.

А читает он обычно не больше одной газеты и меняет «свою» газету на другую редко.

О политике говорили только в кругу близких знакомых, все знали и помнили о правительственных репрессиях. Режим Даладье не пользовался популярностью, еще менее популярным стало позже правительство Поля Рейно. Но все-таки, если бы это или иное правительство потребовало от народа напряжения всех усилий для войны и победы, народ бы пошел за ним. Но правительство этого не требовало.

Тем не менее все сознавали, что состояние «странной войны» длиться вечно не может. Глухое беспокойство охватывало постепенно французскую деревню, всю Францию. В делах наблюдался полный застой: военная промышленность — и та работала только вполовину своей мощности, а может быть, и того меньше. С военных заводов рабочих даже отпускали в деревню. А весной 1940 г… стали отпускать с фронта и солдат в длительные отпуска. Все это наводило на мысль, что война может кончиться и без борьбы…

И все-таки предусмотрительные крестьяне, мелкая и крупная буржуазия стали запасаться провизией и товарами. Закупали в огромном количестве консервы, макароны, муку, мыло, сухие овощи. Карточек тогда еще не было, их ввели только при немцах. Владельцы некоторых замков в Солони накупили продуктов на несколько лет. Оптовики не продавали товаров розничным торговцам, ожидая повышения цен. Запасы в лавках стали постепенно исчезать. Позже, когда пришли немцы, они скупили у оптовиков за оккупационные марки те самые товары, в которых так нуждалась Франция в начале войны.

Продукты портились. Колбаса протухала, макароны и мука плесневели, и владельцы их, чтобы ничего не

пропадало, сушили муку на солнце, грызли заплесневевшую колбасу.

В одном из соседних с нами замков жила семья крупного парижского банкира Финали, одного из финансовых магнатов Франции. Как только стало известно, что гитлеровские войска подходят к нашей деревне, семья сбежала, бросив замок. Местный муниципалитет нашел в нем, уже при немцах, 18 тысяч литров бензина и несколько бочек со смазочным маслом. Скопление в таком количестве горючего грозило пожаром и запрещалось. Муниципалитет забрал бензин себе, утаив его от оккупантов, и это позволило в течение нескольких месяцев подвозить товары и муку из города.

Молчание сковало Францию. Молчали не только крестьяне, но и горожане, напуганные правительственными репрессиями, концлагерями, куда ежедневно сажали людей «за политику». Никогда, кажется, не было во Франции такого количества доносов, анонимных писем, как во время этой «странной войны». Одних подозревали в том, что они «пораженцы» и «коммунисты», других в том, что они работают на «пятую колонну» — слово это вошло в обиход еще со времен испанских событий. Часто одних и тех же лиц обвиняли и в том, и в другом — плоды газетной пропаганды, намеренно извращавшей события. Местная жандармерия была завалена анонимными письмами.

Жители замков не выражали вслух своих взглядов, но в узком кругу восхищались Гитлером и его методами расправы с «коммунистической опасностью». Я не раз слышал, как эти люди говорили, что одобряют лишь одну войну — войну против СССР.

Позже, когда пришли гитлеровцы, богатые обитатели замков — кастелланы, несмотря на негодование крестьян, принимали у себя германских офицеров.

«Шпиономания» стала всеобщей. Один мой знакомый врач, румын, практиковавший около Анже, на Луаре, был арестован только за то, что смотрел, как военный грузовик набирал перед его домом бензин из колонки. Он пробыл в тюрьме три месяца. С ним вместе сидело немало местных интеллигентов и, как это ни покажется странным, даже полицейские. По всей Франции следили тогда за «световыми сигналами» немцам, и каждый обвинял соседа, а ведь тогда над Францией не появлялись еще вражеские самолеты. С настоящим же шпионажем, который гитлеровцы проводили весьма ловко, никакой серьезной борьбы не велось. Все «меры предупреждения» оставались на бумаге: в одних случаях по небрежности, в других, — несомненно, с умыслом.

Чтобы проехать на автомобиле в Париж, я каждый раз вынужден был обращаться за пропуском в местную жандармерию. Но, так как местные жандармы не хотели брать на себя ответственность за выдачу пропуска, они отсылали меня к жандармскому капитану в город Сюлли, за 18 километров. Там по тем же причинам пропуска мне не выдавали и отсылали еще дальше, в Жьен, за 40 километров. Бензин к тому времени был уже нормирован. Путешествие в Жьен и обратно отнимало у меня приблизительно недельную норму бензина, почти столько же, сколько нужно, чтобы доехать до Парижа. В Жьене я являлся к жандармскому майору, который, любезно поговорив со мной на различные темы, выдавал мне пропуск в Париж, не требуя никаких документов. В первый раз увидев меня, он вдруг после почти получасового разговора спросил, умею ли я читать по-французски. А мы с ним только что обсуждали последние газетные новости!

Должен добавить, что по дороге в Париж никто ни разу у меня пропуска не спросил.

Я работал при департаментском отделе здравоохранения, и в мои обязанности входили врачебный надзор за беженцами и лечение их. Богатые беженцы, которые могли платить врачу за визиты, не входили в мою компетенцию. Тем не менее они часто приглашали меня к себе: французский буржуа, даже богатый, любит воспользоваться даровым медицинским советом. Я же избегал лишних визитов, чтобы не вступать в конфликт с местными врачами, которые смотрели на каждого больного как на свою добычу и рвали пациентов друг у друга из рук. Несмотря на это, у меня создалась большая практика среди крестьян и фермеров; относились они ко мне очень хорошо, снабжали продуктами, потом в Париже в период гитлеровской оккупации я долгое время получал от них продовольствие.

Французский крестьянин редко кому открывает душу, но врачу, он говорит все, как и священнику. Это позволило мне заглянуть во внутренний мир моих деревенских пациентов. Неожиданно у меня появился конкурент в лице местного кюре, который сам, как многие сельские священники, занимался врачеванием. Он даже пытался привлечь меня к работе в организованном им диспансере. Но от этой «чести» я уклонился — это значило бы вмешаться в «политику»: в деревне было немало верующих, но еще больше неверующих.

Правительство, рекомендуя покинуть Париж всем, кто мог это сделать, не оказало никакой помощи малоимущим беженцам, не организовало эвакуацию. Беженцы прибывали в деревню, где все помещения были уже сняты состоятельными людьми. Местные власти размещали этих беженцев где могли, по большей части в совершенно неприспособленных для жилья помещениях — в складах, амбарах, ригах или в пустых, полуразрушенных домах. Тех, кому удавалось поселиться в сельских школах,

считали счастливцами. Беженцам давали солому, и они спали где попало. Летом было еще терпимо, но ранней осенью начались холода, и непривычные к этому горожане стали болеть. Мужчины, женщины и дети спали все вместе, вповалку, не раздеваясь.

Нередко беременные женщины рожали тут же, на соломе, среди других беженцев. Старики умирали от простуды, от воспаления легких. Вспоминаю одного 80-летнего старика, который бежал из Парижа от воображаемых немецких бомб, а умер на соломе в городке Ля Ферте от реальной пневмонии.

Каждый беженец носил при себе все, что он имел ценного или что считал таковым: деньги, бумаги, меха. Одна старушка просила моих друзей взять у нее на хранение квитанцию об уплате за ее будущее место на кладбище в Париже, которую она боялась потерять в соломе.

Впрочем, мало кто из беженцев продержался здесь долго. К январю 1940 г. во всем департаменте почти не осталось парижан: все они вернулись домой.

Как раз к этому времени до нашей провинции дошел наконец приказ центральных властей — приготовить беженцам помещения, кровати, организовать снабжение. Велено было переписать жилые дома, изготовить деревянные койки, построить бараки. В январе 1940 г. в городе Жаржо начали строить огромные бараки на самом берегу Луары. Их строили для беженцев в соответствии с приказом, отданным еще в сентябре 1939 г.

Но бараки эти, строившиеся, кстати сказать, крайне медленно, так и не были закончены. В мае 1940 г. началась настоящая война. Новая волна беженцев захлестнула Жаржо и, не останавливаясь здесь, покатилась дальше, на юг. Бараки достроили немцы и поселили в них французских военнопленных.

У нас дома становилось все холоднее. Уголь исчез, подвоза с севера Франции не было. Крестьяне легко обходились без угля, они вообще почти не топили и до войны. Как только воротятся домой с поля, сожгут несколько поленьев в камине и погреются у огонька… Стояли необычные для Франции холода, нередко термометр показывал 25° ниже нуля. Это была та самая невероятно суровая зима, когда Красная Армия брала приступом укрепления линии Маннергейма: на границах СССР шла война. А на границах Франции две огромные армии стояли друг против друга, не двигаясь с места. Судьбы войны решались в кабинетах «двухсот семейств», правивших Францией.

Рядом с нашей деревней был установлен наблюдательный воздушный пост. Десятка полтора солдат под командой сержанта разместились в здании бывшей железнодорожной станции. Многие солдаты были местными жителями, только что мобилизованными. Они обычно ночевали у себя дома, а днем дежурили на посту, да и то не всегда, считая это бесполезным. Солдаты редко покидали помещение, греясь целыми днями у огня, на бесплатном топливе, покуривали или похрапывали. Дежурный должен был постоянно находиться на улице, на посту. Но так как ни один самолет к нам не залетал, то часто и дежурный не выходил из помещения. Даже лейтенант, начальник поста, поселившийся в деревне, редко заглядывал на пост. Как-то раз, явившись туда, он не застал даже дежурного. Лейтенант разнес всех, но солдатам на все было «наплевать». Эти люди не думали ни о войне, ни о выполнении своего долга, хотя бы в тылу.

С января время от времени над нашей местностью стал появляться немецкий разведывательный самолет. Летал он обычно на большой высоте, бомб не сбрасывал,

из пулемета не стрелял. Бинокль дежурного был слишком слаб, чтобы различить опознавательные знаки самолета, и солдаты иногда брали мой бинокль.

Наш пост не имел ни пулеметов, ни зенитных орудий, у солдат не было даже винтовок. Я ни разу не видел, чтобы французский самолет погнался за немецким, хотя изредка над нами пролетали и французские аэропланы, базировавшиеся в Орлеане. Германские самолеты мы легко научились отличать по характерному гулу их моторов. При желании они могли бы в один момент уничтожить и военный пост, и всю нашу деревню. Но они этого не делали, и местные жители еще более укрепились в своем убеждении, что никакой настоящей войны нет и что Германия нападать на Францию не собирается. Мне нередко приходилось ездить на машине в Париж по важной дорожной магистрали Орлеан — Париж. Каждый раз по дороге ко мне в машину набивались солдаты, ехавшие в отпуск. Однажды я вез двух молодых офицеров-курсантов. Один из них сел рядом со мной и оказался весьма разговорчивым малым. Прежде всего он отрекомендовался сотрудником еженедельного журнала «Же сюи парту» («Je suis partout»).

— Наш журнал считается пронемецким, — говорил он. — Мы действительно стоим за сотрудничество Германии и Франции. У нас и у них один общий враг — это большевизм. С Германией же нас ничто не разделяет. Не дождусь, когда кончится эта война и будет, наконец, заключен мир с немцами. Вот тогда начнется настоящая война, война с Советами. Только эта война и имеет для нас смысл.

На такую откровенность его вызвало, вероятно, то обстоятельство, что машина у меня была элегантная, мощная, и он полагал, что ее собственник должен разделять взгляды «хорошего общества».

И он принялся излагать мне свою «теорию» борьбы с большевизмом, который он ненавидел всеми фибрами своей лакейской души. Я молча слушал. Мое молчание наконец показалось ему подозрительным. Сходя с машины в Париже, он взглянул на карточку с моей фамилией и адресом, прибитую, как требовалось по французским законам, рядом со счетчиком и часами. Увидев русскую фамилию, он иронически поклонился, направился к полицейскому и стал что-то горячо ему доказывать, кивая на мою машину. Вероятно, он доносил, что я опасный русский. А между тем именно я имел все основания передать его в руки полиции за разговоры, порочащие Францию, и за восхваление врага во время войны. Впрочем, вряд ли бы полиция арестовала его. Газеты как раз в те дни сообщали о том, что сидевшие в тюрьме «кагуляры», т. е. фашисты, у которых перед войной были найдены склады немецкого и итальянского оружия, выпущены на свободу «в знак национального примирения».

В это время французские фашисты не только чувствовали себя в полной безопасности, но и открыто готовились к захвату власти. Их наглость росла по мере приближения германской армии. Не имея достаточно сил для захвата власти, так как народ не сочувствовал фашистским настроениям, французские фашисты рассчитывали на помощь гитлеровцев. Это лишний раз подтверждает, что война во Франции была в какой-то мере и гражданской войной, войной, которую организовала фашиствующая буржуазия против французского же народа. Но война эта велась силами немцев.

Как известно, в 1937 г, в Париже были обнаружены склады оружия и гранат немецкого и итальянского происхождения. Дом, в котором помещалось правление одного крупного промышленного объединения,

взлетел на воздух. Из допроса арестованных по этому делу выяснилось, что фашистская организация подготовляла захват власти. Правительство держало все это дело в большой тайне. Участников заговора народ окрестил «кагулярами» (от слова «кагуль» — капюшон, целиком закрывающий голову). Демократическая печать Франции требовала от правительства, чтобы оно назвало имена главарей этой организации, так как арестованы были только мелкие сошки, так сказать, исполнители. Правительство под разными предлогами отказывало в этом.

Однако вскоре стало известно, что во главе организации кагуляров стоял маршал Петэн, в будущем главнокомандующий французской армией и глава правительства Виши. Главнокомандующий, который на германские и итальянские деньги еще до войны подготовлял захват власти фашистами в своей собственной стране!

Придя к власти, Петэн даже и не пытался скрывать этого. Одного из кагуляров, арестованного в 1937 г., некоего Метенье, он поставил в 1941 г, во главе политической полиции в Виши. Другой кагуляр, Делонкль, основал в Париже, уже при оккупантах, партию «Национального народного объединения» (Le Rassemblement National Populaire), которая ставила целью вовлечь французов в сотрудничество с гитлеровцами. Эту «партию» на деле организовали гитлеровцы на немецкие же деньги, но, как говорится, с французским персоналом.

В свое время Наполеон говорил: «Слово «невозможно» не французское слово». В теперешней же Франции именно это слово слышалось чаще других. Для современного французского буржуа все, что находилось за пределами его привычек, его взглядов, его интересов, казалось «невозможным», не возбуждало

даже интереса. Когда я спрашивал французского фабриканта или мелкого ремесленника, не может ли он принять заказ, которого он ранее не выполнял, тот неизменно отвечал:

— Невозможно. Этого мы никогда не делали. Именно то, что он этого «никогда не делал», было для него критерием невозможности.

Когда же мне приходилось просить у французского чиновника сделать что-либо, что отходило от рутины, но отнюдь не противоречило здравому смыслу, он отвечал:

— Невозможно. Ваш случай — исключение.

Конечно, если я был с ним знаком или имел к нему письмо от его знакомого, он выполнял мою просьбу, даже если она и не была в полном согласии с законом: и ему тоже было «наплевать». Его «невозможно» означало не столько бюрократизм, сколь нежелание что-либо делать, принимать самому какое-то решение.

«Невозможно» и «наплевать» стали во Франции ходячими выражениями. Они отражали глубокий внутренний упадок и разложение французской буржуазии, стали символом ее психологии последних лет. Но они же были символом внутреннего неустройства, которое вызывало глубокую тревогу во Франции.

## Война перестает быть «странной»

Весна 1940 г. пришла поздно. Погода стояла холодная, но на редкость ясная и солнечная. На безмятежной лазури неба ни облачка. Фруктовые деревья зацвели хотя и с опозданием, но дружно, с необычайной силой. Их цветение придало всей стране праздничный вид.

Но вид у людей был усталый, измученный. Война измотала нервы, и не удивительно: до сих пор она была лишь войной нервов. При внешнем бездействии тревога, томившая население Франции с самого начала

«чудной» войны, нарастала с каждым днем. Внешне не чувствовалось никаких перемен. Но все знали, что события не заставят себя ждать.

И все же они наступили неожиданно, с невероятной быстротой. И еще более неожиданно для самих французов, а быть может, и для всего мира окончились поражением Франции.

В самом начале этой роковой весны одно событие сильно взволновало общественное мнение Франции, заставило многих призадуматься. В феврале или марте 1940 г. в Париже неожиданно появился Тиссен, небезызвестный магнат металлургической промышленности Германии, один из «королей» Эссена и Рурской области, один из основателей национал-социализма в Германии, финансировавший Гитлера с первых дней его появления на политической арене. Как он смог свободно проехать во Францию во время войны с Германией, никто не знал. Парижане знали, где он остановился, и толпами ходили на него смотреть; слышны были шуточки, в которых клокотал гнев еще недоумевающего народа. Тиссен жил в одной из лучших гостиниц Парижа, прогуливался по улицам в сопровождении своей жены и своей собачки. Парижские газеты печатали его портреты, портрет жены и собачки, причем все это с каким-то умилением. По их сюсюкающим описаниям, выходило, что в приезде Тиссена нет ничего удивительного. Репортеры брали у него интервью, и он охотно отвечал на их многочисленные вопросы. Читатель узнавал из газет, как проводит Тиссен свои дни в Париже, как будто речь шла о видном деятеле. В Париже Тиссен встречался с крупными государственными мужами, но о чем с ними говорил, в газетах не сообщалось. Из Парижа Тиссен столь же свободно проехал в Бельгию, в Англию, снова вернулся во Францию, а потом куда-то исчез, вернее, со столбцов газет исчезло его имя.

Его приезд по существу был аналогичен прилету Гесса в Англию. Но Гесса английские власти интернировали как военнопленного, и английские газеты отзывались о нем не очень-то доброжелательно. Во Франции же Тиссен принят был с почетом официальными кругами. Как потом стало известно, Гесс прилетал в Англию для переговоров с английским правительством, предлагая ему союз против СССР. Но английское правительство скрыло это от народа, как скрыло французское свои переговоры с Тиссеном.

Приезд Тиссена ясно показал, что французская буржуазия охотно пошла навстречу предложениям Гитлера. Дальнейший ход событий показал, что французская буржуазия сдалась немецкому фашизму быстро и без всяких оговорок.

И в нашей деревне приезд Тиссена не прошел незамеченным. Мэр деревни каменщик Мулэн не желал высказывать на этот счет своего мнения, но хотел узнать мое.

«Не понимаю, — говорил он мне с лукавством старого крестьянина, — Тиссен — немец, мы с Германией воюем, а его принимают, как гостя. Как это понимать?»

Нередко я видел мэра в обществе других наших крестьян, уважаемых в деревне людей. Речь шла о приезде Тиссена. Но крестьяне вообще насчет «политики» были осторожны, а тут они держались вдвойне осмотрительно. Они в раздумье покачивали головами и пересказывали друг другу то, что читали в газетах. Приезд Тиссена взволновал их сильнее, чем все другие известия о войне.

Как раз к этому времени деятельность «пятой колонны» во Франции усилилась. Газеты не таясь, писали о мире с Германией. Это настолько нервировало и возмущало население, что правительству пришлось, в конце концов, сделать вид, что оно намерено принять

соответствующие меры. Кое-кто из наиболее видных германофилов попал в тюрьму, в частности сотрудники и редакторы еженедельника «Же сюи парту». Был арестован даже секретарь сената. Он умер в тюрьме, но в народе говорили, что его убили, чтобы он не открыл неприятные для правительства вещи. Остальных вскоре выпустили.

Той же весной разыгрались события, которые еще сильнее взбудоражили общественное мнение. В течение трех недель германские войска завоевали Норвегию и Данию. Эти страны от Франции далеко, но все вдруг почувствовали, что они гораздо ближе, чем казалось. Даже в нашей деревне заговорили об опасности. Любопытно, что те же крестьяне, мои соседи, жившие всего в полутораста километрах от Парижа, почему-то считали очень далеким то, что происходило в столице. Вдобавок многие военные приезжали с фронта в отпуск в деревню: правительство отпускало их на летние работы. О войне они говорили вяло, равнодушно, но порассказали крестьянам поразительные вещи. По их словам, в армии делалось что-то странное. Летчикам был дан приказ не нападать на германские самолеты, совершать только разведочные полеты, без боев и без бомбардировок. Французские и германские самолеты, встречаясь в воздухе, не обменивались ни единым выстрелом. Рассказывали об одном летчике, который атаковал вражеский самолет. По возвращении на базу летчик был за это наказан своим начальством.

Отпускных солдат больше всего возмущало то, что немцы знали решительно все о французской армии. Один полк получил приказ занять позиции на фронте где-то возле Страсбурга. Приказ был получен командиром полка накануне, и о нем не знали ни офицеры, ни солдаты. А когда полк прибыл к месту назначения и

занял позицию, через двадцать минут после его прибытия над немецкими окопами взвился плакат с надписью: «Привет полку такому-то по случаю его прибытия».

Мост через Рейн в Страсбурге не был взорван. На одном его конце за мешками с песком сидели французы, на другом — немцы. Никто и не думал стрелять. Мост был минирован с обеих сторон.

Рассказывая мне об этом, мэр добавлял:

— Вот что делается у нас во Франции. Почему бы это так?

Слово «измена» солдаты тогда еще не произносили. Но народ чувствовал себя опутанным какой-то невидимой паутиной, которая сковывала его, лишала его энергии.

Я как-то спросил у одного молодого солдата, приехавшего в отпуск:

— Ну что, воюете?

Тот махнул рукой:

— Разве это война? Это странная война. Что-то тут неладно.

— Может быть, солдаты драться не хотят? — спросил я.

— Не хотят? Драться, конечно, никто не хочет. Но если надо сражаться за Францию, все будут сражаться.

— Так в чем же дело?

— Да нам не дают сражаться.

— Но, может быть, теперь готовится наступление?

— Какое готовится! — досадливо ответил он. — Нам не подвозят ни снарядов, ни танков. Я сам видел в Париже на станции ящики с самолетами только что с заводов. Они стоят, и их никто не распаковывает. А у нас на фронте самолетов почти нет.

Раньше все в деревне думали, что с весною начнется крупное наступление французской армии. Но рассказы

отпускных всех обескуражили. Всем как-то стало ясно, что никакого наступления не будет, потому что к нему не готовятся. Армию не только не усиливали, наоборот, именно к весне стали давать отпуска деревенским парням.

Вид у отпускников был не особенно блестящий. Нескладная, плохо сидевшая новая форма цвета хаки сменила небесно-голубой цвет обмундирования прошлой войны; гольфы, на ногах обмотки. Многие жаловались на плохое снабжение, на плохое питание. Кое-где в армии возникали конфликты с офицерами, среди которых оказалось немало явных фашистов из организации «Круа де фе» (Croix de feu — «Боевые кресты» — организация полковника де ля Рокка, пытавшаяся устроить в Париже фашистский путч 4 февраля 1934 г.).

За это время я не раз посетил Париж. Внешне жизнь текла там нормально. Только улицы и дома вечерами были затемнены, но затемнены плохо: из всех окон сквозь ставни и занавески пробивались полоски света. Окна же, выходящие во внутренние дворы, и на чердаках вообще не завешивались; полиция туда не заглядывала. Жители затемняли окна только, чтобы не платить штрафов, а не потому, что ожидали налетов. Страх перед налетами давно прошел. Власти велели очистить чердаки от всякого хлама и посыпать полы песком. Разумеется, ни один чердак очищен не был, песок, правда, принесли. В ведрах и ящиках он стоял на верхних площадках лестниц, и его облюбовали для своих нужд кошки и собаки.

Днем движение на улицах казалось таким же, как и до войны. Многолюдные толпы сновали по тротуарам, заполняли магазины. Товаров было еще много, хотя кое-чего уже не хватало, и продавцы не без горечи ссылались на войну. Зато продукты как будто перестали скупать. Парижане не очень верили в длительность

войны и в грядущий голод, да и продукты все равно некуда было класть: ими были завалены все квартиры.

Но по вечерам парижские улицы мрачнели. Закрытые синими колпачками слабые лампочки еле освещали тротуары. Автомобили с притушенными фарами медленно двигались во мраке. В ночной темноте на улицах, в кафе, дома как-то особенно чувствовалась тревога.

В нашей местности крестьяне молча следили за полетом германских самолетов, качали головами и медленно расходились по домам. Только мэр деревни всякий раз спрашивал меня:

— Ну, чем же все это кончится?

И, не ожидая ответа, шел работать — ремонтировать дома, месить цемент. Мои деревенские пациенты при каждом визите тоже говорили о войне. Их грызла тревога. Прощаясь, они неизменно задавали мне один и тот же вопрос:

— А что вы думаете, доктор, чем все это кончится?

Они знали, что я русский, и считали поэтому, что я, пожалуй, единственный, кто может дать точный ответ на этот вопрос. Несмотря на то что газеты всячески разжигали злобу к СССР, крестьяне как-то чутьем понимали, что у русских есть своя мудрость, свой взгляд на события, на будущее и что именно они могут разрешить все эти сомнения.

Ночь с 10 на 11 мая 1940 г. застала меня в доме, стоящем на опушке леса, в трех километрах от деревни. Моя семья жила в Париже. Было свежо, ясно. Филины, фазаны перекликались какими-то деревянными голосами. Им вторил хор лягушек. Меня клонило ко сну: накануне я провел бессонную ночь у постели тяжелобольного.

Незадолго до зари я проснулся от странного густого жужжания. Подошел к окну и взглянул на черное предутреннее небо. Над всей местностью и прямо над

головой, где-то в вышине, кружились не видимые простым глазом десятки самолетов. Земля еще спала, а небо жило своей странной жизнью. Откуда-то издалека доносился гул глубоких и звонких взрывов, на горизонте, в стороне Сюлли, Орлеана, Вьерзона, вспыхивали молнии разрывов.

Внезапно где-то, как казалось, совсем недалеко, ухнуло, и от сильного взрыва задрожали стекла. Затем все разом смолкло. Жужжащий шум самолетов стал ослабевать, удаляться, все такой же невидимый и непонятный, и наконец смолк где-то за горизонтом. Вновь тишина деревенской ночи окутала землю, и снова гортанно заклохтали фазаны, заквакали лягушки.

Я лег. Но мне не спалось. Было ясно, что начались какие-то крупные события. «Чудна́я» война, война без выстрелов, без грохота снарядов, кончилась. Уже рвались бомбы, гудели самолеты, и во мне с новой силой ожили воспоминания о прошлой войне. С нетерпением я ждал первых лучей солнца и первых известий по радио. В семь часов утра я уже сидел у радиоприемника.

Но радио не сообщало ничего. Как обычно, диктор передавал для невидимых любителей урок утренней гимнастики. Сколько французов в это утро, подобно мне, отходили разочарованные от радио.

Никогда еще радиоприемники так не раскупались, как перед войной и в первые дни войны. Все верили, что теперь никто не сможет скрыть правды: если не свои, то хоть вражеские или нейтральные страны скажут что-нибудь. Но война показала, сколь неосновательны были эти надежды. Во-первых, многие иностранные радио лгали не меньше французского или же молчали о самом главном. Во-вторых, именно в те моменты, когда не стало ни газет, ни телеграмм и когда все жадно набрасывались на радиоприемники, радио замолчало:

там, где уже не было газет, не стало и электричества. Нельзя было даже зарядить аккумуляторы. В момент великого исхода, после перемирия, вся страна жила одними слухами, без газет и без радио.

Утром все только и говорили, что о ночных событиях. Никто не слышал радио, никто не читал газет, но каким-то образом уже знали все. Дрожащим от волнения голосом крестьяне рассказывали мне, что германские войска вторглись в Голландию и в Бельгию, что целые тучи самолетов бомбили французские города и что среди гражданского населения имеются тысячи жертв. И тут же прибавляли, что французская авиация не оказала никакого сопротивления, а зенитная артиллерия повсюду молчала. Неизвестно, были ли зенитки в отдаленных от фронта городах; ведь при современной технике вся Франция могла оказаться под огнем бомбардировок.

Восемь месяцев стояния на фронте, говорили крестьяне, прошли без всякой пользы для французской армии: ни к чему она не подготовилась, не приобрела никаких боевых навыков, не обогатилась даже новой техникой — танками и самолетами.

Я снова встретил мэра. Он, как и всегда, размешивал цемент в большом чане возле строящегося дома.

— Вы слышали, говорят, немцы уже недалеко от Парижа? — спросил он вполголоса.

— А зачем же вы тогда строите? Ведь все разрушат, — заметил я.

— А мы опять построим, — рассмеялся он. — Нам это не впервые.

Подсознательный страх сменился теперь глубокой тревогой. Все открыто говорили: «Мы не готовы. Что же нам делать?» Все как-то сразу поняли что все потеряно, хотя никаких крупных военных потерь тогда еще

не было. Официальные сводки стали еще загадочнее и непонятнее. После краткого сообщения о налетах и о сотнях жертв туманно говорилось о каких-то боях где-то на фронте. Потом газеты сразу сообщили о вторжении германских войск в Бельгию и Голландию. Германское радио уже тогда начало кричать о грандиозных победах, о сотнях тысяч пленных. Но германское радио во Франции почти не слушали. Немецким диктором, ведшим передачи на французском языке, был предатель, француз Ферроне, о котором немало писала французская печать. Ему никто не верил.

Но было нечто, что заставило всех жителей нашей местности поверить в реальность немецкого наступления. Это были беженцы с севера Франции, из департаментов Эн, Арденн, Па-де-Кале. Мимо нас по дорогам, ведущим в Орлеан и Вьерзон, потянулись бесконечные вереницы крестьянских телег. В каждую было запряжено несколько лошадей, каждая была нагружена до отказа ребятами, чемоданами, мешками, сельскохозяйственными инструментами и даже мебелью. Рядом с телегами шли молодые женщины и девушки, старики, подростки, а в телегах на груде тюфяков и подушек лежали старухи. За телегами, медленно покачивая рогами, брели на длинных веревках коровы и быки, лениво обмахиваясь хвостами и испуганно озираясь кругом. Бывало, корову или теленка везли в телеге, а хозяева шагали рядом, молчаливые, заплаканные.

Эти беженцы покинули родные места в первые же дни германского вторжения перед отступлением французской армии. Они рассказывали страшные вещи, и наши крестьяне их внимательно слушали. Говорили они медленно, без жестов. Эти люди не привыкли делиться своими несчастьями. Они шли к югу, а война шла за ними следом. Им не раз приходилось прятаться

в лесах или ложиться в канавы, когда на них пикировали немецкие самолеты. Многие потеряли в пути родных, друзей, детей. Мертвых хоронили возле дорог, а живые продолжали двигаться дальше к югу. Раз как-то я посадил в машину плачущую женщину. Она рассказала, что задержалась в одной из соседних деревень, а тем временем ее повозка уехала, и теперь она не знает, где ее родные. Мы изъездили с полсотни километров, пока наконец случайно не догнали ее спутников. Всю дорогу она была как сумасшедшая. Потеряться в пути, даже в родной Франции, казалось ей горше смерти: она никогда не выезжала из своей деревни.

Все беженцы, которые встречались мне во время разъездов, находились в состоянии какого-то нервного исступления. При малейшем шуме мотора самолета они бежали в лес.

Ночевали они около дороги, составив, как древние кочевники, свои повозки, разостлав под ними одеяла или брезент. Разводили костры, чтобы сварить незатейливый ужин, не заботясь о том, что отблеск костров был виден издалека и мог привлечь вражеские самолеты. Вечером вдоль дорог ржали лошади, мычали коровы, пели петухи и клохтали куры.

Наши местные крестьяне жалели беженцев, помогали им как могли, продавали продукты, приглашали в кафе, чтобы послушать их рассказы. И в то же время каждый думал про себя: слава богу, что до нас «это» не дошло. Фронт казался почему-то далеким, хотя он был всего в нескольких десятках километров и приближался с каждым часом.

Утром 11 мая все уже знали о результатах ночного налета. Немцы бомбили Орлеан и Вьерзон, причинив большие разрушения. Было много жертв. Один немецкий самолет, пролетая над соседним городком, сбросил

на него бомбу, по-видимому, чтобы избавиться от лишнего груза. Вот этот-то взрыв и слышно было ночью. Бомба попала в одиноко стоявшую в нескольких сотнях метров от деревни ферму: от фермы и от ее единственного обитателя не осталось ничего.

Теперь местные жители со страхом глядели на необычайно ясное небо, по которому свободно разгуливали германские самолеты. Иногда это были целые эскадрильи из нескольких десятков самолетов, и даже простым глазом мы различали на них черную свастику. Все с нетерпением ждали появления французских самолетов. Но их по-прежнему не было. Небо безраздельно принадлежало врагу. В Орлеане каждый день объявляли воздушную тревогу. Противовоздушная оборона, кстати сказать, очень слабая, не могла помешать германским самолетам пикировать на город. Хороших убежищ в Орлеане не было. Правда, в начале зимы на всех бульварах и в садах вырыли неглубокие убежища. Но за зиму они развалились, осыпались. Бревна растащили на дрова, самые убежища превратились в общественные уборные, отравляющие воздух зловонием.

В деревнях вообще убежищ не было. Только уже в середине мая кто-то из центра дал приказ рыть повсюду окопы и щели. Во всех окрестных деревнях появились войска, пришедшие с фронта и стоявшие здесь неизвестно для чего. В соседнюю деревушку Тижи также пришли два батальона и расквартировались в школах. Они не строили укреплений, даже пулеметных гнезд не делали. А между тем германские войска быстро продвигались.

В это время начался новый наплыв беженцев. Они приезжали на поездах, на машинах, растекались по департаменту, предлагали крестьянам любую цену за квартиры. Ясно было, что они не верили в то, что

вторгнувшиеся армии дойдут до Луары. Все местные гостиницы были переполнены. Не хватало мяса, хлеба, жиров. Из Парижа в частном порядке стали эвакуироваться школы, ясли, различные учреждения.

Моя жена заведовала большой школой под Парижем. Детей к этому времени оставалось уже мало, так как большинство родителей увезли ребят из Парижа. Школу надо было срочно эвакуировать: она находилась рядом с заводами Рено, где производились танки и броневики для французской армии. Мы стали подыскивать помещение в той местности, где работал я. Но владельцы не хотели сдавать своих замков под школу или же заламывали бешеные деньги. Наконец через бюро реквизиций в Орлеане нам удалось найти прекрасное помещение в имении крупного парижского фабриканта автомобильных радиаторов Шоссона. По приказу бюро он сдал школе дом с садом, все в крайне запущенном виде, но поставил условием внести арендную плату за шесть месяцев вперед. Сумма была невелика, но само требование уплаты вперед говорило о том, что владелец, очевидно, не очень-то верил в успехи французского оружия. Дом был снят и отремонтирован в течение нескольких дней. Но местная мэрия прислала вдруг извещение, что она реквизирует дом — и не более, не менее, как для самого владельца, ибо в замке должны были быть размещены эвакуируемые из Парижа архивы его завода. Приказ о возвращении дома владельцу исходил из того же самого бюро, которое две недели тому назад реквизировало дом Шоссона под школу.

Жена пошла в мэрию протестовать против этой реквизиции. Она указывала, что выбрасывать на улицу детей ради каких-то частных архивов — преступление, но крупный землевладелец миллионер Шоссон был

здесь человеком влиятельным, и мэрия предпочла не портить с ним добрососедских отношений.

Вероятно, школе пришлось бы все-таки убраться из этого помещения, если бы несколько дней спустя сами события не решили спора: германские войска подходили, родители забрали почти всех ребят, а мэрия в полном составе бежала на юг.

В начале июня моей жене удалось все-таки перевезти на автомобилях свою школу из Парижа и кое-как устроить детей и обслуживающий персонал. Они поместились в пяти километрах от моего дома.

Каждую ночь над нашей местностью почти непрерывно гудели германские самолеты. Собака, которую моя жена привезла из Парижа, глухо выла. Учительницам казалось, что немцы сбрасывают парашютистов, что кто-то невидимый бродит кругом по лесам.

В эти дни между 10 мая и 15 июня по всей Франции прошла волна страха перед немецкими парашютистами. Гитлеровское командование действительно сбросило их немало. Наши крестьяне рассказывали, что парашютисты — обычно в штатском, переодеваются даже женщинами или священниками. Парашютисты чудились повсюду. Старики и лесные сторожа, вооружившись допотопными охотничьими ружьями, с грозным видом обходили леса и поля, требуя от всех незнакомых предъявления документов.

Мэр деревни, в которой была расположена школа, получая от властей один противоречивый приказ за другим, в конце концов, потерял голову и передал все дела секретарю, старенькому чиновнику, который еще ни разу в жизни ничего не делал без приказа свыше. Но и получив приказ, он никогда его не выполнял, а всякий раз спрашивал у начальства дополнительные инструкции, даже если все было абсолютно ясно. Таким обра-

зом, он выигрывал время, ибо ответ из Орлеана, который находился в 35 километрах от деревни, приходил никак не раньше чем через два месяца.

Пустынная дорога, пролегавшая мимо наших деревень, снова оживилась. Появились сначала одиночные машины, потом группы машин и, наконец, целые вереницы мчавшихся из Парижа полным ходом автомобилей. Все они были нагружены до отказа людьми, чемоданами, узлами, тюфяками. Тюфяки обычно клали на крыши машин в два-три слоя и, кроме того, маскировали ветками, чтобы скрыть от самолетов. Затем показались велосипедисты. За ними двигались пешеходы, повозки, похожие на лавки старьевщиков. Многие шли пешком, катя перед собой детскую коляску или даже просто тачку, заваленную домашним скарбом. Поверх груза обычно красовалась корзина с кошкой, клетка с канарейкой или важно восседала собака. В первых числах июня мимо нашего дома день и ночь двигался поток беженцев, направлявшихся на юг. Вдоль дорог, на откосах, в полях и лесах ночью горели бесчисленные костры, около которых толпились люди, слышались голоса, споры, доносился запах варева. Для костров рубили первые попавшиеся деревья, часто даже фруктовые, посаженные вдоль дороги. Лесные сторожа пытались помешать истреблению лесов, но где им было справиться с бесчисленной и все растущей толпой. Часто к нам в дом заходили беженцы напиться или, прослышав, что в доме живет врач, за медицинским советом.

С каждым днем людской поток становился все гуще. Дорога стала похожа на центральную парижскую улицу. Ночью из лесов доносились испуганные крики потревоженных фазанов и филинов.

К 10 июня поток превратился в настоящую реку. Как раз тогда Геббельс торжественно возвестил по радио,

что германские войска войдут в Париж не позже 15 июня. Газеты издевались над этим заявлением, даже наши местные крестьяне посмеивались, хоть и с некоторой опаской. Но немцы, как известно, заняли Париж не 15, а 13 июня. Фашисты уже тогда любили торжественно возвещать о своих намерениях, рассчитывая терроризовать этим французов. Надо сказать, что во Франции все их предсказания сбывались даже ранее, намеченных ими сроков.

Французские власти приняли ряд мер, которые только облегчали Геббельсу эту «войну нервов» и окончательно сбили с толку население. Когда германские войска уже подходили к Парижу, по приказу коменданта Парижа, генерала Эрен (Héring), на всех стенах были развешены объявления, извещавшие население, что комендант намерен бороться с врагом всеми имеющимися в его распоряжении средствами и что Париж будет защищаться улица за улицей, дом за домом. Аналогичный приказ издал в сентябре 1914 г. генерал Галлиени накануне битвы на Марне. Но тогда население Парижа, чувствуя поддержку армии, героически приготовилось к защите. А теперь, когда никто не верил правительству, когда вся страна знала, что ее сдают без боя, перспектива уличных боев никому не улыбалась. Эти объявления вызывали взрыв страха и только ускорили бегство.

Если бы французское правительство думало всерьез защищать Париж, оно обязано было, прежде всего, своевременно эвакуировать из города женщин, детей. Но этого не сделали. Правительство сознательно толкнуло парижское население на бессмысленный и гибельный исход. Оно обмануло парижан, ибо защита Парижа вовсе не входила в его намерения. Это явствовало хотя бы из речи Поля Рейно.

За три или четыре дня до вступления германских войск в Париж на стенах домов появилась другая декларация. Она объявляла Париж открытым городом и возвещала, что столица Франции защищаться не будет, что все войска от Парижа отводятся. А между тем Париж с его линиями фортов, с его огромным гарнизоном мог бы легко стать центром обороны Франции.

Будь это заявление сделано раньше, население осталось бы в Париже, и четыре миллиона парижан не побежали бы очертя голову из города. Не было бы и бесполезных жертв — многих тысяч людей, умерших на дорогах Франции от голода, истощения, от немецких бомб и пулеметов.

Эти декларации — одно из величайших преступлений тогдашнего французского правительства перед народом Франции.

К середине июня небывалый в истории Франции исход стал всеобщим. Беженцы из Парижа смешались с беженцами из северных департаментов. В их поток постепенно, вливались жители расположенных по пути городов и деревень. Тысячи автомобилей из-за недостатка бензина или из-за поломок были брошены в пути. Едущие вслед снимали с машин все, что только могли увезти с собой: вещи, динамо, аккумуляторы, колеса с шинами, иногда даже моторы. Из резервуаров забирали бензин до последней капли. Для быстроты бензин — не переливали из резервуара в резервуар с помощью резиновой трубки, а брали у проезжавших солдат или офицеров револьверы, простреливали бак с бензином в двух-трех местах и подставляли ведра под бьющую струю бензина, после чего машину сталкивали с дороги, чтобы она не загромождала пути.

Налеты вражеских самолетов становились все чаще. К этому времени в колонны беженцев стали вливаться

военные эшелоны. Тысячи грузовиков с воинским грузом, целые батареи тяжелых и легких орудий, моторизованные части мчались на юг, не останавливаясь, не строя укреплений и покорно рассеиваясь при приближении немецких самолетов. Водители их дико орали на толпу. Но толпа не пропускала никого, и военным приходилось тянуться шагом вместе со всеми. Опасность для беженцев от этого только возрастала: немцы зорко сторожили появление военных эшелонов среди толпы и не жалели на них бомб и свинца. Время от времени вдоль дороги ложились тяжелые бомбы, и в гигантские воронки падали люди и машины. Были убитые и раненые, но толпа, разбегавшаяся в первые минуты по лесам, снова смыкала ряды и шла вперед.

Всю ночь слышались глухие взрывы бомб в окрестных городах и лишь изредка — ответный слабый треск зенитной артиллерии. Как-то днем мы услышали подряд несколько страшных взрывов, от которых затряслись дома в деревне, полопались стекла в окнах. На юге, на горизонте, встали огромные столбы белого дыма. В тот же день мы узнали, что германские самолеты бомбили пороховые склады в Вьерзоне, километрах в сорока от нас. Ночью взрывы и стрельба слышались отовсюду. Только наш уголок еще не пострадал.

Как-то проходя через деревню, куда меня срочно вызвали к больной, я увидел мэра. Он и в этот раз месил известь в чане около уже почти достроенного дома.

— Ну что, скоро и вы собираетесь?

— Пока еще нет, — ответил он грустно. — Мы не парижане. А придется, так уедем. Вот только дом достроим.

И он начал таскать кирпичи. Этот дом он строил вдвоем со своим помощником.

Пока обезумевшая толпа стремительно продвигалась по дороге к югу, в нашей местности произошли кое-какие события. 7 или 8 июня в деревне Тижи расположился французский батальон. Пушек у него не было, но имелось несколько пулеметов, которые солдаты расставили у входов в деревню. Не знаю, для чего они это сделали: опасность грозила с неба, а не со стороны дороги. Окопов солдаты не рыли. Местные жители перепугались до смерти: появление солдат с пулеметами означало, что армия уже отступила от Луары и бои, следовательно, могли начаться в нашей местности, больше того, и в самой деревне. Постепенно наиболее «видные» жители стали грузиться на автомобили.

Хлеб и мясо исчезли, так как подвоз продуктов прекратился. У булочной и у мясной стояли огромные очереди беженцев. Булочница и мясник — мои пациенты — снабжали меня как прежде, но предупреждали при этом: «Если и дальше пойдет так, через несколько дней ничего не останется. У нас покупают хлеб не только штатские, но и солдаты».

Многие беженцы прибыли в Тижи голодные. Они по два-три дня ничего не ели. По дорогам уже ничего нельзя было достать, а из Парижа, в панике, они не захватили провизии.

В эти дни в деревне появилась огромная колонна новых автомобильных шестиколесных шасси, только что вышедших с завода. На каждом шасси, кроме водителя, сидели, уцепившись за что попало и как попало, десятки рабочих с завода. Ехать дальше они не смогли, не хватало бензина. Водители поставили машины в соседнем лесу, кое-как спрятав их между деревьями, а сами расположились в деревне. Там они прожили дня три, а потом разбрелись куда-то, оставив около 150 машин на произвол судьбы, без всякой охраны.

Когда позже немцы прибыли в нашу местность, машины все еще стояли там, где их оставили. Никто не подумал о том, чтобы привести их в негодность.

С дороги их не было видно, и даже беженцы их не приметили и не ободрали. А обдирать было что: все новенькое, прямо с фабрики. Немцы захватили эти машины, наполнили их резервуары бензином, взятым у французов же, и погнали в Орлеан достраивать кузова. Кстати сказать, шоферы, пригнавшие эти машины к нам, не получили приказа уничтожить их, а бензин вовремя доставлен не был.

Немецкие разведчики вскоре заметили, что в Тижи стоят войска. Германские штурмовики покружились над деревней и, как коршуны, спикировали, стреляя из пулеметов по домам, в которых спешно укрывались французские солдаты. В это время моя дочь как раз приехала в деревню за хлебом. Солдаты втолкнули ее в дом, чтобы укрыть от пуль. Тогда она еще ничего не понимала в войне и невольно залюбовалась невиданным зрелищем. Так война перекинулась в наши места.

Школа жены почти опустела. Вместе с толпой беженцев пришли и родители последних оставшихся еще в школе детей. Мать одного из них добралась сюда пешком из самого Парижа, рядом с нею шел ее муж, везя в детской коляске два чемодана. По дороге ее взяла в свою грузовую машину жена одного парижского лавочника, но спросила с нее за это тысячу франков. Провезя ее километров пятьдесят, лавочница вдруг заявила, что поедет в другую сторону. Ехали они так медленно, что муж нашей знакомой нагнал машину пешком. Они покорно побрели дальше пешком. Вдобавок наша знакомая забыла в грузовике свой чемоданчик с вещами. Оба были измученные, грязные, голодные. В школе осталось всего четверо ребят, родители которых не явились за ними.

Люди шли теперь непрерывно, почти плечо к плечу, днем и ночью. Автомобили еле двигались, непрестанно останавливаясь, загромождая дорогу, почти впритирку один к другому. Военным эшелонам приходилось сворачивать в поле. Их тяжелые машины оставляли глубокие борозды, а часто и вовсе застревали. Все свободное пространство между машинами заполняли велосипедисты, пешеходы, катящие тачки или детские коляски. Толпа двигалась медленным, равномерным шагом среди рокота моторов и ругани водителей машин. Продвинувшись метров на десять, машины останавливались, пешеходы и велосипедисты их обгоняли. Большинство велосипедистов шли пешком, держа свои машины за руль, погрузив на них весь свой багаж: рюкзаки, узлы, чемоданы, опять корзинки с кошками, клетки с птицами, собачонок. У животных вид был такой же растерянный, как и у людей. Они словно прилипали к своему сиденью и сидели не шевелясь.

Люди уже не первый день шагали под палящим солнцем и в копоти автомобилей. Многие машины ехали свыше недели, хотя до Парижа было всего полтораста километров. Пешеходы были грязны, небриты, прически у женщин растрепались, всех покрывали пыль и загар. У многих на спине болтались рюкзаки, мешки или даже чемоданы, как у заправских носильщиков. Иные побросали в пути свои тачки и коляски. Вся дорога была усеяна оторванными колесами, обивкой, какими-то досками. Тысячи пустых консервных банок заполняли придорожные канавы, бумажки густо устилали всю дорогу.

Водители машин грубо и с ненавистью переругивались, пытаясь обогнать один другого. Но пешеходы помогали друг другу как могли. Причем, имущие ссорились между собой, а бедные оказывали друг другу помощь.

Вообще во время этого исхода социальные грани выступали с крайней резкостью. Общим было только одно: все стремились бежать как можно дальше от Парижа и как можно скорее.

О числе беженцев и тогда, да и позже ходили самые невероятные слухи. Знаю одно: когда я месяц спустя, в июле 1940 г., вернулся в Париж, там по приказу оккупационных властей прошла перепись всего оставшегося населения. Данные ее появились в газетах, кажется, в начале августа. По переписи оказалось, что в Париже в это время было всего около 900 000 жителей. А до войны вместе с пригородами столица Франции насчитывала около 4 800 000. Следовательно, около четырех миллионов парижан покинули город. Прибавьте к ним не менее 6–7 миллионов беженцев из северных департаментов. Иначе говоря, по крайней мере, 10 миллионов французов — четвертая часть населения всей Франции и больше половины населения Севера — пришло в движение.

Французская армия к этому времени фактически уже перестала быть активной силой. Не попавшие в плен, — а в плен попало около 2 миллионов солдат и офицеров, почти половина всей армии, — тоже бежали, смешавшись с толпой беженцев. Мы видели военных повсюду, где нам только пришлось быть. Они отступали, вернее, удирали с такой быстротой, что обгоняли порой колонны беженцев. Беженцы осыпали их насмешками и руганью. Солдаты не отвечали, они продвигались на юг почти без офицеров, выполняя какой-то непонятный для них приказ: уйти возможно дальше от врага, сдать без боя всю Францию. Я как-то разговорился с офицером отряда, который расположился на отдых возле нашего дома.

— Франция гибнет, гибнет, — повторял он в отчаянии. — Я был на войне 1914 г., — он показал на боевой

крест, украшавший его грудь, — но ведь мы же тогда дрались, мы побеждали. Что же случилось сейчас, почему? Ведь это наши же солдаты, французы. Они сражались бы, но никто не велит им сражаться. Мы только что начали войну, а у нас уже нет снарядов, нет самолетов, нет танков. У немцев все это есть. А мы, что мы могли сделать? Приходим к бетонному доту, заранее построенному за линией фронта, и что же? Он заперт на ключ. А у кого ключ — неизвестно, открыть дот невозможно, надо взрывать дверь. Мы не могли даже добраться до фронта: все дороги забиты беженцами. И мы, не дойдя до фронта, получили приказ идти на юг, куда — неизвестно. И вот мы выполняем этот приказ.

Солдаты, с которыми я говорил, молодые, разбитные парижане, подтверждали то же:

— Это не война, а б… Люди мечутся без толку. Мы идем на север, штатские бегут на юг. Мы закрепляемся, начинаем стрелять в немцев, хотим взорвать мосты — нам дают приказ оставить все и идти назад. Нас предают, это ясно.

Слово «измена» на этот раз было сказано открыто. Да и кто смог бы драться в таких условиях? Генералы сдавались в плен с целыми корпусами, например какой-то генерал Корап, о котором никто раньше и не слыхал. Почти все мосты на севере, на пути вражеской армии, остались не взорванными. Немецкие самолеты заполнили небо, немецкие танки и бронетранспортеры просачивались в тыл, почти не стреляя, почти не встречая сопротивления. Франция сдавалась без боя. Обнаглевшие от этой легкой победы, гитлеровцы объявили по радио французам, что сотрут с лица земли деревни и города, где им будет оказано сопротивление. Так они разрушили половину Орлеана, Сюлли и еще несколько деревень вблизи нас.

Порой солдаты пытались сопротивляться на свой страх и риск, без приказа свыше. В Орлеане, в Туре возникали такие группы сопротивления, иногда во главе с офицерами, но чаще без них. Здесь были и старики, участники прошлой войны, была и зеленая молодежь. Но что они могли поделать одни против немецких бронированных сил, против немецких самолетов?

В Вильнёв-сюр-Шер, где застряла моя семья во время исхода, какой-то взвод солдат также пытался обороняться; завалили дорогу деревьями, опутали их проволокой, поставили пулеметы. Но местное население, понимавшее, что сопротивление одного взвода не остановит врага, а вызовет только напрасное кровопролитие и разрушения, снесло все препятствия, и солдатам пришлось удалиться.

В тех городах, куда могли прийти германские войска, жители вывесили на деревьях и на домах белые тряпки, платки в знак того, что они сдаются.

Все видели, что армия неспособна защищать страну, да и сама армия поняла, что сопротивляться она не может. Дело тут было даже не в бездарных генералах вроде главнокомандующего Гамлэна. Гамлэн делал то, что приказало ему правительство. Армия была обезоружена, предана. Крупная правящая буржуазия открыто ждала прихода германских войск. Она вела войну против своего же народа с помощью немецкого фашизма, ибо французский фашизм был слишком слаб для того, чтобы самому захватить власть. «Пятая колонна» работала вовсю. Печать и агенты «пятой колонны», не переставая, твердили во время войны с Германией, что главный враг Франции — это СССР.

В момент наивысшего отчаяния, когда французы поняли, что все проиграно, что Франция разбита, они вспомнили об СССР. Ведь раз их предали, рассуждали

они, раз их так нагло обманывали, значит, им лгали и про СССР. Значит, именно Россия могла их спасти. Не удивительно, что слухи о вступлении Советского Союза в войну против Германии не раз возникали в колоннах беженцев.

Никто не направлял поток беженцев, никакая человеческая воля не стремилась хоть в какой-то мере организовать его. Правительство уже тогда, как будто перестало существовать. На глазах у всех рушилась система, весь строй страны, создававшийся веками. Власти на местах либо потеряли всякий авторитет, либо сами бежали первыми и, пожалуй, не столько от приближавшегося врага, сколько от своих же французов, словно боясь ответственности перед ними. Ведь они на местах представляли правительство. Но что могли они дать населению!

Расскажу один достаточно характерный случай. Одна из учениц моей жены осталась последней в школе; ее мать не смогла — за ней приехать, так как находилась в местности, уже занятой врагом, в Брюнуа, неподалеку от Парижа. В Брюнуа, богатом маленьком городке, парижские лавочники, рантье и буржуа имели свои дачи, приезжали сюда летом на отдых. Весь муниципалитет города был крайне реакционен. Мать ученицы работала там учительницей в местной народной школе. Как раз в дни паники она получила от своего муниципалитета приказ, в котором мэр обязал от имени правительства всех городских и государственных служащих оставаться на своих постах, что бы ни случилось. В эту пору почти все школьники разъехались, учительница тотчас же пошла в мэрию, чтобы узнать, как же ей поступить. Но она никого не застала: весь муниципалитет в полном составе в тот же день бежал из города на грузовике, на котором обычно вывозили на свалку городские нечистоты…

На пути бесконечных колонн беженцев не было организовано медицинской помощи, не было ни врачей, ни сестер. А между тем в толпе были больные и раненые. Многие бежали из парижских больниц в страхе перед наступающими армиями. Люди сотнями умирали на дороге, так и не дождавшись врача. Многие пострадали от автомобильных катастроф. Беженцы как-то узнали, что я врач и живу близко от дороги. Вероятно, им сказали об этом местные крестьяне. Десятки больных заходили ко мне на дом, кто просил помощи, кто лекарства. Ко мне привозили и приносили раненных в дорожных столкновениях, раненных пулями и осколками бомб. Как-то раз недалеко от нашего дома в канаву слетел и перевернулся вверх колесами грузовик, наполненный людьми. Каким-то чудом никто не погиб, но одна женщина, стоявшая возле машины и глядевшая вперед, от толчка ударилась лицом о кабину. У нее был перелом костей носа. Изо рта и из носа шла кровь. Я сделал ей тампонацию и предложил отдохнуть. Но как только моя пациентка узнала, что перелом не опасен для жизни, она наотрез отказалась остаться: страх вернулся к ней вместе с надеждой на жизнь. Она забралась на другой грузовик и умчалась. На наших глазах свалившийся в канаву грузовик в одну минуту ободрали беженцы. Они унесли все: колеса, фары, бензин и даже доски обшивки.

Никогда в моей врачебной практике я не встречал столько переломов костей носа, как в эти дни, и все, как и в описанном случае, вызванные резкой остановкой машин.

## Наш отъезд

Вечером 15 июня мы тоже решили уехать. Невольно всеобщая паника захватила и нас. Ужас, тревога этих бегущих на юг людей передались всем членам нашей

семьи, служащим школы. Но для отъезда были и объективные причины. Наши запасы продовольствия иссякали. Деревенские лавчонки опустели: беженцы раскупили все. В булочных не было хлеба, муку не подвозили. Большинство торговцев уже уехало, а оставшиеся спешно грузились на автомобили. Местное население постепенно вливалось в толпу беженцев. Днем и ночью над соседними деревнями и городками кружили вражеские самолеты, грохотали разрывы бомб, лаяли пулеметы. Страх выгонял местных жителей из домов, гнал их куда глаза глядят. Почти все мои пациенты разъехались. Да я и не мог ездить к ним на автомобиле: негде было купить бензина, за ним приходилось идти в деревню пешком за три километра. К тому же невозможно стало уже выбраться на большую дорогу, сплошь забитую колоннами беженцев, машинами.

Беженцы рассказывали, что французы взорвали на Луаре мосты, что там будет организовано сопротивление, что там пройдет линия фронта. Но крупные военные силы не появлялись, а враг был уже близко. Поль Рейно грустным голосом сообщил по радио о том, что французские войска оставили Париж. Кстати сказать, эта речь была последним отзвуком радио: в округе прекратилась подача электрической энергии. Мы сидели в темноте, радио молчало.

Последнюю ночь, тяжелую и зловещую, мы провели в нашем затерявшемся среди полей и лесов доме. Вечером где-то совсем близко ухали бомбы. На горизонте, со стороны Луары, ползли огромные столбы дыма, расцвеченные заревом пожара. Весь горизонт казался охваченным пламенем: на западе еще догорал закат, а на востоке, в стороне Сюлли, небо пылало заревом пожара, словно там всходило другое солнце. Очередь была за нашей деревней.

А поток беженцев все еще лился по дороге. Деревни на его пути пустели, и толпа молча шагала по безлюдным улицам мимо брошенных, наглухо закрытых домов. Часто беженцы сворачивали с дороги, чтобы попросить у жителей воды или пищи. Никто не отвечал на их стуки, никто не откликался на их голоса. Тогда, взломав двери, беженцы заходили в дома. Люди, оставившие все свое имущество на разграбление врага, не очень-то церемонились с чужим добром.

Надо сказать, что крупных краж все же не было. Воровали или, вернее, просто брали в первую очередь продукты. Беженцы голодали, многие ничего не ели по два-три дня. Они забирали в чуланах провизию, резали кур, кроликов, гусей, жарили их тут же на кострах у края дороги. Залезали в погреба и вытаскивали оттуда бутылки с вином, которое немедленно выпивали. Пьяных в толпе не было: французы к вину привыкли и пили они не для того, чтобы напиться. По совести говоря, их трудно было даже за это корить, вероятно, каждый на их месте поступил бы так же.

Но брали не только еду, брали белье, простыни, одеяла и полотенца, т. е. опять-таки предметы, в дороге полезные. Ели в чужой посуде, а затем били стаканы, тарелки, уносили с собой ложки и ножи. Часто захватывали то, что попадалось под руку, понравилось почему-либо; никто не думал о том, что делать потом в пути с безделушками, украшениями, кухонной утварью, столярными инструментами, семейными фотографиями, рамками. Грабители были не профессионалы, а рядовые французские обыватели, веками привыкшие свято чтить чужую собственность, а тут сразу забывшие свои привычки и традиции.

Больше всего, как это ни странно, крали не самые бедные, а люди побогаче, те, которые ехали на своих

машинах. Ведь пешеходам и велосипедистам не на чем было тащить награбленное. Они только поедали провизию, выпивали вино. По моим личным наблюдениям, очень многие хищения совершили именно зажиточные буржуа, лавочники, ехавшие на грузовиках или на легковых автомашинах.

Когда мы, погрузив, наконец, все, что могли, из школьного имущества на машину, уже тронулись в путь, к нашей школе подъехал грузовик. Из него выпрыгнули на землю очень прилично одетые женщины, вошли внутрь помещения и стали уносить в свою машину оставшиеся там вещи. Наша школьная кухарка первая заметила грабеж и набросилась на дам с руганью. Дамы даже и не подумали извиниться, а невозмутимо ответили:

— Мы же не знали, что это ваше. Мы думали, что вы тоже забираете вещи из пустого дома…

Когда мы через две недели вернулись обратно, все школьное имущество пропало: исчезли школьные простыни, тюфяки, кастрюли, куры, кролики. Вокруг дома, на лужайках, валялись черепки перебитых тарелок. Это больше всего возмущало нашу кухарку:

— Ну хоть бы взяли, хоть бы унесли, а нет вот, зря побили добро, — твердила она в негодовании.

В эту последнюю ночь никто из нас не ложился спать. Воздух дрожал от разрывов бомб, окрестные леса стояли, озаренные заревом пожара, полыхавшего в Сюлли, в небе гудели немецкие самолеты, порою совсем низко пролетавшие над нашим домом. Мы не могли даже зажечь огня. Как-то не верилось, что горит красивый кокетливый городок Сюлли, что там сейчас, в эту самую минуту, умирают люди. А в Сюлли произошло вот что.

Колонны беженцев двигались из Парижа по главным дорогам на Орлеан и на Фонтенбло, к югу. Главная

масса беженцев свернула у Этампа с Орлеанской дороги на Питивье, городок, расположенный в 35 километрах от нас. Их направили туда военные власти, утверждавшие что Орлеан сильно бомбят. Этамп тоже бомбили, и люди убегали оттуда по полям, на Питивье. Какая-то часть беженцев все-таки направилась на Орлеан. Германские самолеты тогда налетали на Орлеан почти каждый день. Колонна, шедшая на Питивье, повернула на Сюлли. Недалеко от городка, километра за полтора, близ моста через Луару, к этой колонне присоединилась другая, шедшая со стороны Фонтенбло, ибо германские войска уже перерезали дорогу дальше к югу, у Санса. Обе колонны, слившись в одну, двойным потоком текли к мосту через Луару у Сюлли. Двигались они медленно, люди шли от Парижа восемь-десять дней. Когда же обе колонны слились в одну, идти стали еще медленнее. У моста через Луару произошла невообразимая давка, тем паче, что движения никто не регулировал. Военные эшелоны, сами мчавшиеся к югу, попросту оттеснили беженцев на эти дороги.

Зато обе главные дороги — на Орлеан и на Фонтенбло — были пустые. По ним никто не шел — ни военные, ни гражданское население. Обе колонны беженцев, неизвестно по чьему приказу, двигались на Сюлли. Возможно, что это было сделано преднамеренно. Немецкие агенты кишели повсюду, знали все, что делается в тылу у французов, путали приказы, отдавали ложные распоряжения, сеяли панику, У беженцев никто не спрашивал никаких бумаг, власти отсутствовали полностью. А среди беженцев, несомненно, имелось немало немецких шпионов. Как-то в пути я увидел артиллерийского офицера. Он стоял у края дороги и безнадежно глядел на толпу. Его батарея тяжелых орудий застряла, буквально захлебнувшись в людском потоке. Я спросил его:

— Почему никто не проверяет документы беженцев? Ведь среди них могут быть немецкие шпионы.

Тот только руками развел:

— Что мы можем сделать с этакой толпищей? Нужно целую армию, чтобы ее контролировать. А наши войска разбиты, и мы даже не знаем, где они.

Чья-то преступная воля выбросила миллионы французов из городов и сел на дорогих забила ими все пути, смешала штатских с военными, преградила им путь, парализовала всякую возможность сопротивления.

Когда обе колонны беженцев соединились у моста через Луару около Сюлли, движение приостановилось.

Надо было перейти мост, неширокий, подвесной. Машины по нему могли двигаться только в два ряда, а по шоссе машины шли в три и даже в четыре ряда. Люди и автомобили часами стояли у моста, ожидая перехода. На самый переход уходило несколько часов, так как по другой стороне у Сюлли также образовался затор.

Вслед за пешеходами пытались проскользнуть через мост между машинами велосипедисты. Возмущенная толпа накинулась на них. Началась драка, нескольких велосипедистов сбросили в реку. Велосипедистов заставили спешиться и переходить мост пешком, ведя машины за руль. Около моста дежурило несколько саперов. Они минировали мост и ждали только приказа, чтобы его взорвать. На фронте мостов, как известно, не взрывали, а здесь, где никто и не думал о сопротивлении, понадобилось неизвестно почему взорвать мост. Ведь остатки французской армии еще не добрались сюда. Да, кроме того, если бы на мост упала бомба, она взорвала бы заложенные в него мины.

Саперы молча смотрели на толпу, не пытаясь хоть в какой-то мере направить ее движение. Рядом с ними стояла брошенная батарея тяжелых орудий. Она так

целиком и досталась впоследствии врагу. Очевидно, ее нарочно привезли и кинули здесь.

Многие беженцы, бросив машины, взвалили на плечи все, что только могли нести, и тронулись через мост пешком. Этот страшный переход длился несколько дней и несколько ночей. И здесь произошло то, что должно было произойти неминуемо: налетели германские самолеты.

Все свидетели этого налета утверждали впоследствии почему-то, что самолеты были не немецкие, а итальянские. То же говорили мне и крестьяне из деревни Ванн о самолетах, бомбивших их деревню. У меня нет и не было никакого основания верить этому. Возможно, что сами немцы пустили этот слух, чтобы взвалить на своих союзников ответственность за это кошмарное преступление. И действительно, это было преступление перед мирным французским населением. Ведь французские военные части не защищали ни подступы к мосту, ни мост, ни город. Поблизости не было никаких укреплений, а батарея тяжелых орудий стояла брошенная, чего, понятно, гитлеровское командование не могло не знать через своих шпионов.

Несколькими часами позже французы все-таки взорвали все мосты через Луару — в Орлеане, Жаржо, Шатонефе, Сюлли, — что было совершенно бесполезно и даже нелепо. Когда германские части подошли к Луаре, их саперы за несколько часов беспрепятственно навели понтонные мосты. Французское командование, в лице Петэна и Вейгана, уже тогда вело переговоры о капитуляции и не помышляло о сопротивлении.

Сотни тысяч беженцев после взрыва мостов на Луаре оказались отрезанными от пути к югу. Семьи были разлучены, потеряли друг друга, многие — на долгие годы. Взрыв мостов внес невероятное смятение. Даже

враг не мог навредить больше, чем сделали сами французские власти.

Но вернемся к налету германских самолетов. Вражеские машины покружились над толпой, стоявшей по обе стороны моста и на мосту, снизились и вдруг с диким воем спикировали на мост. Ради устрашения вражеские летчики пускали в ход в момент пикирования особые сирены.

В шуме никто не заметил приближения самолетов и, только услышав вой сирен, все подняли головы вверх и оцепенели от ужаса. Стоявшие на берегу бросились в поле, но было уже поздно. Самолеты били по мосту и по дороге, густо покрытой, как икрою, беженцами, а также по Сюлли. Два раза налетали самолеты, сбрасывая огромные фугасные и зажигательные бомбы. Их последний налет, уже поздним вечером, был самым губительным.

Город, наполовину разрушенный, запылал. Только предместья, утопавшие в садах, уцелели более или менее, обрамляя черную яму развалин центра.

У людей не было ни времени, ни возможности бежать. Смерть косила их сотнями. Пылали автомобили, зажженные бомбами. Трупы загромождали подходы к мосту. Во время налета погибло около тысячи человек. Когда я потом просматривал в мэрии Сюлли списки убитых, почти против каждого описания трупа стояла приписка: личность не установлена. Многие потеряли тут своих жен, детей, родных. И вдобавок им так и не удалось узнать о судьбе близких, потому что все трупы были обуглены и изуродованы до неузнаваемости. А ведь сердце человека устроено так, что, если он не видел сам гибели своего близкого, не получил о ней точных сведений, он верит в чудо, надеется на его спасение. Мой брат пропал без вести на гражданской

войне, а мать до самой своей смерти, до 1930 года, верила, что он жив, и все поджидала его возвращения.

Страшные сцены разыгрались в Сюлли и на мосту, когда налет кончился и движение колонны возобновилось.

Вот по дороге из Сюлли медленно едет автомобиль. Рядом с водителем, как-то безжизненно поникнув, сидит молодая женщина с закрытыми глазами. Это труп его жены, которую убило рядом с ним осколком бомбы. Но человек везет ее неизвестно куда, словно она все еще жива.

Один водитель остановил свою машину в ближайшей деревне и обратился к местным жителям с просьбой дать ему напиться. Сзади него в машине сидел мальчик и держал в руках большой сверток. Тут же сидела жена, бледная, молчаливая.

— Знаете, что я везу? — спросил он вдруг у крестьян, давших ему воды.

И не дожидаясь ответа, подошел к машине и развернул сверток: в простынях лежал труп ребенка. Этот человек вез с собою труп своего убитого сына.

Люди по инерции продолжали двигаться на юг, увозя с собою трупы своих близких.

Едва стемнело, саперы взорвали мост в Сюлли. На мосту еще были люди, автомобили, повозки. Я видел сам много дней спустя застрявшие на мосту в момент взрыва автомобили. Одни торчали из воды на самой середине взорванного пролета, другие, зацепившись за перила, висели в воздухе.

Сообщение через мост было прервано… по крайней мере для французов. Огромная толпа все еще долго теснилась у моста, словно ожидая чего-то. На нее напирали сзади вновь прибывающие колонны.

Постепенно люди рассеялись по полям, освещенным пламенем горящего Сюлли. Владельцы машин пошли

в обратный путь пешком, у них больше не было бензина. Из покинутых машин сыпались на дорогу вещи, бумаги, чемоданы. Когда я проезжал здесь в начале июля, вокруг Сюлли и у моста, в полях и лесах, стояло 15 000 брошенных машин, гигантский мертвый автомобильный парк…

## Мы вливаемся в великий исход

Рано утром 15 июня мы выехали из дома. Я правил большой мощной машиной. В машину мы поместили родителей жены, их секретаршу, детей, кое-какое школьное имущество. Дочь правила маленьким автомобилем, а пассажирами ее были жена, кухарка школы и еще двое ребят. Она только — что получила права на управление автомобилем. Во время войны возраст для водителя был понижен до 16 лет.

Когда мы добрались до дороги, пришлось ждать больше часа, прежде чем нам удалось влиться в колонну. Наконец мы все-таки кое-как втиснулись в общий поток. Проехав два-три метра, мы стояли час, полтора. Из дома мы выехали в 7 часов утра и добрались до Ванна, в трех километрах, к 12 часам дня.

От деревни расходилось несколько дорог. Поток беженцев двигался по главной магистрали по направлению в Бурж. Но по второстепенным дорогам можно было ехать довольно свободно. Деревня была забита автомобилями, велосипедистами, пешеходами, военными на грузовиках. Местных жителей уже почти не оставалось. Запоздавшие торопливо складывали свои вещи и грузили их на повозки или на автомобили. Я снова увидел нашего мэра, он был одет по-городскому и тревожно смотрел на толпу беженцев, осаждавшую его какими-то просьбами. Меня он приветствовал грустной улыбкой.

— А вы остаетесь? — спросил я его.

— Да нет, вероятно, на время уеду в соседнюю деревню. А когда пройдет, вернусь.

Мы обменялись рукопожатиями и расстались. Местные крестьяне, грузившие автомобили, махали мне вслед руками. Почти все они были моими пациентами.

После Ванна мы поехали довольно быстро, дорога оказалась сравнительно свободной. Нашей целью был городок Сент-Аман. В одной из деревень я расстался с женой и дочерью, условившись встретиться с ними дальше в пути: мне пришлось остановиться у гаража, чтобы починить проткнутую шину. Но когда мы приехали в условленное место — большую деревню, машины с моей семьей там не оказалось. Мы ждали ее несколько часов на главной площади деревни, переполненной беженцами и машинами. Вдоль дороги, недалеко от нас, сидели пешеходы, они снимали обувь и растирали израненные и стертые от ходьбы ноги.

Здесь мы вздохнули посвободнее. Деревня была полна жителей, в кафе сидели люди, пили вино, болтали. По площади бродили жандармы. В садах и огородах мирно работали крестьяне. Тут не чувствовалось того напряжения, как на дороге у Сюлли. Казалось, что мы вне зоны военных действий, в далеком тылу. А мы отъехали всего 30 километров от Ванна. Мой тесть пошел в ресторан, но там было полно. Прислуживали местные девушки, разнося по столам блюда, бутылки с вином, как будто ничего не случилось, а просто все было как в праздничный или ярмарочный день. Пока мы стояли на площади, к нам подошел жандарм:

— Встаньте где-нибудь за деревней. Площадь часто обстреливают с самолетов.

Бумаг у нас жандарм не спросил. Он только показал нам рукой на стены домов: там виднелись следы пуль. Мы выехали за деревню и остановились в лесу. Мимо

нас медленно ползли один за другим автомобили, груженные людьми и поклажей, по-прежнему тащились пешеходы, но все это уже не сплошным потоком, а отдельными группами. Это также разряжало атмосферу напряженности, в которой мы жили все последние дни. Пешеходы останавливались около нашей машины, вступали в разговор, видимо чувствуя потребность наговориться после утомительного пути. Почти все они были из Парижа. Бежали они внезапно, прочтя на стенах домов объявления о том, что Париж будет защищаться. По дороге в деревнях крестьяне нередко брали с них деньги даже за стакан воды. Автомобилисты отказывались подвезти пешеходов, хотя в машинах и было свободное место. Куда они шли? Они сами не знали. Они не знали географии своей страны и тревожно расспрашивали нас о том, куда бы им направиться. Когда мы спрашивали в упор, почему они покинули Париж, они отвечали уклончиво, обиняками, намеками на всеобщее предательство, ругали армию и в особенности офицеров, удиравших, по их словам, первыми. Они указывали на проезжавшие машины, в которых сидели офицеры с чемоданами:

— Видите, видите, вот как они удирают на юг. Они нас предали. Вместо того чтобы сражаться, они нас обгоняют.

Действительно, мимо нас мчались бесконечной вереницей военные эшелоны на новеньких, явно не побывавших в бою автомобилях, с орудиями всех калибров, стволы которых были расписаны свежими красками.

— Смотрите, как они бегут с фронта. Если бы они мчались таким же галопом на фронт!

Мне удалось поговорить также кое с кем из солдат. Офицеров почти не было, и солдаты не стеснялись в выражениях:

— Нам было велено ехать, а куда — не сказали. Так мы и не знаем, куда едем. Будем ехать, пока есть бензин. А там посмотрим.

В этой деревне мы каким-то чудом встретили садовника нашей школы. Он ехал из Парижа на велосипеде, разыскивая свою жену, нашу школьную кухарку. Из Медона, под Парижем, где он жил, его вызвали в жандармерию в Версаль для мобилизации и направления в полк. В положенное число, 11 июня, он явился в казарму указанного ему полка, но никого там не нашел. Все уже уехали. Ему встретился жандарм, тоже собиравшийся удирать на велосипеде. Садовник спросил у него, куда же ему теперь являться. Жандарм сделал неопределенный жест:

— А я почем знаю? Кажется, твой полк сейчас в Бордо. Поезжай туда.

Совет был прост. Но на чем ехать? Поезда из Парижа не ходили. Поток машин уже кончился. Париж и его окрестности разом опустели. Наш садовник взял сумку, положил в нее провизии на дорогу, сел на велосипед и уехал в Ванн, где была наша школа и его жена. В Ванне он нас не застал, наудачу покатил на юг и случайно встретил нас на дороге.

То, что ему пришлось видеть в пути, приводило его в ужас и в ярость. Он потерял всякую веру во Францию. А между тем он всегда считал Францию самой организованной страной в мире.

Он поделился с нами провизией. Мы накормили детей. Ждать машину с нашими становилось нелепо: ночью мы все равно их не узнаем, машины шли без огней. Решено было ехать в Сент-Аман, жена знала, что мы направляемся туда, и возможно, уже ждала нас там. Садовник следовал за нами на велосипеде. Дети, поевши, успокоились, на душе стало как-то легче.

Дорога извивалась среди полей и холмов, шла мимо ферм и деревень, повсюду были жители, никто не уезжал, и это возвращало нас к нормальной жизни. На всех фермах расположились солдаты, рядом стояли грузовики, орудия, повозки, ржали лошади. Но нигде не чувствовалось подготовки к бою, солдаты бездельничали, хотя фронт, если только его можно было тогда называть фронтом, находился рядом.

Мы пересекли шоссе, ведущее к Буржу, и снова свернули на проселочную дорогу. Слева виднелся Бурж, мачты его радиостанции. Внезапно над городом поднялись огромные столбы черного дыма. Отчетливо послышалось гуденье самолетов. Почти над самыми нашими головами, распластав крылья, грузно и медленно летели огромные бомбовозы, казавшиеся черными в окружающем полумраке. Они летели в полном боевом порядке.

В Сент-Аман мы приехали еще до наступления ночи. Дорога круто спускалась в котловину, где стоял город. Нам показалось, что мы подъехали к берегу бурливой реки: слева от нас, по большой дороге, идущей от Буржа, вновь лился поток автомобилей и пешеходов, тот самый, который мы покинули в Ванне, за сто километров отсюда. Хвост этой гигантской живой змеи еще тащился неподалеку от Парижа, а голова уже достигала центра Франции.

При въезде в город с обеих сторон дороги лежали стволы деревьев, оцепленные колючей проволокой, и уныло торчало дуло одинокого пулемета. Рядом на земле сидело несколько солдат. Они курили папиросы и молча глядели на беженцев.

Маленький, утопавший в садах городок, лежавший в глубокой котловине, был переполнен людьми. Улицы кишели народом, в поисках ночлега беженцы лихорадочно сновали по магазинам, по домам, по отелям.

Но места нигде не было. Охваченные безумием, парижане как будто и не замечали, что в огородах и садах спокойно трудились люди, что в мастерских, в гаражах, в магазинах работа идет нормально, как в обычный будний день, что город не чувствует надвигающейся грозы. Со всех сторон по главным дорогам входили в Бурж все новые и новые толпы беженцев, сходились на главной площади и двигались оттуда по дороге в Монлюсон, круто поднимавшейся в гору. У бензиновых колонок стояли бесконечные очереди машин. Водители ругались с владельцами гаражей, а те клялись, что бензина у них нет. Горючее они продавали с заднего крыльца; богатые и бойкие владельцы машин выходили от них красные, потные от радости и бурных переговоров, неся под плащом бидоны с бензином, тут же переливали его в баки и немедленно отъезжали, стремясь наверстать потерянное время. С помощью денег можно было еще всего добиться.

Нам тоже не хватило бензина. Мы проехали всего 135 километров и израсходовали 50 литров горючего. Ехать дальше было нельзя. Но прежде всего следовало разыскать мою семью.

Тут же, в толпе, я встретил знакомых: они стояли на площади, разглядывая машины, разыскивали родных и знакомых. Но моей семьи не было. О ней никто ничего не знал.

С тяжелым сердцем мы отправились за нашими знакомыми. Они разместили нас в каком-то недостроенном доме. Здесь на соломе, прямо на полу, уже лежали десятки людей, невидных и неслышных в темноте. Я поставил машину во дворе, а мы сами, не раздеваясь, усталые и голодные, повалились на солому. Я так ослабел от дороги, словно прошел эти 135 километров пешком. Детей мы устроили у знакомых.

На другой день в шесть часов утра я был уже на ногах. Мне не оставалось ничего другого, как стоять на перекрестке и высматривать, нет ли в этом потоке машины с моей семьей. Часами я оставался здесь, впиваясь глазами в проезжающих. Иногда издали мне казалось, что я вижу, наконец знакомый автомобиль, но вот он приближался — и это был не тот…

Но, как ни тревожился я о своей семье, передо мною вставало зрелище, которое помимо моей воли захватывало меня, отвлекало от тяжелых мыслей. Людской поток не прекращался со вчерашнего вечера. Машины выкатывались из-за угла на площадь, сворачивали на дорогу к Монлюсону, поднимались в гору и катились, катились дальше. Автомобили мчались быстро, хотя почти вплотную друг к другу. Тут были и роскошные машины, до того нагруженные вещами, что их рессоры осели. Рядом с ними пыхтели, словно задыхаясь от непривычного для них бега, захудалые, потрепанные автомобильчики, с чемоданами на подножках, на крышах, сзади, с боков, привязанными наспех, с птичьими клетками, с собаками на крышах, которые угрюмо лаяли на толпу. Ехали, обернув тряпкой счетчики, парижские такси, также наполненные до отказа разношерстными пассажирами, нанявшими их в складчину за огромные деньги. За ними грузно тряслись парижские городские автобусы, из которых выглядывали детские личики. Мальчики и девочки, ученики городских школ, улыбаясь, с интересом осматривались вокруг, некоторые плакали. На грузовиках восседали санитарки в белых пышных наколках на волосах, валялись мешки и чемоданы, на которых кое-как устроились работницы, модистки, молоденькие парижские продавщицы «мединетки». Они и здесь пытались петь какими-то кошачьими голосами, терявшимися в клокотанье моторов, но без обычного для них задора. И задор, и юмор умерли в

этой толпе. На лицах людей читалось выражение страха и какого-то неосознанного стыда.

Проезжали огромные красные пожарные автомобили с насосами, с лестницами, брандспойтами, вокруг которых сидели пожарные в сверкающих медных шлемах. Машины тревожно гудели, словно мчались на пожар. Но горел не Париж, горела вся Франция. И некому было гасить пожар. Даже пожарные покинули Париж, покинули свой пост…

Изредка мелькали похоронные автомобили. Они мчались несвойственным им аллюром, черные, зловещие, с черными балдахинами, украшенными серебряными шарами. На месте гроба, на чемоданах сидели люди и пытались улыбаться, сознавая нелепость своего положения, но улыбки выходили виноватые, вымученные. На некоторых машинах стояли гробы: вероятно, покойников не успели похоронить, свернули по пути на кладбище к югу и теперь везли трупы неизвестно куда. Женщины в трауре, мужчины в черных пиджаках и котелках молча сидели рядом — родные покойника и провожающие. Двигались огромные, похожие на бронетранспортеры парижские грузовики, собирающие по утрам городской мусор. Они мчались с неожиданной для них скоростью — огромные бегемоты, вдруг пустившиеся в пляс.

Вся эта процессия выкатывала на площадь, свертывала на дорогу и. мчалась дальше. Вокруг нее и между машинами шныряли тысячи велосипедистов, рискуя попасть под колеса, крича, ругаясь, звеня, свистя. Часами и часами длилось это шествие, этот чудовищный крестный ход, внезапно ринувшийся бешеным галопом. Казалось, вся Франция, истекая людьми и автомобилями, мчалась, закусив удила, на юг, в пучину неизвестности.

Пассажиры с машин вдруг стали кричать что-то, толпа заволновалась, люди сходились группами, что-то передавая друг другу с радостным видом. Я бросился к одному прилично одетому старику. Он мрачно стоял в толпе, но вот соседи что-то сказали ему, и лицо его сразу просветлело.

— Что, что случилось?

Он ответил мне важно и веско:

— Россия объявила войну Германии. — И добавил: — Это наше спасение!

Толпа, придавленная непрерывным страхом, жившая в ожидании чуда, днями томившаяся в неизвестности — не было ни газет, ни радио, — вдруг пришла в восторг. Раздалось «ура» в честь России. Каждый цеплялся за этот слух, каждый хотел верить, словно наконец-то сбывалась последняя надежда французского народа, которому никто не помогал, не хотел помочь. Французам не на кого было надеяться. На свою армию, на свое правительство никто не рассчитывал: они перестали существовать. Надежды на Англию рухнули после Дюнкерка. Рухнули и надежды на Америку: незадолго до своего падения Поль Рейно обратился о призывом о помощи к президенту Рузвельту и получил вежливый, но твердый отказ, который больно ударил по самолюбию французов. Унизительным был не столько сам отказ, сколько то, что Франции пришлось обратиться с просьбой о помощи.

Французы верили, что весь мир любит Францию, что он не захочет допустить ее поражения, ее падения. Все эти годы французская печать твердила им об этом, о любви всех стран к Франции, делая исключение только для СССР. Сила этой пропаганды была столь велика, что даже Германия благодаря «пятой колонне», несмотря на войну, казалась «не настоящим» врагом. Франция спокойно

засыпала с мыслью, что ее любит весь мир и что все страны мира в случае нужды придут к ней на помощь.

И вот Франция рухнула. И никто не пришел к ней на помощь. И хотя вся продажная печать твердила о России как о главном враге Франции, французский народ чувствовал, что это ложь. Когда кто-то бросил слух, что Россия объявила войну Германии, люди, охваченные отчаянием и паникой, поверили, даже не размышляя над тем, почему эта оклеветанная их хозяевами страна должна помогать французам. Да, они верили, что твердая, непреклонная Россия не даст погибнуть Франции.

Французы пришли к мысли, что только Россия может спасти Францию. Вот откуда слух об объявлении Россией войны Германии.

Но та же толпа не надеялась на Англию. Французы всегда не доверяли Англии, не любили ее еще со средних веков и позднее, со времени Французской революции. Даже теперь, в эту войну, они обвиняли англичан в том, что те не оказали им помощи, бросили их на произвол судьбы в Дюнкерке, а сами перебрались в Англию. Не любили англичан и за их гордость. Англичане действительно всегда были горды собою, а зато французы были всегда собою довольны.

Внезапное крушение, внезапное поражение страны, которая за последние четверть века жила в упоении своей победы над Германией, было столь неожиданно, что французский народ еще не мог его осмыслить, понять, ощутить. Одна из великих и первых держав в мире должна была перейти к положению побежденной, порабощенной германскими фашистами страны. Переход был слишком тяжел, слишком сложен, я бы сказал, непосилен для психологии французов.

Слух о вступлении в войну России вспыхнул и погас: он не подтвердился. Но в душе все еще надеялись, что,

может быть, это правда. Эти слухи вспыхивали еще не раз. Даже десять дней спустя, когда я вернулся домой в Ванн, лесной сторож как-то утром с таинственным видом сообщил мне, что «Россия объявила войну Германии», но пока что это скрывают. В эти мучительные для Франции дни Россия, СССР стал светочем надежды. Этого одного достаточно, чтобы представите себе, как смотрел французский народ на СССР и с какой любовью и надеждой ждал он от России своего, освобождения.

В том томительном неведении, в котором мы жили все эти дни, толпа жадно ловила любой слух. Вспоминаю один характерный эпизод. На перекресток дорог в Сент-Амане вышел городской глашатай — старинная, еще сохранившаяся во французской провинции должность. Это был дряхлый, глухой старичок в поношенном, сплошь обшитом галунами мундире, в форменной фуражке. Через плечо, на перевязи, он нес большой барабан — символ своей профессии, а в руках держал барабанные палочки. Толпа всколыхнулась, окружила его, в надежде услышать важные новости. Глашатай остановился, вытащил огромный носовой платок, высморкался, откашлялся в благоговейном молчании толпы. Даже автомобили остановились, из них вылезали люди и подходили поближе. Старик важно ударил палочками по барабану, пустил мелкую дробь, затем медленно и спокойно вынул из кармана огромные очки, нацепил их на нос, покопался опять в карманах и вытащил оттуда сложенную вчетверо бумажку и стал развертывать ее с той же невозмутимой медлительностью. Терпеливо ожидавшая известий толпа не выдержала, под конец чей-то насмешливый и задорный голос произнес с парижским акцентом:

— Давай газ, старик, что ли, нажми на педаль! Глашатай, не торопясь, старческим, дребезжащим; голосом

стал читать, спотыкаясь на каждом слове, с трудом разбирая написанное. Тишина стояла полная, как в церкви, задние слушатели приподнимались на цыпочки, чтобы лучше слушать, люди через плечо старика пытались заглянуть в бумажку. Наконец глашатай огласил объявление от какой-то дамы, очевидно, беженки, в котором до сведения населения города Сент-Амана доводилось, что она потеряла свою собачку и обещает щедро вознаградить нашедшего.

Прочтя это объявление, глашатай так же медленно снял очки, спрятал их в карман, сложил свои палочки и пошел дальше. Через несколько минут его старческий голос послышался на другом перекрестке.

Слушатели расходились глубоко разочарованные, не обменивались, как обычно, шутками. Никто не смеялся. Франция разучилась смеяться, утратила прежнее чувство юмора. А вокруг глашатая на другом перекрестке вновь собиралась взволнованная и жаждущая известий толпа.

В тот же день распространился другой слух — и этот слух был верен: правительство Рейно подало в отставку, власть перешла к маршалу Петэну. Сообщил мне об этом один знакомый беженец, крупный фабрикант,

— Ну, теперь будет, наконец, мир, — с удовлетворением добавил он. — Петэна назначили для того, чтобы он вел переговоры с немцами: немцы ему доверяют, он пользуется у них авторитетом.

К вечеру весь город забили машины без горючего. Бензина теперь действительно больше не оставалось, даже в городах. Многие пассажиры спали тут же, в автомобилях, не найдя ночлега или побоявшись оставить свои вещи без присмотра. В ресторанах было полно народа, но еды не хватало, хлеб почти исчез. В магазинах можно было купить только консервы.

К вечеру поток беженцев стал слабее, исход подходил к концу, вдобавок много машин застряло в пути из-за отсутствия бензина. Шли только пешком, обгоняя автомобили.

На другой день утром мы решили попытаться достать горючего. Говорили, что в мэрии выдают ордера на бензин. Я сходил в мэрию, но она оказалась пустой: весь муниципалитет во главе с мэром социалистом Лазюриком скрылся. Беженцы, добровольно взявшие на себя административные функции, ничего не знали.

Но кто-то сообщил мне по секрету, что на складе Демарэ за городом можно получить сколько угодно бензина.

Быстро усадив в машину своих пассажиров, я двинулся по указанному адресу. Но, к нашему великому удивлению, вдоль узкой улочки, ведущей к складу горючего, уже выстроилась длинная очередь автомобилей. Очевидно, этот «секрет» стал известен не только мне. Из расспросов я узнал, что водители стоят тут уже часа два, причем большинству приходилось подталкивать машину руками, так как в ней уже не было бензина. Люди нервничали, смотрели на часы, ругали кого-то за непорядки. Пришлось и нам встать в очередь и тоже толкать машину руками, ибо наш бензин кончился.

Через несколько часов мы добрались до двора склада. Огромные, выкрашенные серебристой краской цистерны с бензином весело поблескивали на солнце. Сотни машин подъезжали ко двору из соседних улочек. В машинах были видны искаженные страхом лица женщин, заплаканные глаза ребят. Временами все тревожно взглядывали на небо. Если бы сюда налетели самолеты, мы все погибли бы. Но самолетов не было. Французских войск в городе тоже почти не было.

Чтобы как-нибудь скоротать время ожидания и не слышать злобных и бессмысленных замечаний соседей, я пошел к ангару. В огромном каменном здании перед насосами для бензина, вытянувшись в очередь, стояли люди. Все держали в руках пятилитровые бидоны для бензина. Но вдруг к насосам подошли солдаты, грубо оттеснили штатских и стали накачивать бензин в огромные 100-литровые бочки, которые они притащили с собой. Толпа сначала покорно пропустила их, пожалуй, не столько из уважения к армии, сколько из врожденной у штатских боязни перед военными. Вслед за первой группой солдат пришла вторая и тоже начала качать бензин, не подпуская штатских. Те стояли в очереди, глядя, как драгоценное горючее уходит у них на глазах. Из толпы послышались негодующие крики:

— Они берут бензин без очереди для того, чтобы удирать! Дают стрекача, почище нашего!

Какой-то подтянутый сержант высокомерно поглядел на толпу:

— Кто там кричит, а? Вы знаете, с кем разговариваете? Если кто скажет хоть слово — расстреляем. Кто тут орет? Ну, выходи, кто кричал.

Испуганная толпа смолкла. Но, как только сержант ушел, крики возобновились:

— Что это они в самом деле распоряжаются? Драться не хотят и не умеют, а нас ругают. Не для фронта же в самом деле берут бензин.

После ухода сержанта солдаты, не отвечая на замечания толпы, молча наполняли бидоны.

В самом ангаре была та же картина: солдаты качали бензин насосами, а толпа глядела на них и тихо роптала. Несмотря на опасность, и штатские и военные курили и бросали окурки тут же на пол, возле бидонов с керосином. Посредине ангара высились горы круглых

бидонов в 50 литров с надписями «керосин».

Какой-то человек, без пиджака, с засученными рукавами, вошел в ангар и закричал:

— Предупреждаю, бензин будет отпускаться только в бидонах по 50 литров.

Все с отчаянием переглянулись: значит их пятилитровые бидоны ни к чему, значит часы ожидания пропали зря? Значит они не смогут уехать?

Вдруг несколько человек вышли из толпы и с решительным видом направились к бидонам с керосином, взяли несколько бидонов, отвинтили пробки и стали выливать керосин в желоба, проложенные в цементном полу. Тогда и вся толпа бросилась к бидонам, тоже схватила их, вырывая друг у друга, и стала выливать из них керосин. Керосин полился по полу настоящей рекой, отравляющей воздух испарениями. Дышать становилось трудно, в висках шумело, ноги плескались в керосине. Бидоны пустели, люди несли их к насосам, снова становились в очередь и снова закуривали папиросы.

Малейшая искорка могла вызвать взрыв и грандиозный пожар, но людям было все равно. Они дрожали перед невидимой опасностью и не сознавали реальной. Управляющий складом не протестовал, ему, очевидно, было тоже «на все наплевать». Вокруг виднелись обезумевшие глаза, руки, судорожно сжимавшие бидоны, люди думали только о себе, о своем спасении, немыслимом без бензина. Каким-то чудом пожара и взрыва не произошло. Управляющий сказал вполголоса офицерам, стоявшим рядом с солдатами:

— Скорее набирайте бензин, мне приказано взорвать склад, если немцы подойдут ближе.

Толпа услышала эти слова. Все совершенно потеряли головы. Люди рвались к насосам, мужчины свирепо

отталкивали женщин, грубо ругались, женщины отвечали им визгливыми, истерическими голосами. Ангар стал похож на дом сумасшедших. Управляющий куда-то скрылся, но вдруг появился снова и сказал каким-то особенно спокойным голосом:

— Можете не торопиться, хватит на всех, война окончена.

Он ничего не прибавил, но все поняли, что перемирие, о котором только и говорили в эти дни, уже подписано. Лица вспыхнули животной радостью, послышался громкий, глупый и блаженный смех спасшихся от смертельной опасности людей. Атмосфера резко переменилась. Все стали вдруг вежливы друг с другом, не торопились, мужчины пропускали женщин без очереди, шутили, улыбались. Даже на небо перестали глядеть. Некоторые стали громко восхвалять Петэна. Условия перемирия никого не интересовали. Для всех было важно одно: война, как им сказали, кончилась, шкура спасена, кошмар прекратился. «Чего же еще больше?» — можно было прочитать на лицах, озаренных улыбками.

Но заявление управляющего оказалось ложным. Было 18 июня, а перемирие подписали только 24-го.

Почему-то управляющий говорил теперь об окончании войны? Другой приказ? Но ведь за минуту перед этим он заявил, что получил приказ взорвать склад при приближении германских войск. А теперь говорил другое: только что получен новый приказ — склада не взрывать. Кто мог дать ему такое распоряжение по телефону? Склад так и не был взорван, цистерны остались полны бензина, через четыре дня пришли немцы и захватили целехонький оклад. «Пятая колонна» и германский шпионаж работали куда лучше, чем французские военные власти.

А пока керосин все еще лился на землю, склад пустел, люди спокойно наполняли свои бидоны бензином и выливали их в баки автомобилей. За бензин никто не требовал денег. Военные куда-то исчезли и с ними все признаки войны. Она, действительно, казалась оконченной.

Наполнив бак горючим, мы тоже вернулись в город. Там произошли невероятные перемены. Очевидно, и здесь прошел слух, что война окончена. Растерянность исчезла, люди преобразились, просветлели, не нервничали, улыбались и говорили о самых обыденных вещах, позабыв свое недавнее безумие. На ратуше развевался огромный белый флаг: хотели показать немцам, что город не защищен. Кто его водрузил? Ведь муниципалитет давно уехал. Флаг действовал успокаивающе. Никто не подумал, что это флаг сдачи, флаг позора. А через город все плелись солдаты, медленно тащились артиллерийские батареи. Толпа глядела на них даже с ненавистью.

— Из-за них нас могут бомбить, — говорили буржуа. — В открытом городе не должно быть военных.

Но солдаты продолжали идти, шли они с недалекого фронта, где вопреки приказам дрались с врагом. Они были плохо одеты. Шинели на них были оборваны, головы не покрыты ни пилотками, ни шлемами. У иных шлем болтался у пояса, как котелок. Многие опирались на палки. На головах, на руках виднелись когда-то белые, а теперь запачканные, повязки. Винтовок не было. Не было и офицеров. Солдаты шли толпами и в одиночку по пустым улицам, на которых как-то сразу исчезли все автомобили. Иногда они останавливались и просили в ресторанах их покормить. Они умирали от голода, денег у них не было, а за еду надо было платить. Нельзя сказать, чтобы жители встречали их приветливо.

На них глядели, как на нищих. Иногда им давали вино, фрукты, хлеб. Солдаты ели жадно, со смущенными и виноватыми лицами, признавались, что не знают, где находятся их части, что они отступают от самой границы и что уже несколько дней, как они не видели никакого начальства и не получали никаких приказов. Поэтому они и решили идти куда глаза глядят.

Мне не раз случалось говорить с солдатами, расспрашивать их. Они с грустью рассказывали, что, еще сражаясь в Бельгии и в Северной Франции, чувствовали что-то неладное, но не понимали смысла и причин отступления. Понадобилось три года господства гитлеровцев и чудовищного предательства Петэна и Лаваля, чтобы Франция наконец поняла, что ее предали.

Мои спутники хотели ехать дальше на юг, но я твердо решил остаться здесь и дожидаться семьи.

В эти дни мы неплохо устроились: нас пригласил к себе владелец гаража, где я чинил машину. Мы удобно и уютно разместились у него в доме. Участник первой мировой войны, он был горячим патриотом, и душа его болела от всего, что приходилось сейчас видеть.

С питанием стало легче. Мы обедали обычно в ближайшей гостинице. Беженцы постепенно куда-то исчезли, а поток автомобилей вообще прекратился с тех пор, как прошел слух, что война окончена. Город опустел, стал снова обычным провинциальным городом. Никто из властей не вернулся, но жизнь текла нормально, даже о кражах не было слышно. На всю мэрию остался один супрефект, бледный и растерянный человек, но гордый своим «героическим» поступком: все, мол, бежали, а я все-таки остался на посту. Он надел парадный мундир, правда, довольно потертый, фуражку с золотыми, вылинявшими дубовыми листьями и сидел один в мэрии, избегая показываться в го-

роде, чтобы жители не приставали к нему с различными просьбами.

Как-то я зашел в ратушу, один из залов которой был превращен в госпиталь для раненых. В нее входил всякий, кто хотел, как в магазин. Было душно, грязно, койки стояли вплотную друг к другу, раненые лежали вперемежку с больными. Дамы из Красного Креста без всякого медицинского контроля накладывали им какие-то фантастические повязки, пользуясь грязными инструментами, нестерилизованными бинтами, марлей и ватой, валявшейся на столе. Я предложил свои услуги в качестве врача-добровольца. Нарядная и кокетливая дама из Красного Креста, которая, как оказалось, заведовала госпиталем и была, помимо того, супругой супрефекта, выслушала мое предложение с полнейшим равнодушием. Судьба раненых ее, очевидно, интересовала очень мало, ей просто нравилось щеголять своим халатом и «патриотическими» деяниями. Она сказала, что даст ответ позже.

Я ушел с твердым намерением никогда не возвращаться сюда и по дороге заглянул в городскую больницу, превращенную в военный госпиталь. Там представился главному врачу-военному. Он немедленно принял мое предложение. В госпитале находилось около 800 больных и раненых солдат и имелось всего три врача, в их числе один иностранец. Другие все исчезли.

Я немедленно приступил к делу. Мне дали белый халат, отвели мне два деревянных барака в саду госпиталя, где лежало около сотни раненых. Войдя в барак, я чуть не задохнулся от невыносимой вони. Бараки были грязные, пол не подметен, постельное белье грязно-серое, койки притиснуты одна к другой. Одни раненые лежали, другие сидели, покуривая, на койках, в грязных рубашках, в шинелях внакидку. Два военных

санитара и две молоденьких сестры-парижанки из Красного Креста — вот и весь персонал. Санитары вообще ничего не делали и даже не показывались. Зато сестры оказались очень серьезными, внимательными и добросовестными девушками. Они несколько дней работали одни, без врача. Куда делся врач, мне так и не удалось выяснить.

Я обошел раненых и начал делать перевязки. В большинстве случаев раны были очень серьезны. Приходилось пользоваться грязными, порванными бинтами, покрытыми кровью и гноем, словно раненых только что привезли с поля битвы, хотя они уже больше недели лежали в госпитале. Я попросил инструмент и материал для перевязки. Сестры принесли в банке со спиртом пару заржавленных ножниц и пинцетов, нестерилизованную марлю и вату в открытом пакете.

— Это все? — спросил я.

— Да, все. Инструментов в госпитале мало, они в операционной. Ваты и марли тоже почти нет, их надо экономить.

Между тем надо было действовать и действовать немедленно. У большинства раненых повязки пропитались гноем, сползли с ран и вокруг открытых ран носились тучи мух, которых раненые все время отгоняли. Тут лежали больные с ампутированными руками или ногами, с гноящимися и вонючими культями, с газовой гангреной — словом, передо мной предстало зрелище, какого я никогда не видел в Европе со времен войны 1914–1918 гг. Тут же лежали и штатские, раненные бомбами и пулями. У одного из них был столбняк, и его снесли в «изолятор» — темный чулан в конце барака, где он корчился и скрежетал стиснутыми в судорогах зубами. Раненный осколками бомбы в деревне, он только через три дня был подобран солдатами. В гос-

питале ему даже не впрыснули противостолбнячной сыворотки. Через два дня он умер.

Сделав кое-как несколько перевязок, я спросил, где умывальник. Мне принесли тазик с водой. Мыла не полагалось. Не было и обычного в больницах умывальника с педалью и краном. Раненым с переломом руки давали шину для ноги. Куда же делся весь материал? Ведь во Франции и боев-то почти не было, и госпитали за восемь месяцев войны могли приготовиться к приему раненых. Ответ на эти вопросы может дать только «пятая колонна».

Пока я возился с перевязками, в зал вошла какая-то дама, в городском платье, без халата, и, не спросив у меня разрешения, уселась за стол посреди барака. Развязав какой-то мешочек, она громко сказала:

— Друзья мои, я принесла вам подарки — сладости от дамского комитета союза торговцев города Сент-Аман.

Она вытащила из мешочка горстку конфет и сладких булочек и стала их раздавать солдатам.

Мне вдруг все стало так противно, что я вышел из барака и пошел к старшей сестре больницы, монашенке.

— Не найдется ли у вас умывальника для нашего барака, сестра?

— Ох, нет, доктор, — сладко запела она, — у нас всего один умывальник в операционной.

— Но, может быть, у вас есть другой в запасе или на чердаке?

— Не знаю, доктор, не знаю. Поищите сами, сестра-экономка даст вам ключ и будет вас сопровождать, — любезно ответила монашенка, ничуть не смутившись, ей это казалось в порядке вещей. А ведь госпиталь был раньше городской больницей и существовал много лет.

Я обошел чердак и склады материала. На чердаке обнаружил несколько старых шин и такой же старый

умывальник на колесиках со стеклянным бочонком для воды. Но у него не оказалось ни пробки, ни крана. Тем не менее, я велел санитарам отнести его в барак, а сам пошел в город на розыски пробки и крана. Санитары поспорили, кому нести умывальник, каждый твердил, что не его дежурство. Наконец они договорились и побрели вниз.

Пробку и кран я не без труда отыскал в одном магазине. Разговорившись с владельцем магазина, рассказал ему о положении дел в госпитале.

— Бедные наши солдатики, — вздохнул сочувственно хозяин, — такое всюду безобразие, такая разруха! Бедная Франция!

Я поблагодарил хозяина за сочувствие, взял пробку и хотел было уйти, но хозяин дал мне чек в кассу.

— Пробка стоит 40 сантимов, — прибавил он привычным голосом лавочника.

Я заплатил и вышел, думая то же:

— Действительно, бедная Франция!

А когда я принес мои покупки, заведующий хозяйством госпиталя попросил представить ему для оплаты купленного счет из магазина в двух экземплярах.

Тяжело было работать в таких условиях, госпиталь поглощал все мое время, зато отвлекал от тяжелых мыслей о потерянной в дороге семье. Я видел, что нужен раненым, а самоотверженная работа моих молоденьких помощниц заставляла забывать о зверином эгоизме и равнодушии правящих классов к судьбам своего народа. Раненые это тоже чувствовали, не раз спрашивали меня об СССР и, чувствуя в моих рассказах глубокую любовь к родине, вздыхая, говорили:

— Мы тоже любили нашу Францию. Разве мы не сражались за нее? Почему же все это получилось? Ведь в ту войну этого не было.

## Немцы

Как указывалось выше, основная масса беженцев покинула город. Оставшиеся в нем беженцы и местные жители мирно жили в ожидании событий, мирно стояли в очередях у булочных и молочных лавок. Все были спокойны, забыв об опасности, хотя война продолжалась. Люди покорно ждали прихода германских войск: он был теперь неизбежен.

Как-то я переодевался, стаскивая с плеч не первой свежести халат. Вдруг вошла старшая сестра, сделала мне таинственный знак губами и руками и тихо прошептала на ухо:

— Вот они, наши «друзья», здесь!

Я невольно оглянулся, подумав, что кто-то вошел в комнату. Но сестра, приложив палец к губам, кивнула в сторону окна. Перед госпиталем проходила большая дорога на Бурж, по краям ее стояли кучки жителей и в каком-то оцепенении смотрели вдаль.

Облако пыли и дыма приближалось по дороге, разбитой автомобилями и повозками беженцев. Слышалось отдаленное пыхтенье моторов. Низко над городом пролетели кажущиеся огромными немецкие самолеты. Отчетливо были видны летчики в больших очках и солдаты, пригнувшиеся к пулеметам, обращенным дулами к земле. Самолеты пролетели и, как стая коршунов, закружились над городом. Черные свастики на фюзеляже и кресты на крыльях резко и зловеще вырисовывались в прозрачном воздухе.

А облако на дороге быстро приближалось в грохоте моторов. Мы различили отряд мотоциклистов, мчавшихся полным ходом. Вскоре они стрелой пронеслись мимо госпиталя, не обращая внимания на глазевших жителей. Старшая сестра тоже глядела в окна, глаза ее были полны слез, порою она крестилась и, перебирая

четки, что-то неслышно бормотала выцветшими губами. В госпитале воцарилась тишина, даже раненые перестали стонать.

Мотоциклисты пролетали мимо с ужасающим грохотом. Их машины густо покрывала дорожная пыль, все они были какого-то одинакового серо-зеленого цвета. Над рулями мотоциклов были укреплены пулеметы вперед дулами.

Тотчас за госпиталем они разделились, рассыпались по улицам города. Весь город наполнило стрекотанье машин. Мотоциклисты проезжали до конца каждой улицы, загибали во все переулки и тупики и возвращались обратно.

Город замер. Никто не осмеливался показаться на улицах. На дверных ручках домов висели белые тряпки. Из окон, приподняв край занавески, испуганно глядели женщины и дети.

Один из мотоциклистов повернулся и помчался обратно мимо госпиталя. Вскоре на дороге показались бронированные автомобили, грузовики, платформы. На них стояли большие пулеметы, обращенные дулом на город, а на скамьях сидели неподвижные серо-зеленые солдаты, в шлемах, в очках, с винтовками, лиц их не было видно. Машины были тусклы, запылены, все сливалось в одну серо-зеленую массу — люди, пулеметы, машины.

Затем показались открытые легковые автомобили. Они остановились недалеко от нас, из них вышли офицеры, высокие, серо-зеленые, в автомобильных очках, туго затянутые, державшиеся прямо и твердо, как-то деревянно. Они сняли очки и о чем-то громко переговаривались резкими, отрывистыми словами, так непохожими на звучный и какой-то округлый французский говор.

Во двор госпиталя въехал санитарный автомобиль с громадными красными крестами на стенках и на крыше.

Из него вылезли немецкий военный врач, санитары. Твердой и властной походкой они прошли в госпиталь. Главный врач госпиталя, в военной форме, без халата, бледный, с трясущейся нижней челюстью, ждал их у входа. Немец остановился перед ним, выпрямился, отдал честь, представился. Потом сказал по-французски, с немецким акцентом, вежливо, но подчеркнуто властным тоном:

— Нам надо триста коек. Будьте любезны приготовить их через полчаса. У нас много усталых солдат.

Он даже не сказал «раненых». Немецкие солдаты просто «устали» от беспрерывной езды по Франции. Вряд ли немец сказал это преднамеренно. Он просто сказал то, что думал.

Спорить не имело смысла. Через полчаса всех больных и раненых вынесли из главного здания и распихали по баракам. Немецкий врач обошел госпиталь, заглянул и в бараки. Он презрительно и гадливо улыбался, глядя на темные и грязные палаты, на раненых, лежавших в крови и гное. Никто ничего не говорил. Раненые тоже молчали в каком-то оцепенении.

Я пошел в город. Меня никто не задерживал, никто не спрашивал документы. Навстречу шли группы германских солдат и офицеров, они заходили в кафе, рестораны, магазины. На площади, в киоске, где раньше по воскресеньям играл оркестр, лежали вповалку черные сенегальские стрелки под охраной немецкого часового с винтовкой на изготовку. Это были пленные. Не знаю, откуда взялись сенегальцы, в городе я не видел их. Возможно, что немцы привезли сенегальцев с собой: им нужно было показать французам, что их страну защищали, мол, черные дикари. Солдат-французов, бродивших по городу, немцы не арестовывали. Они их только обыскивали и затем отпускали. Большинство

французских солдат уже переоделись в штатское, только военные штаны, ботинки или пилотка выдавали их недавнее прошлое.

Вечером городские кафе и рестораны заполнили немцы. Они требовали пива, коньяку и морщились от вина — оно им не нравилось.

На следующий день немцы стали скупать буквально все, что попадалось под руку: штатские костюмы, дамские платья и чулки, фотоаппараты, фотопленку, обувь, не говоря уже о мелочах. Всюду был объявлен и вывешен официальный курс: 20 франков за марку. Но марки эти были особые, специально выпущенные гитлеровским правительством для оккупированных территорий, и в Германии они хождения не имели. Иначе говоря, за ничего не стоящие бумажки оккупанты могли скупить всю Францию.

Местные коммерсанты, хотя и напускали на себя похоронный вид, на самом деле были в восторге. Они спускали немцам залежавшиеся товары, вышедшие из моды костюмы. Оккупационные марки немного стоили, но для французского буржуа деньги всегда есть деньги.

Раз как-то я находился в аптеке, которая торговала также и фотоаппаратами. Вошли два германских офицера и спросили катушку фотопленки. Хозяин сам принес пленку и вручил с низким поклоном.

— Сколько стоит? — спросили немцы по-французски.

— О, для вас это ничего не стоит, — рассыпался в любезностях хозяин. — Вы ее честно заработали.

Офицеры переглянулись, взяли катушку, поблагодарили кивком головы чересчур любезного хозяина и удалились.

Торговцы теперь ничего не хотели продавать французам. Они грубо заявляли, что как раз нужного покупателям товара у них нет. Но все понимали, что это

делалось для того, чтобы сохранить товары для оккупантов и даже не столько из страха перед ними, сколько из гнусной угодливости. Покупатели-французы возмущались и передавали тысячи рассказов о наглости торговцев и об их низкопоклонстве перед врагами.

За несколько дней своего пребывания в городе немецкие офицеры и солдаты буквально опустошили почти все магазины. Они не грабили, не брали силой или даром, — они просто покупали. Местные цены, как говорили солдаты-немцы, были страшно низкими по сравнению с существовавшими в Германии.

О моей семье я по-прежнему ничего не знал. Выехать из города было нельзя. Газеты не выходили, мы жили в неведении того, что происходит во Франции.

Тяжелы были эти первые дни немецкой оккупации, хотя германские власти поначалу, исходя из политических расчетов, пытались даже заигрывать с французами. Тяжело было видеть невероятное низкопоклонство, угодливость многих буржуа перед врагом.

Помню, один торговец открыто говорил мне:

— Для Франции лучше, что нас побили немцы, гораздо хуже видеть у власти коммунистов. Немцы нам ничего не сделают, постоят да и уйдут, мы с ними договоримся. Платить они все равно будут.

Никто не думал тогда, что германская оккупация затянется. По простоте души многие полагали, что мир уже наступил, хотя перемирие заключено еще не было и его условий никто не знал. Многие думали, что гитлеровцы скоро уйдут из Франции, чтобы воевать с англичанами. На другой же день после занятия Сент-Амана над городом пролетел английский самолет и сбросил на немецкий лагерь несколько бомб. Немцы яростно его обстреляли из зениток и пулеметов и потом уверяли жителей, что самолет сбит. Однако сбитого самолета никто не видел.

Местные буржуа и сами говорили об этом налете с не меньшей ненавистью, чем немцы. По их мнению, англичане мешали заключению долгожданного мира.

Правда, германское командование выбросило из госпиталя французских раненых. Об этом в городе все знали. Но в конце концов, рассуждали буржуа, зачем эти солдаты дрались против Германии? Когда немцы увидели, в какой нищете находился госпиталь, именно они, а не французы, предоставили ему перевязочный материал, вату, марлю, медикаменты. Буржуа забыли, что все эти предметы были французского или бельгийского происхождения и захвачены германскими войсками у французов или бельгийцев. Их привозили в ящиках французской армии даже не распакованными, так как французская армия не сумела или не успела их использовать. Германские власти бесплатно раздавали беженцам бензин, чтобы они могли вернуться домой. Но и бензин тоже был трофейный, французский, захваченный врагом на складах Демарэ. Вероятно, немцы и сами считали, что война окончена и колоссальные трофеи, захваченные у французов, им больше не понадобятся. Отсюда их щедрость, которую они, вероятно, сами расценивали как необычайно тонкий пропагандистский прием…

То, что оставалось от французской армии, бежало в полнейшем беспорядке к югу, без генералов, без офицеров. Германская армия захватила больше двух третей Франции. Никто не знал толком, где находится французское правительство и вообще есть ли оно. Что делали англичане после Дюнкерка, было неизвестно. На них не возлагали больше никаких надежд не только Франция, вся Европа, казалось, жила в предсмертных сумерках.

В госпитале меня ждала неожиданность. По всему городу были расклеены объявления за подписью супрефекта, в которых предписывалось всем лицам, не

имеющим постоянного жительства в Сент-Амане, иначе говоря, беженцам, покинуть город в течение суток. Огромная толпа уже теснилась у здания супрефектуры. Каждый беженец желал лично увидеть супрефекта и переговорить с ним. Большинство вообще не знало, куда деться; в Сент-Амане они кое-как устроились… Мысль о возвращении в Париж почему-то всех пугала.

К подъезду супрефектуры подкатил германский военный автомобиль. Из машины вышли два подтянутых высокомерных немецких офицера. Вместе с ними был супрефект, который казался их пленником. Его помятое, не первой свежести лицо было бледнее обычного, мундир выглядел особенно поношенным рядом с чистенькими, новенькими мундирами немцев, и даже золотые листья дуба на его фуражке вдруг как-то потускнели. Он быстро пробежал в свой кабинет в сопровождении немцев. Спустя некоторое время супрефект вышел, и толпа тотчас окружила его. Мне кое-как тоже удалось пробиться и поговорить с ним о деле.

Я рассказал супрефекту о положении раненых в госпитале, где не было ни врачей, ни сестер, никого, кроме нас. Он с полным безразличием и, казалось, с трудом понимая, о чем идет речь, выслушал меня. Когда я замолчал, он встрепенулся.

— Вы должны уехать, приказ вполне ясен. Приказ этот не мною дан, я здесь теперь ничто…

Позже я узнал, что он лгал. Германские власти ему никакого приказа не давали, он сам добился его у них по просьбе местных буржуа и торговцев, опасающихся, что из-за наплыва беженцев в городе иссякнет продовольствие. Продукты уже начали понемногу исчезать из магазинов.

Оставалось одно — уезжать. Я мог бы поехать на розыски моей семьи. Мои сотрудницы, обе парижанки,

также должны были уехать. Раненые оставались вообще без всякого присмотра.

Мои спутники, жившие у владельца гаража, упаковали вещи, тепло распростились с хозяевами, которые ничего не хотели взять с них за постой. В конце концов, мы уговорили их принять деньги. Затем уселись в машину, я нажал на педаль…

И тут произошло нечто невероятное. На улице послышались какие-то восклицания, крики, во двор вбежала девочка, дочь хозяина, и бросилась ко мне:

— Доктор, доктор, ваша дочь здесь! И действительно, вслед за ней во двор вкатила на велосипеде моя дочь. Ее трудно было узнать, так она загорела и похудела за эти дни. В этой войне миллионы людей потеряли своих близких. Они поймут, поэтому то чувство, с каким я встретил дочь, пропавшую без вести больше десяти дней тому назад. Владелец гаража и вся его семья плакали, глядя на нас, а у меня не хватало слов, чтобы выразить все, что пережили мы за дни разлуки. Если бы я знал тогда, что меньше чем через год я опять потеряю и дочь и жену и на этот раз ничего не буду знать о их существовании в течение трех лет!

Появление дочери в Сент-Амане в тот момент, когда мы собирались уезжать, было подлинным чудом, счастливой развязкой, которая бывает только в трогательных романах. Дочь наскоро рассказала все, что произошло с ними за эти дни. Машина испортилась, дочь, тогда еще неопытный водитель, не знала, как помочь беде. Проезжавшие мимо солдаты несколько раз чинили машину и в конце концов совсем ее поломали. Грузовик военного эшелона, ехавшего в Тулузу, взял машину на буксир, и моя семья доехала до города Вильнёв-сюр-Шер, где и вынуждена была остаться. В дороге во время налетов германских самолетов им пришлось не раз выскакивать из

машины и прятаться в лесах. В Шатонефе моя семья решила дальше не ехать, хотя солдаты и говорили, что довезут машину до самой Тулузы. Одна местная работница приютила мою семью, школьную кухарку и всех ребят. Но пришли немцы, и никого из Шатонефа не выпускали. Дочке удалось достать велосипед у местного крестьянина, и вот она прикатила к нам, в Сент-Аман, в надежде разыскать меня. На улице в Сент-Амане она встретила прислугу одной нашей знакомой, и та указала ей, где мы остановились. Такова была вкратце эта история.

Интересно отметить, что германские власти теперь разрешили всем французам свободно передвигаться по стране без пропусков.

Но вот дни ожидания кончились. Мы выехали в Шатонеф по маршруту, установленному супрефектом. Не проехав и нескольких километров, я увидел на перекрестке дорогу, ведущую прямо на Шатонеф. Здесь дежурили немецкие часовые. Я спокойно проехал мимо них, они равнодушно взглянули на нас, и мы покатили дальше, несмотря на то, что обязательный маршрут, по утверждению супрефекта, установили для нас по приказу германских властей.

Во всех окрестных деревнях большинство жителей никуда не уезжало. Они с удивлением глядели на нашу машину, так как поток беженцев в обратном направлении еще не начался, и наша машина была первой.

Через полчаса мы были в Шатонефе, и здесь я встретился с женой.

Нам удалось получить комнаты в местной гостинице, так как большинство живших в ней беженцев разъехались. В деревне стоял немецкий гарнизон. Кафе было переполнено солдатами и офицерами, которые пили местное вино и пиво. Некоторые, будучи окончательно пьяными, смеялись глупым деревянным смехом.

Улицы и магазины также заполняли немцы, скупавшие и здесь все, что только можно.

Вечерами жильцы отеля — французы — собирались внизу, в комнате рядом с кафе, где стоял плохонький радиоприемник. В молчании они слушали радио, пускали его еле-еле, чтобы не услышали немцы. Впрочем, несомненно, германские власти об этом знали, но в этот период оккупации им такие вещи были безразличны.

Радио, к сожалению, сообщало весьма скудные сведения. Французское радио, как и правительство, ничего не могло сказать народу. В это время велись постыдные переговоры о перемирии. Накануне его подписания министр труда, кажется Маркэ, мэр-социалист города Бордо, один из коллаборационистов, сотрудник гитлеровских оккупантов, возвестил о вступающем в силу с завтрашнего дня перемирии. Он обратился по радио ко всем французам и, в частности, к коммерсантам с призывом в знак траура закрыть в этот день свои магазины.

Но о перемирии мы узнали раньше от немцев, чем от французов. В ночь с 23 на 24 июня 1940 г. мы проснулись от грохота пушек и ружей, от треска ракет. Небывалый фейерверк озарил небо. Немцы не спали всю ночь, пели, кричали «хох», пили шампанское, пиво, вино, пускали ракеты. Французы, разбуженные шумом, тихонько ругались, не понимая еще смысла происходящего торжества. Узнав, что заключено перемирие, они не могли освободиться от чувства глубокой внутренней тревоги. Они понимали, что тут, кроме германской армии, победил и кто-то другой и что ответственность за это лежит не на Франции, а на тех, кто ее предал.

Наступило 24 июня — день перемирия. Все магазины в городе были открыты, ведь победители покупали все, и соблазн сбыть по дешевке залежавшиеся товары

оказался для коммерсантов слишком велик. Им было не до «национального траура», соблюдать который лицемерно призывал Маркэ.

Французское радио не сообщало об условиях перемирия. Было только сказано, и то в общих чертах, что германская армия занимает северную часть Франции, включая Париж, приморскую полосу Атлантического океана, а также границу со Швейцарией. Но для того, чтобы у французов создалось впечатление, что и Германия кое-что уступает, германские войска должны были очистить некоторые уже занятые ими территории, в том числе и городок Шатонеф и Сент-Аман. Французы смутно подозревали, что остальные условия перемирия были непосильно тяжелыми, но старались об этом не думать.

Начинался период германской оккупации, и французской буржуазии вскоре пришлось на собственной шкуре убедиться, что Франции мир обошелся очень и очень дорого, а главное, что он не был миром.

Население деревень смутно отдавало себе отчет в том, что с Францией воевала не только германская армия, что среди французов были предатели, которые облегчили врагу победу, но они не связывали это предательство с определенным социальным классом — с крупной буржуазией. Печать всячески старалась сбить народ с толку, называя предателями антифашистов и коммунистов.

Многие французы поняли только потом, увидев, как гитлеровцы расправляются в первую очередь с французскими коммунистами и рабочими, откуда шло предательство.

Французская буржуазия дорого заплатила за свое предательство. Позже в этой среде одни, руководствуясь узкоклассовыми интересами, радовались германской оккупации, «спасшей их от коммунизма», другие, настроенные патриотически, стали бороться с оккупантами и

протянули братскую руку тем, кого они раньше считали своими врагами. Характерен в этом отношении случай, рассказанный мне известным, ныне покойным, французским писателем Жан Ришар Блоком. Один французский промышленник на севере Франции, являющийся ранее ярым ненавистником СССР, стал пламенным французским патриотом и другом Советского Союза. Он радовался каждой победе Красной Армии. Узнав по радио, что советские войска взяли Киев, он прибежал домой и радостно сообщил семье:

— Наши взяли Киев!

Даже в партии «Боевых крестов» — оплоте французского фашизма — произошло расслоение. Часть ее членов вышла из организаций, присоединилась к силам борющейся Франции. Помощник де ла Рокка — депутат Валлэн бежал в Алжир. Оккупанты вызвали к себе ненависть своим тупым высокомерием, холодной жестокостью, полным непониманием и нежеланием понимать психологию другого народа. Французский же фашизм, самый трусливый и импотентный из всех фашизмов, был не способен создать во Франции какое-либо движение. «Французское государство» Виши, провозглашение Петэном самого себя главою этого государства, создание «Национального легиона бывших фронтовиков», меры против евреев — все это не могло импонировать французам. Французский народ, привыкший к свободе, не принял фашизма. Французским фашистам удалось захватить власть в стране только при помощи гитлеровцев. Но это отнюдь не значит, что фашизм после победы над гитлеровской Германией был уничтожен во Франции. Он и позже продолжал по мере сил, а главное возможностей, делать свое черное дело.

Мне пришлось побывать в замке, где помещался германский штаб. Нам нужен был бензин, чтобы уехать,

а получить его можно было только у оккупантов. Я обратился прямо в их штаб. Меня встретил блестящий, затянутый немецкий офицер. Узнав, что я русский, он сразу заговорил со мной… по-русски. Он заявил, что является уроженцем прибалтийских стран.

— Вы хотите бензина? — сказал он. — К сожалению, не могу вам здесь его выдать. Возвращайтесь в Париж, по дороге наши солдаты дадут вам сколько угодно бензина.

Выйдя из замка, я увидел немецких солдат, продававших бензин по семь франков за литр. Так нам удалось пополнить свои запасы и отправиться в обратный путь.

И вот мы возвращаемся домой, в Ванн, по той самой дороге, по которой две недели назад ехали на юг в потоке великого исхода. Но как изменилась тихая проселочная дорога! По ее краям, а то и посередине, зияли воронки от бомб, которые приходилось объезжать полем. У воронок возились дорожные рабочие. На дороге и по обочинам валялись кузова обгоревших, опрокинутых автомобилей, поврежденные машины, тачки, детские коляски, велосипеды, погнутые, поломанные и разбитые на куски. Все это было буквально засыпано тысячами пустых консервных банок, слоями разорванной бумаги. Осторожно объезжая такого рода препятствия, мы добрались до деревни, где когда-то я так долго поджидал машину с моей семьей. Местности нельзя было узнать. Окрестные поля были заставлены германскими военными машинами, палатками, наскоро построенными бараками, возле которых шныряли солдаты и офицеры. Вдоль улиц стояли бесконечные вереницы грузовиков, бронетранспортеров, танков, высились пирамиды бочек с бензином. Почти все это было французское, но все это уже не принадлежало Франции.

Немецкий часовой, стоявший при въезде в деревню, показал нам, где выдают бензин. В поле стояла бочка

бензина с переносным насосом, и около нее дежурили фельдфебель и два немецких солдата. Фельдфебель, к которому я обратился, велел дать нам по десять литров на машину. Счетчика у солдат не было, и они равнодушно накачали нам, по крайней мере, вдвое больше.

Французы уже начали возвращаться на север, хотя еще пока небольшими группами. Со всех сторон подъезжали машины, груженные добром и тюфяками. Французы робко обращались к немецким солдатам с просьбой о бензине. Узнав, что бензин выдается бесплатно, они начинали просить побольше, предлагая заплатить. Но фельдфебель был неумолим: «Десять литров — отъезжайте».

Те деревни, через которые мы проезжали две недели назад, были теперь наполовину пусты. Жители толпились у домов, многие работали на огородах, на полях, доили коров. Когда мы вступали с ними в разговоры, они наперебой рассказывали о своих путевых похождениях. Почти все они покинули свои дома, рассыпались по лесам и теперь только что вернулись домой. У многих дома были разграблены. О беженцах говорили с ненавистью, словно именно они, а не немцы являлись врагами, забывая, что две недели назад они сами были беженцами.

Странно было подъезжать к дому: нам казалось, что мы уехали отсюда не две недели, а много лет назад. Мы возвращались, как возвращаются из больницы после тяжелой болезни. Все было спокойно, тихо, на полях копались крестьяне. В доме нас поджидали кухарка и горничная моего тестя. Они не захотели ехать вместе с нами и, договорившись с местным фермером, вскоре после нашего отъезда отправились вместе с ним на повозке. Но отъехали они совсем недалеко, несколько ночей провели в соседнем лесу, спали на земле, а потом, когда пришли немцы, вернулись домой.

Вокруг дома зияли воронки от бомб, сброшенных с немецких самолетов, — мы действительно уехали вовремя. Но дом уцелел. В еще свежих воронках успели вырыть свои норы кролики, пробивалась молодая травка. Возвратился и наш сосед-фермер. Немцы отдали ему великолепную кавалерийскую лошадь, взятую у французов, с которой они не знали, что делать. Лошадь отощала и теперь паслась в поле. Фермер тоже не знал, что с ней делать: для полевых работ она не годилась. Коровы разбрелись по полям, их несколько дней никто не доил. Теперь они вернулись в хлев, у них распухло вымя, и они жалобно мычали. Молоко имело неприятный вкус.

Через несколько дней вернулись в деревню и остальные жители, далеко они не уезжали и также ночевали в окрестных лесах. Многие погибли от бомб. Местный могильщик, пьяница и охальник, похоронил за эти дни около пятидесяти никому не известных людей. Только он один не покинул деревни, словно зная, что его услуги понадобятся.

Я зашел повидать мэра. Его дом был разнесен бомбой, вся внутренность выгорела. Мэр стоял возле и… как всегда, месил цемент в чане: снова строил свой дом. Он тепло приветствовал меня:

— Ну, как съездили? А у меня видите что?

— Что же вы думаете теперь делать?

— Как что? Буду отстраиваться, слава богу, ведь сам каменщик.

От бомбежки пострадали и другие дома. В одном из домов погибла вся семья. Раненых отправляли в Орлеан или лечили дома.

Возвратившиеся жители быстро обнаружили, что многое за время их отсутствия пропало. Сначала за это они ругали на чем свет стоит беженцев, а потом, потише,

и немцев. Постепенно некоторые из пропавших вещей стали находиться… у соседей. Но французские крестьяне — большие дипломаты. Ссориться с соседями им не хотелось. Они не ругались, не жаловались жандармам, но ходили в гости к соседям и под различными предлогами заглядывали во все уголки дома, даже в хлев и в конюшню. Иногда попадались на глаза принадлежавшие им вещи, но они и виду не подавали, что узнали свое добро. Соседи, быстро смекнув в чем дело, сами забегали вперед и говорили с невинным видом:

— Мы нашли это в нашем доме… не знаем даже, чье оно.

Гости делали вид, что верят, забирали свои вещи и даже благодарили соседей за то, что они сохранили их от немцев. После взаимного обмена любезностями они расставались, а вернувшись домой, обзывали соседей разбойниками, мошенниками и ворами.

В нашей деревне тоже стоял немецкий гарнизон, на окрестных фермах и в замках разместились германские части. Местная мэрия и школа были превращены в штаб, хотя оккупанты и оставили проживавшего там учителя. Со всеми вопросами они чаще обращались к нему, чем к мэру, ибо мэр в делах мало что смыслил. Начальник гарнизона даже столовался у учителя и, сидя за столом, слушал немецкое радио. Иногда учитель пытался слушать французские передачи, но комендант тотчас же выключал громкоговоритель. Солдат разместили у местных жителей или в пустых домах. В этот период они еще держались корректно, не грабили, были вежливы с населением. Гитлеровцы заигрывали с Францией.

Перед зданием мэрии комендант поставил огромную мачту, на которой развевалось знамя со свастикой. Все проходящие мимо мачты должны были снимать

шапку. Утром флаг торжественно поднимали, как на корабле, в присутствии караула, вечером торжественно спускали. Крестьяне или обходили мачту издали, или же ходили без шапок.

Вскоре после приезда ко мне явился немецкий лейтенант и от имени коменданта попросил оказать медицинскую помощь населению, так как ни одного врача в округе не было. Местные германские власти предложили обеспечить мою машину бензином для разъездов и даже отрядили на помощь двух солдат-санитаров. Бензин мне выдавался без нормы, пока не наполнится бак. Горючее было, разумеется, трофейное, французское. Мне удалось, таким образом, накопить бензин для отъезда в Париж.

Солдаты, стоявшие в нашей местности, были очень молоды. Все они были фанатически преданы Гитлеру и так же фанатически убеждены, что германский народ — самый цивилизованный в мире.

Около деревни оккупанты устроили склад трофейного оружия: здесь лежали тысячи аккуратно сложенных французских винтовок, пулеметы, покрышки, стояли сотни новеньких французских военных автомобилей.

В кафе при единственной местной гостинице каждый вечер собирались германские солдаты, пили вино и пытались беседовать с крестьянами. Те угрюмо молчали, ссылаясь на то, что не понимают немецкого языка. Узнав, что я русский, немцы пожелали вступить со мною в разговор. Всех их, видимо, беспокоила одна мысль:

— Будет Россия воевать с ними или нет?

Спрашивали они это с затаенной тревогой. Чувствовалось, что война с СССР им не улыбается. Гордые своими победами в Европе, опьяненные легким успехом, германские солдаты еще не сознавали, что эти победы достались им слишком дешево, что помогло им предательство

французской буржуазии. Европа лежала у их ног, но СССР страшил. Они как будто предчувствовали, что рано или поздно им придется воевать с Россией и что война там будет иной, чем в Европе. А войны им больше не хотелось, воевать приятно, пока победы даются легко, к тому же отдых во Франции — просто наслаждение.

Каждый раз, когда я встречался с ними в кафе, они задавали мне всевозможные вопросы об СССР и Франции.

Французы вообще любили потолковать о политике, хотя события последних лет отчасти отучили их от этого. Иной раз они и с немцами разговаривали довольно откровенно. Вероятно, все эти разговоры дошли до сведения гестапо, так как через несколько недель во всех французских деревнях, где стояли германские гарнизоны, были расклеены для солдат объявления, гласившие: «Feind ist Feind» («Враг остается врагом»)…

Германское командование напоминало своим войскам, что французы для них — враги и что немецкие солдаты во Франции должны остерегаться всех и каждого. Ведь даже простое общение с французами, привыкшими к разговорам о политике, могло подействовать разлагающе на германских солдат, которых обучали только слепо повиноваться.

Во Франции немцы начали отъедаться, к чему в Германии не были привычны. Они покупали или реквизировали скот, кур, гусей, яйца, молоко, масло, все, чем была богата наша местность. По этому поводу один молодой немец сказал мне:

— Мои родители — рабочие в Руре. Наша молодежь очень сильно страдала после Версальского договора. Французы заняли Рур и послали туда сенегальцев, негров. Мне рассказали об этом мои родители.

— Вот она, хваленая французская цивилизация, — говорил мне немец-комендант, показывая на пленных

сенегальцев, — Франция покрыла себя позором, послав против нас негров.

Германская пропаганда охотно ссылалась на этих негров, чтобы опорочить в глазах немцев французскую цивилизацию. Все германские офицеры, с которыми я разговаривал, относились к Франции с величайшим презрением, они не уставали повторять, что Франция — страна вырождающаяся и что миссия немцев — ее цивилизовать и дисциплинировать. Молодое поколение немцев ненавидит французов за свое прошлое поражение, за «страдания», которые перенесли их родители во время французской оккупации Рура. Но они не говорили и не помнили о тех страданиях, какие германские войска причинили Франции в войну 1914 г., когда оккупировали и держали под своей властью свыше трех лет весь север Франции. А гестапо? А вся зверская система гитлеризма? — Об этом молодые нацисты молчали… Пусть другие страдают, им это к лицу, а немцам страдать нельзя, рассуждали эти представители «высшей расы».

Германское командование отобрало у всех местных жителей охотничьи ружья и запретило охоту. Оккупантам, наоборот, охота разрешалась, и они истребляли фазанов и диких кроликов тысячами. Пруды они опустошили с помощью сетей: ловить на удочку им было некогда. Во многих прудах во время рыбной ловли немцы нашли сотни винтовок, пулеметы, патроны, ручные гранаты, брошенные туда отступающими французскими частями.

По делам мне пришлось побывать в Орлеане. Город был забит германскими войсками. Здесь стояла целая армия с тысячами грузовиков, броневиков, автомобилей, больше половины которых было захвачено у французов. На всех перекрестках оккупанты установили доски

с огромными надписями, указывающими направление. По улицам проходили под конвоем двух-трех германских солдат с винтовками огромные толпы французских пленных, оборванные, с изможденными лицами. Под надзором немцев они разбирали развалины домов, складывали камни в кучи, вытаскивали трупы из засыпанных погребов. Вид Орлеана внушал ужас. Центр города был разрушен и засыпан обломками рухнувших и сгоревших домов. Погиб исторический дом-музей Жанны д'Арк. В Орлеане ничего нельзя было купить и негде было поесть. Оккупанты реквизировали все отели и гаражи. Гражданского населения осталось мало. Французы ходили по улицам боязливо, как-то бочком, не глядя на немцев. Мне рассказывали, что некоторые французские части оказали немцам при входе в Орлеан сопротивление. Но что они могли сделать без поддержки армии? Враг разрушил Орлеан скорее ради устрашения, чем по военной необходимости. Здесь, как и в Сюлли, все мосты на Луаре французы взорвали. Впрочем, германские войска их в тот же день восстановили. А железнодорожный мост не был взорван, и, так как поезда еще не ходили, по нему было открыто автомобильное движение.

Побывал я и в Сюлли. Мертвый город лежал весь в развалинах. Кое-где торчали обугленные стены домов. Вокруг Сюлли в полях стояли взятые германскими войсками артиллерийские парки с огромными, причудливо раскрашенными, совершенно новенькими пушками, которые начали уже ржаветь. Немцы не собирались ими пользоваться и отправляли их в Германию на переплавку. Тут же стояли бесчисленные автомобили, покинутые беженцами. Они были составлены в парки по триста-четыреста штук. Рядом с ними валялись пустые чемоданы, бумаги, поломанные части машин. Из Парижа порой приезжали владельцы автомобилей, подолгу ис-

кали свои машины и находили их обычно в плачевном виде. Да и на целых машинах уехать было невозможно: бензин уже пропал. Постепенно оккупанты сами стали снимать с машин все, что могло им служить. По оставшимся машинам они пускали свои танки, которые обращали их в лепешки, и этот металлический лом тоже отправлялся в Германию на переплавку.

Повсюду в департаменте оккупанты открыли огромные лагери для французских военнопленных. Около городка Питивье, в котором насчитывалось всего лишь 9000 жителей, они устроили лагерь на 20 000 военнопленных, около Сюлли — на 3000. Были лагери и в Жаржо и в Шатонефе. Германские власти сами еще не знали тогда, как им поступить с пленными, которых надо было содержать и кормить. Пленные голодали. В этот период оккупанты смотрели сквозь пальцы на побеги. Пленные убегали средь белого дня, доставали у местных крестьян штатскую одежду и поступали к ним рабочими. На всех окрестных фермах я видел сотни таких беглецов. Крестьяне охотно оказывали им помощь, ибо крайне нуждались в рабочих руках. Два миллиона молодых французов томились в плену, и деревни пустовали. Обрабатывали землю старики и женщины.

Как-то, возвращаясь из Питивье, мы догнали огромную колонну французских пленных. Их перегоняли из Питивье в лагерь около Жаржо. Всю колонну охраняли два немецких солдата. На исхудалых, усталых лицах пленных, покрытых давно не бритой щетиной, резко выделялись запавшие от истощения глаза. Несколько пленных обратились к нам с просьбой взять их с собой. Они говорили, что устали и дальше идти пешком не могут. Им предстояло пройти еще свыше 30 километров.

Я спросил у немецкого солдата, можно ли довезти их до лагеря. Он согласился с полнейшим равнодушием.

Забрав в свою машину четырех солдат, которые казались наиболее усталыми, мы отвезли их в Жаржо. В лагерь их не повезли, а высадили в городе. Двое были как раз родом из Жаржо. Сомневаюсь, чтобы хоть один из них пошел в лагерь.

Чтобы закончить описание этого периода, забегу несколько вперед. В начале июля мы уехали в Париж. Германский гарнизон ушел из деревни Ванн на север. Значит, кончилось и мое бензинное раздолье. Так как я не мог увезти в Париж все наши вещи и школьное имущество, мы собрали их, сложили в одной из комнат нашего дома и заперли на ключ.

Через несколько дней после нашего отъезда в доме расположилась рота немецких солдат. Меня об этом известили, я примчался на машине из Парижа. Но было уже поздно.

Комнату, где хранились наши вещи, заняли немцы, вещей уже не оказалось. Я обратился к капитану, командиру роты. Он принял меня очень вежливо и предложил обойти вместе с ним дом в поисках вещей. Лесной сторож, оставленный владельцем для надзора за домом, утверждал, что ничего не знает о вещах. Он сам дал немцам ключ от нашей комнаты. После долгих поисков удалось разыскать несколько старых чемоданов, брошенных в мусорные кучи. Но все их содержимое исчезло. Пропали все мои рубашки, школьное белье, мужская и женская одежда. Позже соседи рассказывали, что как только немцы заняли дом, они в тот же день начали отправлять посылки в Германию.

Когда я сказал об этом немецкому капитану, он ответил мне с возмущенным видом!

— Никто не может подозревать германскую армию в грабеже.

Пока я разговаривал с капитаном, моя дочка пристально смотрела на одного из солдат, стоявших во дворе. Все они разгуливали в одних майках и трусах. Вдруг дочь обратилась к солдату:

— А знаете, эти трусики очень похожи на мои.

Немец смутился и признался, что трусики он забрал в нашей комнате… Его приятели в шутку хотели тут же их с него стащить. Но немец воспротивился и обещал моей дочери, что завтра же вернет их в чистом виде.

Обещание свое он сдержал, так как все это происходило на глазах капитана, который, правда, перестал разглагольствовать о чести германской армии.

Вечером германские офицеры пригласили нас поужинать с ними. За столом сидели вместе с офицерами два простых солдата. Позже я спросил у капитана, едят ли они обычно вместе с солдатами. Он мне ответил, что по правилу у них всякий раз за офицерский стол приглашается поочередно несколько солдат. Подобные трюки позволяли гитлеровцам утверждать, что их армия «демократична».

А между тем ни в одной армии на свете я не видел таких резких различий между солдатами и офицерами, как в германской. У каждого офицера был свой денщик, которого он гонял, как лошадь.

Вообще говоря, гитлеровцы в это время еще не грабили Францию в «индивидуальном» порядке. Правда, они очищали занимаемые ими дома и отправляли все вещи в Германию. Но грабили они пока оптом, путем реквизиций и скупки по дешевой цене. Ведь оккупационные деньги для них не имели никакой ценности. Вся германская армия во Франции, по условиям перемирия, содержалась и кормилась за французский счет. Франция была обязана поставлять ей еженедельно 10 000 голов крупного рогатого скота, 1000 тонн масла и т. д. Кроме

того, французы выплачивали оккупантам в день по 400 миллионов франков контрибуции. В 1941 г. эта сумма была снижена до 300 миллионов. Содержание армии этого, понятно, не стоило, и счет Германии во Французском банке оставался неиспользованным. Зато в стране стремительно повышались цены, началась инфляция. Грабеж населения с первых дней происходил за счет обесценения французской валюты. Сначала завоеватели платили оккупационными марками по курсу 20 франков за марку. Но, так как французские крестьяне не брали эти деньги, германские власти постепенно изъяли их из обращения и расплачивались только новенькими французскими билетами, которые во множестве печатал по их заказу Французский банк.

Гитлеровцы сразу же набросились на французские продукты и буквально пожирали все, словно никогда не ели досыта. Я видел в июле 1940 г., как солдаты германской армии, купив на ферме масло, ели его без хлеба, кусками. И вот таких изголодавшихся молодчиков Гитлер выпустил на богатейшие страны Европы — на Францию, Голландию, Данию и на Советский Союз.

Но оккупанты не только ели сами. Еще больше продуктов они отправляли в Германию военными посылками по 5 килограммов каждая. В Медоне и на вокзале Монпарнасс в Париже, ожидая поезда, я часами глядел на сложенные груды посылок от солдат.

Но я ни разу не видел, чтобы немецкие солдаты получали посылки из Германии. Да и сами немцы откровенно признавались, что им посылок не шлют; наоборот, родные в письмах просят их присылать все, что только можно.

В этот период оккупанты делали вид, что строго преследуют индивидуальные грабежи. Когда в одной соседней деревне жители пожаловались коменданту,

что солдаты воруют у них кур, комендант ответил, что германская армия грабежами не занимается и что эти жалобы оскорбительны для чести армии. В другой деревне в ответ на аналогичные жалобы комендант арестовал виновников кражи и отправил их в Орлеан, где, как он сказал, их будут судить и расстреляют. Но, когда кражи возобновились и крестьяне вновь обратились с жалобами к коменданту, он накричал на них и приказал не надоедать пустяками. В третий раз он просто пообещал арестовать и расстрелять жалобщиков. После этого жалобы, разумеется, прекратились.

Между тем такого рода кражи случались всюду, где только стояли войска оккупантов. Сами офицеры преспокойно ели кур, украденных у крестьян их же денщиками.

В начале июля, как я уже говорил, мы решили возвратиться в Париж.

Уезжали мы с тяжелым сердцем, очень уж много пережили и перечувствовали. Я не узнавал Франции, в которой прожил столько лет и которую так любил. Она еще не очнулась от удара гитлеровского кулака. А владельцы замков и местная буржуазия наперебой приглашали оккупантов, угощали их и чуть ли не благодарили за избавление от «красной опасности».

То же самое увидели мы и в Париже. Первый период войны кончился не только победой гитлеровской Германии над Францией, но и победой предавших Францию правящих классов.

# Часть вторая. В подвалах войны

## В Париже, под гитлеровским сапогом

Итак, мы решили вернуться в Париж. С нами еще остались дети — ученики моей жены, ехать все вместе на машинах мы не могли. Поэтому прислуга школы — кухарка и горничная выехали в Париж через Орлеан поездом на день раньше нас. Поезда тогда только что начинали ходить, шли неизвестно сколько времени и неизвестно каким путем. Неудивительно, что прислуга приехала в Париж днем позже нас: они пробыли в пути три дня.

Я отвез их на Орлеанский вокзал. Поезд был переполнен. Люди со всем своим скарбом возвращались после великого исхода домой. Несмотря на то что на вокзале и на всех станциях стояли немецкие часовые и Франция находилась полностью во власти гитлеровцев, многие пассажиры имели спокойный, даже довольный вид: война кончилась, они ехали домой… В пути оккупанты не спрашивали ни у кого документов, и уже одно это придавало поездке какой-то мирный, довоенный характер. Французское начальство вообще перестало существовать, оставшиеся у власти только выполняли приказы германских властей. Железнодорожники работали так же, как и раньше, как будто ничего не случилось. Только билетов не продавали, все ехали бесплатно. У вагона стоял железнодорожник, уже немолодой, краснолицый, длинноносый, типичный мелкий служащий-француз. Я спросил, не знает ли он, что делается в Париже.

— В Париже? Да там почти никого нет, город пустой, — ответил он, словно обрадовавшись, что может, наконец, поговорить о Париже. — Я там был на днях.

— А как такси, метро? Как люди добираются до дому?

— Такси нет: все удрали из Парижа. А которые остались, те немцы забрали. А вот метро работает, и все время работало. Я был в Париже, когда туда немцы входили по Елисейским полям. Они шли по улице, а метро было открыто и работало, как обычно.

Все заахали. То, что метро действовало, сразу как-то и успокоило и взволновало парижан. Ведь метро — это неотъемлемая часть жизни каждого парижанина. Железнодорожника окружили, забросали вопросами. Но он вдруг заметил германского офицера и замолчал; мы больше от него ни слова не добились. Пассажиры расходились удовлетворенными: то, что метро работало, когда германские войска входили в город, казалось им чуть ли не геройством.

По пути поезд останавливался на всех станциях, подолгу стоял на запасных путях. В вагон входили немецкие солдаты. Они пытались вступать с пассажирами в разговоры, но их боялись и отделывались короткими ответами. На одной из станций немцы ввалились в вагон с огромной бутылью в руках, наполненной крепкой вишневой водкой — киршем. Бутыль эту они захватили в каком-то станционном буфете. Помахивая бутылью, они заявили на плохом французском языке:

— Кто хочет киршу, давайте бутылки, нальем.

Желающих оказалось много. Почти у всех пассажиров нашлись бутылки, фляжки, в которых они везли воду, молоко, вино. Но ради кирша, да еще бесплатного, они вылили содержимое своих бутылок за окно. Весь вагон скоро опьянел, языки развязались, и пассажиры стали ругать… французское правительство, которое продало Францию. А затем все начали наперебой рассказывать, не слушая друг друга, о своих злоключениях во время великого исхода. Немцы были довольны…

Мы поехали в Париж по той дороге, по которой я обычно ездил туда, — через Питивье и Этамп. Шоссе как будто вымерло, а ведь обычно по нему непрерывно мчались автомобили. Теперь они исчезли, машин с беженцами тоже не было видно. Зато все дороги заполнили германские военные транспорты и эшелоны, двигавшиеся на север, к Парижу. Очевидно, Гитлеровское командование считало войну во Франции законченной и теперь понемногу выводило из страны часть армии, перебрасывая войска куда-то в другое место. Мы обгоняли бесконечные вереницы повозок, запряженных лошадьми. Лошади были французские, а повозки немецкие, без рессор. На повозках в деревянных «официальных» позах сидели немецкие солдаты. Они равнодушно глядели на наш кортеж. Иногда нас обгоняли немецкие легковые машины с офицерами, они также сидели прямо, вытянувшись, и окидывали нас через монокли высокомерным взглядом, если мы не догадывались вовремя свернуть в сторону. Машины эти властно гудели, и немецкие обозы немедленно, как по команде, освобождали дорогу.

Во всех деревнях и на всех фермах по пути расположились германские гарнизоны. Немцы рубили дрова, поили коней, чистили сапоги. На мостах и на перекрестках стояли немецкие часовые, затянутые, какие-то негнущиеся, с винтовками наперевес. Они руководили движением с видом абсолютно властным, не допускающим возражений. Французы не прочь были вступить в пререкания с часовыми, с регулировщиками движения. Немцы же беспрекословно выполняли приказы своих часовых.

Гитлеровская оккупация во Франции была чудовищной машиной, перемалывающей волю и мысли человека. Когда из дома выходил офицер, солдаты бро-

сали работу и вытягивались во фронт, звонко щелкая каблуками.

Мы искали следы битв, разрушений. Но все деревни между Орлеаном и Парижем, за исключением Этампа да двух-трех разрушенных бомбами домов, уцелели. Очевидно, боев тут не было. На всем пути мы не видели ни воронок от снарядов, ни окопов. Германские войска продвигались, не встречая сопротивления. Документов у нас никто не спрашивал, и только в лесу, на перекрестке, немецкий часовой остановил машины и спросил, нет ли у нас оружия. Услышав, что я говорю по-немецки, он разрешил нам ехать дальше.

Только в одной большой деревне, Сермэз, нас остановили для проверки документов. У дороги, на тротуаре, стоял столик, за которым восседали два немецких офицера, а рядом с ними стояли французские жандармы, с растерянным видом, с красными, потными лицами. Оказывается, документы проверяли французы, так как немцы не понимали по-французски. Я вытащил мой советский паспорт.

Французские жандармы впились в него с угрожающим видом, словно поймали преступника. Я обратился к немцам, сказал, что я советский врач и возвращаюсь в Париж. Немецкий офицер взял у жандарма мои бумаги, бегло взглянул на них и обратился ко мне:

— Господин доктор, можете ехать дальше — А это ваша семья?

— Да, моя жена и ее родители.

— Они также могут ехать.

Французские жандармы опешили. Они до сей поры охотились на русских, арестовывали их.

Кроме обычных удостоверений личности, оккупанты не требовали тогда от беженцев никаких бумаг для

возвращения в Париж. Гестапо вылавливало тех, кто был ему нужен, иными способами.

Гитлеровская оккупация теперь, когда над Францией уже не кружились германские самолеты, казалась некоторым буржуа своего рода гарантией против всяких революций.

На немцев они смотрели без особого страха, даже с некоторой симпатией. Немцы и в самом деле в первые дни старались обращаться с французами вежливо. Очевидно, они получили соответствующие директивы. Ведь Англия еще не разбита. Гитлер готовился к походу на Англию, и ему хотелось обеспечить свой тыл. Да и вообще, как это выяснилось позже, он пытался сделать из Франции свою союзницу, ибо не очень-то надеялся на итальянцев.

Немцы, следуя этой указке, говорили французам:

— Мы вовсе не против вас. У нас с вами один общий враг — англичане. Их надо добить, и тогда мы будем жить с вами в мире.

Но уже в июле 1940 г. в деревенских гарнизонах были расклеены афиши с напоминанием: «Feind ist Feind» («Враг остается врагом»). В Париже, в сентябре или в начале октября того же года, я как-то прочел на улицах немецкое объявление. В нем германское верховное командование совершенно недвусмысленно заявило французам: «Вы не должны забывать, что вы побеждены, что вы виновники войны и что немцы не имеют по отношению к вам никаких обязательств».

Кучки народа собирались вокруг этих листков, молча читали, боясь высказать вслух свое мнение, но, отходя, обменивались понимающими взглядами. Только раз я услышал, как молодой рабочий зло и насмешливо воскликнул:

— Так, значит, набили нам морду и просят этого не забывать. Спасибо за напоминание!

Чувствовалось, что французскому национальному самолюбию нанесено глубокое оскорбление. С волнением мы подъезжали к Парижу. Какова же теперь, под германским сапогом, великая столица — сердце и мозг Франции? Ведь даже в 1871 г. немцы не заняли Парижа, только продефилировали раз по Елисейским полям. Теперь же они были в самом городе. Мы жадно вглядывались в живописные, нарядные парижские предместья, в лица людей, не узнавая знакомых мест и ища в них перемену.

Все, казалось, умерло. Ставни окон были закрыты, тяжелые железные шторы магазинов опущены. Дома стояли пустые. Бесчисленные бензиновые колонки разных цветов, которыми уставлены дороги, ведущие из Парижа, закрыты. Обычно возле них толпились машины, суетились продавцы и автомобилисты. Теперь на дверцах висели замки, да и машин не было видно. Под тенистыми деревьями бесконечных улиц предместья редко-редко встречался прохожий. На перекрестках по-прежнему стояли полицейские, регулируя почти совсем затихшее движение. Но так же, как обычно, автоматически вспыхивали светофоры, останавливая и пропуская считанные машины. За нами ехали еще два-три автомобиля, в них возвращались беженцы. Они высовывались, как и мы, из окна и так же, как и мы, жадно глядели на родной и любимый город. Глаза невольно искали разрушений и не находили их. Дома стояли целые, нетронутые, воронок не было. Город как будто умер в расцвете сил, без борьбы.

В предместьях, на дверных ручках, на подъездах, висели, как и в Сент-Амане, белые тряпочки — символ позорной капитуляции. Тысячи кошек и собак сидели у подъездов, провожали взглядом проезжающие машины, следовали за прохожими, словно разыскивая

хозяев, бежавших из Парижа и бросивших их на произвол судьбы.

В самом Париже собак и кошек было еще больше, чем в предместьях, особенно в богатых кварталах. По улицам бродили отощавшие породистые собачонки, сиамские и персидские кошки лазали по крышам.

И я невольно вспомнил о беженцах. Многие из них везли на тачках или на велосипедах своих четвероногих любимцев, не желая покинуть их в гибнущем, по их мнению, городе. А светские дамы из фешенебельных кварталов, объятые безумным страхом, бросали своих животных в городе или по пути. У немецких офицеров я видел сотни породистых «бесхозяйных» собак, захваченных ими в полях. Животных было так много, что немцы отдали приказ их пристреливать.

А вот и въезд в Париж, «Ворота Италии», большая прекрасная площадь, окруженная новыми красивыми домами, совершенно преобразившими, за последние годы облик французской столицы. Обычно здесь кишел рабочий люд, текли непрерывным потоком автомобили, сновали сотни автобусов, велосипедистов, кричали продавцы газет.

Но въезд в Париж был закрыт. На широкой улице воздвигли преграду — мешки с песком, и перед ними деревянным шагом ходил немецкий часовой в шлеме, с винтовкой на плече. Французские полицейские сделали нам знак ехать в объезд, по направлению к воротам Сен Клу, на другом конце Парижа. Здесь дверь в Париж заперли на ключ и ключ отдали оккупантам.

Мы ехали через южные предместья Парижа — «красный пояс» столицы: Монруж, Ванн, Исси ле Мулино. Это заводские районы. Раньше здесь из высоких фабричных труб валил дым, рабочие в кепках спешили на работу, шли в магазины за провизией их жены. Не

раз над мэриями этих предместий гордо развевался красный флаг.

Но теперь «красный пояс» опустел. Не дымят заводы, не видно прохожих, только время от времени пройдет старик или старуха, медленно бредущие неизвестно куда. У мэрии Монружа стоит большая очередь женщин. В садах и огородах — никого. В Кламаре и в Ванне несколько домов разрушено бомбами во время единственного налета германской авиации на Париж. Видна внутренность дома, облупленные стены, кое-где еще сохранилась обстановка, стоят столы, стулья, кровати, висит зацепившийся за карниз рояль, угрожая падением. А вот и заводы автомобильного короля Ситроена на набережной Жавель — центр рабочей жизни Парижа: они наполовину разрушены, обуглены пожаром. В уцелевших огромных цехах бродят немецкие солдаты, выводят из ворот новые автомобили, сквозь окна за столами контор видны немецкие офицеры, согнувшиеся над бумагами, а рядом с ними в почтительной позе стоят какие-то штатские, очевидно, инженеры и директора заводов. Как будто все французы уехали из Парижа, и город окончательно стал немецким.

Но нет, не может быть. Париж — город Франции, ее сердце, ее слава. Все так же уходят вдаль бесконечные парижские улицы, обсаженные каштанами и платанами, все так же гордо взвивается к небу ажурная Эйфелева башня, на далеком холме белеет в летнем тумане громада Сакре Кер. Покинутая столица, создание французского гения, все та же, она жива, и если предатели оказались во Франции, город остался ей верен, потому что он — сама Франция.

Свыше четырех миллионов человек покинули столицу. Чувствуя, что его предали, что «пятая колонна»

выдала его с головой врагу, Париж не поднял белого флага на своей ратуше — он ушел в провинцию.

Миновав рабочее предместье Булонь, мы подъехали к воротам Сен Клу. И здесь снова заграждения из мешков с песком и немецкий часовой, похожий как две капли воды на того, которого мы видели у «Ворот Италии». Возле заграждения был оставлен узкий проезд, где рядом с немецкими солдатами стояли городские таможенники — нелепый пережиток прошлого; город взимал пошлину с привозимых сюда продуктов. Вид у таможенников растерянный, казалось, они сами не знали, что им делать. Мы въехали в город без всяких препятствий; наша машина, нагруженная вещами, была живым свидетельством наших злоключений.

И вот мы в Париже.

Пустынная площадь за воротами Сен Клу… Широкое, тенистое авеню де Версай… Редкие прохожие, ни одного автомобиля, даже ни одного велосипедиста. Зияет внутренность дома, разрезанного надвое бомбой. Немного дальше разбитый тротуар обнесен веревкой, и на ней краснеет на белом фоне доска с надписью: «неразорвавшаяся бомба». Вот и все, что осталось от войны в Париже, от единственного налета 3 июня.

Уходит в бесконечность авеню Елисейских полей с гордо вздымающейся в конце его Триумфальной аркой, горят на солнце фасады высоких, но легких, как и весь Париж, домов. Террасы кафе пусты, столики внесены внутрь. Только в знаменитом кафе «Колизей» столики остались на тротуаре, и за ними сидят немецкие офицеры с нагло заломленными тульями фуражек, многие с моноклями в глазу. Сидят и смотрят на пустое авеню. Около них застыли в скорбных позах «гарсоны» в белых пиджаках, с салфетками через руку. А вот и Триумфальная арка, под нею, у могилы неизвестного

солдата, как всегда, горит огонь, неугасимая лампада, зажженная у символической могилы французских воинов, павших в прошлой войне. Но перед могилой, которую раньше никто не охранял, потому что ее охранял весь Париж, стоит теперь немецкий часовой, затянутый, негнущийся, с винтовкой на плече; стоит, не двигаясь, тупо пяля глаза на группу немецких солдат и офицеров, пришедших взглянуть на памятник. Немцы вытягиваются во фронт, щелкают каблуками, отдают честь — кому? Памяти тех французов, которых убили четверть века назад? Нет, они стараются показать, что «уважают» Францию, «уважают» ее армию… А вдруг французы этому поверят!

Но французы не верят. Я остановил машину на краю площади. Там стоял рабочий, подметальщик улиц, старый, весь какой-то взъерошенный, в потертом пиджаке и кепке. Он, как и мы, глядел на немцев, отдающих честь «Неизвестному» — так любовно парижане называют своего героя, павшего за Францию. Смотрит, и веки его краснеют. Он старается сдержать набегающие слезы. Эти почести врага, фальшивые, подчеркнуто театральные почести коробят его. И его губы невольно шепчут крепкое слово: «A'merde alors! Вот до чего мы дожили. Они думают, что нам приятно смотреть, как они ломаются перед нашим «Неизвестным»!»

С тех пор, проходя мимо Триумфальной арки, на барельефах которой солдаты великой революции гордо идут в бой, осененные «Марсельезой», проходя каждый день мимо этой единственной в мире площади, от которой четырнадцать улиц лучами разбегаются во все стороны Парижа, я всякий раз видел, как туда подъезжали автокары с немцами. С ними обычно приезжал невзрачный штатский с портфелем в руках, гид, с типичным лицом французского интеллигента. Он казался

их пленником. Гид начинал рассказывать по-немецки о памятнике. Немцы вытягивались во фронт, щелкали каблуками, а офицеры с фотоаппаратами в руках снимали могилу, но непременно в таком ракурсе, чтобы было видно солдат, отдающих честь. Вот, мол, какие мы благородные, как мы уважаем побежденных французов! Кроме жалкого гида, в этот момент никого из французов у могилы не было. Эти фиглярские почести глубоко оскорбляли французское национальное самолюбие. И так было каждый день, весь год, что я провел тогда в Париже.

…Мы ехали домой по мертвому городу. Меня поразило необычайное количество негров. Видел я их и потом. Никогда не было в Париже столько негров, как в этот период. Раньше они как-то тонули в толпе белых. Когда богатые люди сбежали из Парижа, они не взяли с собой своих лакеев-негров. Легко представить себе, как радовались этому оккупанты. Теперь они могли публиковать фотографии негров на улицах Парижа и сопровождать их «пояснениями»: Франция наполовину населена неграми; французы — это помесь негров с белыми.

Когда в парижских кино показывали кинохронику — немецкую, разумеется, другой не было, — на экране неизменно появлялся сенегальский негр невероятно зверского вида, с вывороченными губами, во французской военной форме. А немецкий диктор с каким-то особенным злорадством возвещал зрителям, что вот кто защищал французскую цивилизацию; он насмешливо подчеркивал слово «цивилизация».

Но зрители-французы не смеялись. Они чувствовали в этом новое оскорбление, наносимое Франции. Да, эти негры защищали Францию, и француз не делал никакой разницы между негром и белым. Теперь оккупанты ста-

рались привить ему свое расовое учение, которое должно было доказать, что они, немцы, люди высшей расы.

В этом кинофильме было и нечто характерное для французской буржуазии последних лет. Захватив огромную колониальную империю, ее хозяева стремились превратить колониальные народы в пушечное мясо. Они надеялись, что черные наемники будут спасать свою мачеху от германского нашествия…

Наша квартира осталась нетронутой. Дом охранял старичок, отец консьержки; сама консьержка сбежала. Я распахнул окна, чтобы проветрить комнаты. Набережная перед домом была пуста. Но у самой реки и на противоположном берегу виднелись привычные для Парижа фигуры рыболовов. Даже война не сумела истребить эту страсть в сердцах парижских рабочих и мелких лавочников. В опустевшей столице они казались единственными обитателями. Теперь никто не распугивал их рыбу, и здесь никто не мешал им думать свои печальные думы. Париж без рыболовов с длинными бамбуковыми удилищами не был бы Парижем. Недаром еще Мопассан воспевал эту характерную для парижанина черту: парижский рыболов любит ловить рыбу именно в Сене. Даже в Луаре, где я жил, беженцы из Парижа никогда не ходили ловить рыбу. Для полноты наслаждения им нужен был родной парижский воздух, барки и буксиры на Сене… И все же хотелось понять, что скрывалось за этим спокойствием рыболовов: ощущение оцепенения, наступившего после краха? трагедия, которую переживал в глубине Души народ? или прежде всего простая верность «традиции»?

На Эйфелевой башне, на другой стороне реки, высоко-высоко в синем небе реял зловещий флаг с черной свастикой, словно хищные скрюченные пальцы сжимали горло Парижа.

Я не француз, но этот флаг, распростертая над Парижем черная, мрачная свастика больно кольнула меня в сердце. Символ фашизма развевался над Парижем, давил Францию. Сколько еще пройдет времени, пока страна очнется от сна и сбросит иго?

Я отправился за провизией. В лавках не было ни молока, ни масла, ни овощей — их не подвозили больше в Париж, поезда только начали ходить. Зато консервов было сколько угодно, и стоили они очень дешево. Торговцы тогда еще не думали спекулировать, да и при всем желании не могли этого делать; покупатели стали редкостью. В молочной за кассой по-прежнему восседала пышная, почтенная мадам Барюс, хозяйка крупнейшего в нашем квартале магазина. Перед кассой толкались женщины — прислуги из богатых домов квартала: хозяева их уехали.

— Ну, как у вас тут дела? — спросил я хозяйку.

— Мы оставались в Париже и никуда не уезжали, — с гордостью ответила она. — Видите объявление? — И она царственным жестом показала мне дощечку с надписью: «Как и в прошлую войну, молочная Барюса остается в Париже и никуда не уедет, что бы ни случилось».

И она величественно продолжала принимать деньги, выдавать чеки.

Когда германские войска вошли в Париж, в городе не выпекали хлеба, Центральный рынок, прославленное «чрево Парижа», был закрыт. Вечерами пустой Париж казался невыразимо грустным.

Оккупанты ввели в Париже, как и во всей Франции, свое время. Стрелки часов они перевели на два часа вперед. В 11 часов вечера на улицах было совсем светло, спать не хотелось, как не хочется спать в наши чудесные ленинградские белые ночи. Война изменила даже ход времени. Консьержки не имели права отворять двери

подъездов запоздавшим жильцам. Запоздавших забирали на улицах немецкие патрули и отводили в казармы. Провинившиеся должны были всю ночь чистить сапоги немецких солдат! В 5 часов утра «вежливые» немцы отпускали свои жертвы домой. Позже они возложили такой надзор на французских полицейских, но те сапоги чистить не заставляли.

Иногда хлопали одиночные выстрелы. Но кто стрелял и почему, оставалось загадкой. Французские полицейские в квартале в ответ на мои расспросы хранили молчание.

Ночью и днем, почти круглые сутки, низко распластав крылья с черным крестом, летали над Парижем германские самолеты. Флаги со свастикой висели на всех официальных французских учреждениях: ратуше, палате депутатов, министерствах, над всеми крупными отелями, занятыми немецкими штабами. Авеню Монтэнь и старинная улица Риволи были перегорожены и ездить по ним разрешалось только немцам.

В отеле Мажестик, у самой площади Этуаль, поместилось гестапо.

С середины августа в Париже стали появляться автомобили с беженцами, возвращающимися домой. Вид у них был несколько смущенный, остававшиеся в городе парижане встречали их насмешливо. Бежавшие без конца рассказывали о великом исходе друг другу и оставшимся, с каждым стряслись тысячи приключений — трагических и комических, а ведь жизнь французского буржуа за последние годы была так бедна событиями! Они даже чувствовали себя чуть-чуть героями — столько им пришлось натерпеться. Помню, у соседнего дома разгружался вернувшийся с юга автомобиль. Рядом вертелся молодой рабочий, ядовито глядевший на путешественников.

— Эх, вы, герои, от немцев бежали! — наконец не выдержал он.

— Мы? Мы были под бомбами, под пулеметами, как раз мы видели войну, — отрезал владелец автомобиля, почтенный, седоватый буржуа, типичный лавочник с виду. — А вы что в Париже видели? Сидели да консервы жрали, пока нас обстреливали.

Оставшиеся в Париже и вправду ни войны, ни обстрелов не пережили. Просто пришли германские войска и спокойно заняли город. Только и всего. А те, кто бежал от вражеского нашествия, попали в гущу войны, хлебнули горя, лишений, испытали голод, бомбежки, словом, французским буржуа казалось, что они побывали на самой настоящей войне.

Одни вернулись в Париж, другие застряли в неоккупированной зоне и теперь не могли вернуться оттуда: оккупационные власти никого не пускали обратно. Франция была разрезана на две части. Нельзя было даже списаться: вначале германские власти запретили всякую корреспонденцию. Только несколько месяцев спустя они дали разрешение писать из зоны в зону коротенькие открытки с заранее напечатанным текстом, в котором можно было вставить от себя только — здоров или болен.

Две-три газеты продолжали выходить. Потом постепенно стали появляться новые газеты. Их заполняли объявления о розыске пропавших. Муж искал затерявшуюся в пути жену, мать разыскивала детей, авторы объявлений обращались ко всем, кто может что-либо сообщить о потерянных. В других объявлениях сообщалось об оставленных в пути автомобилях, сулились крупные награды тем, кто укажет их местонахождение, умоляли вернуть брошенные в пути ценности и бумаги, конторские книги и рукописи. Родные, хотя и не всегда,

все же обнаруживались, багаж и потерянные в пути ценности — в редчайших случаях. Автомобили тоже в конце концов находились, но в каком виде! Ободранные, без шин, без колес, без динамо, иногда даже без моторов. Привезти их в Париж не было никакой возможности. Почти все гаражи закрылись, а незакрытые оккупанты реквизировали. С конца августа германские власти перестали выдавать бензин.

Даже слово «Франция» в те дни стало иным. Оккупанты говорили о «неоккупированной» и об «оккупированной» Франций, французы же из чувства национальной гордости называли их «свободной» и «оккупированной» зонами. Не только территория, но и многие французские семьи были разрезаны чертой оккупации: одни остались под врагом, другим удалось проскочить в неоккупированную зону.

Это деление Франции было ловким маневром Гитлера. Он мог без малейшего труда занять всю страну, но тогда Франция перестала бы быть «независимой» в глазах мира. Теперь же оставался кусочек Франции, на котором находилось «независимое» правительство Петэна. Это правительство могло сноситься с иностранными державами. Через него гитлеровцы вели разведку за границей, управляли французами через французов же. И французским фашистам это тоже пришлось на руку: они твердили, что благодаря Петэну часть Франции «спасена».

Еще со времени первой мировой войны за немцами укрепилась во Франции презрительная кличка «бош». Слово «бош» родилось в боях на Марне. До того оно во французском языке не существовало. Его выдумали парижане. Вместо «альман» (немцы) солдаты из парижских предместий стали говорить «альбош»: окончание «ош» по-французски, в особенности же в Париже, имеет

презрительный оттенок. Постепенно «альбош», по свойственной французам любви к сокращениям, стали произносить просто «бош». Это слово прочно вошло во французский язык. Немцы знали об этом.

И теперь, как и в дни первой мировой войны, французы, говоря между собой о немцах, презрительно называли их «бошами», Нацисты запретили произносить это слово. Провинившегося штрафовали на 700 франков.

Тогда французы вслух стали называть их «фридолинами» — от слова «фриц», на которое оккупанты также наложили запрещение. Правда, за него штраф полагался меньший, чем за «боша». Со свойственным им педантизмом германские власти разработали особую шкалу штрафов за оскорбительные слова. В провинции крестьяне называли немцев «дорифор» — картофельные жучки. Парижане не знали, что это за жучки, но слово им пришлось по душе и также вошло в обиход. Но немцы скоро разгадали и его. Называли их французы также и «арико вер» — зеленые бобы, за цвет мундиров.

В одну из поездок в Ванн я остановился как-то в Питивье, в гостинице. Хозяйка, чуть не плача, рассказала мне о своих злоключениях. Немцы, заняв городок, вызвали ее к себе и потребовали, чтобы помещение гостиницы было немедленно очищено.

— Мадам, нам нужна ваша гостиница для офицеров германской армии. Теперь половина девятого. К десяти часам освободите гостиницу от всех жильцов.

— Помилуйте, ведь у меня полно женщин и детей. Куда же они денутся теперь, на ночь глядя, да еще когда в городе нельзя найти ночлега?

— Мадам, я не интересуюсь вашими мнениями по этому поводу. Будьте любезны выполнить приказ в указанный срок.

Ровно в десять явились немецкие офицеры со своими денщиками и в один миг заняли все помещение. Жильцов они выбросили прямо на улицу. Женщины плакали, дети кричали. Какая-то молоденькая девушка крикнула немцам:

— Дорифоры.

Немецкий офицер обернулся к ней.

— Я знаю, — сказал он, — что вы называете нас дорифорами. Ну, что ж, тем хуже для вас. Мы поедим, как дорифоры, всю вашу картошку, а вы будете грызть стебли.

Оккупанты выполнили эту угрозу. К осени 1940 г. картофель исчез во Франции. Зимой его выдавали по карточкам — килограмм или два на месяц.

Карточную систему на продукты в Париже ввели в октябре 1940 г. Оккупанты к этому времени забрали все, что могли. И, как все административные мероприятия германских властей, карточная система во Франции была осуществлена довольно-таки скверно.

К ней привыкли не сразу. Вначале сверх карточного пайка у торговцев и у приказчиков за взятку можно было получить кое-какие продукты. Но так как и взятки стали давать все, пришлось увеличить их размеры. Скоро и за взятку ничего нельзя было достать. Оккупанты стали реквизировать продукты в деревнях, на корню: методически каждый день объезжая фермы, они реквизировали поля. На поле водружали дощечки с надписью: «Поле реквизировано германскими военными властями». Иногда рядом с такой табличкой даже ставили часового.

Сразу почему-то исчезла соль. Начался переполох. Соль стали скупать через спекулянтов. Потом соль появилась. Понемногу исчезли макароны, рис, растительное масло, кофе, чай. В январе 1941 г. за килограмм чая платили 750 франков вместо 80–100, потом исчез и чай.

Начали пропадать овощи. Не стало ни картофеля, ни моркови, ни лука, ни чеснока. Всю зиму большинство парижан питалось кормовой брюквой — «рютабага». Люди часами стояли в очередях у лавок или на рынке. Раза два в месяц удавалось получить по карточке килограмм картофеля или моркови. Но не было масла.

В декабре 1940 г. знакомая торговка таинственно сообщила нам, что немцы выделили парижанам 100 000 тонн картофеля и он скоро появится в продаже. На другой день на рынке у всех торговцев выстроились длинные очереди. Картофель действительно привезли, но почти весь гнилой. Оказывается, картофель этот был французский: оккупанты реквизировали его еще в августе. Картофель, выкопанный раньше времени, не может долго сохраняться и гниет. Как только он начал портиться, германские власти вернули его обратно французам в виде особой милости. Парижане называли его немецким, высказывая этим свое презрение к оккупантам.

Почти всю зиму 1940/41 г. парижане усиленно ели устриц. Немцы их не любили, не ели и не реквизировали. Французы, вообще большие любители устриц, жадно набросились на них. За всю историю Франции в Париже никогда, пожалуй, не ели столько устриц, как в ту памятную зиму. Мусорные ящики были забиты устричной скорлупой, и утром, когда их содержимое вываливали в автомобили, слышался тонкий перезвон трущихся одна о другую скорлупок. К концу января 1941 г. все устричные парки в Бретани, в Шаранте, в Аркашоне иссякли. Устрицы в Париже также пропали.

Не стало больше и рыбы. Оккупанты реквизировали почти всю рыбу еще в портах. У рыбаков не хватало бензина для судов, они выходили в море, как в старину, на парусниках. Но германские власти не позволяли им уда-

ляться от берега больше чем на три километра, так как многие французы бежали на рыбацких лодках в Англию.

Оккупанты угнали в Германию все вагоны-холодильники, и доставлять рыбу в Париж было невозможно. Только четвертая часть улова попадала на парижский Центральный рынок. Но сюда с раннего утра съезжались грузовики германского интендантства, которые под носом у покупателей забирали картофель, мясо, овощи, масло, рыбу для военных частей, расположенных в Париже. Парижанам ничего не оставалось.

Продукты имелись только на черном рынке. Как же они туда попадали?

Дело в том, что немцы для закупок в деревне брали с собой французских перекупщиков, своего рода «компрадоров». Те закупали у крестьян больше продуктов, чем значилось в приказах о реквизиции. Продукты ввозились в Париж на немецких грузовиках и попадали на черный рынок. Зарабатывали на этом и «компрадоры», и германские интенданты.

Сами же французы привезти в Париж ничего не могли. На вокзалах немцы обыскивали всех пассажиров с грузом, городская таможня в свою очередь обыскивала всех, даже велосипедистов и пешеходов. Нормированные продукты, обнаруженные у частных лиц, конфисковались, виновные платили крупный штраф. Мой приятель заплатил 100 франков штрафа за то, что провез в Париж кусок недоеденной им в дороге курицы. Служащие городской таможни запускали лапы в чемоданы, в узлы, в портфели. Впоследствии, когда французы все-таки нашли способы провозить продукты в Париж, минуя таможни, обыски стали производить в поездах в пути, далеко от Парижа.

Не раз на Центральном рынке происходили бунты: бунтовали женщины-покупательницы, мелкие торговки,

так как здесь могли покупать только торговцы, а не частные лица. Французская полиция вмешивалась в эти скандалы, но довольно вяло. Тогда появлялись немцы, они арестовывали голодных и кричащих женщин и отправляли их в тюрьму Шерш Миди.

Население начинало волноваться. Изголодавшиеся, мерзнувшие в нетопленых квартирах французы не могли больше молчать. У многих парижан в зиму 1940/41 г. были отморожены руки не столько от холода, сколько от недостатка питания, от недостатка витаминов. В очередях роптали, очереди превратились в настоящие политические клубы. Но тут опять-таки появлялись немцы и их французские агенты, бунтовщиков сажали в тюрьму. Тюрьмы были забиты людьми, арестованными в очередях. Но в то же время в очередях разговаривали очень осторожно и только тогда, когда знали, что нет посторонних, то есть неизвестных в квартале людей. Раз я подошел к большой очереди, ожидавшей выдачи макарон. До этого вся очередь оживленно о чем-то переговаривалась, но когда подошел неизвестный, разговоры смолкли, на мои вопросы публика отвечала неохотно, отмалчивалась. Повсюду шныряли гитлеровские агенты.

Оккупанты уже давно перестали доверять французской полиции, которая не предпринимала никаких мер против своих соотечественников. Поэтому они организовали свою тайную полицию, набранную из французов или из немцев, хорошо говоривших по-французски. Агенты этой полиции ходили в штатском, смешивались с толпой, подслушивали разговоры и арестовывали казавшихся им подозрительными людей.

Служащие французской полиции поняли, что они тоже французы и что у них с населением один общий враг — оккупанты.

Это сознание далось им нелегко. Помню, раз я стоял в очереди за бензином в одном крупном гараже. Бензина не подвезли, люди злились, ругали правительство. Тут же стоял немолодой полицейский офицер с типичным лицом старого служаки, высокий, крепкий, грубоватый. В спор он не вмешивался, но когда речь зашла о великом исходе и о разрухе последних месяцев, он заметил:

— Говорят, что все это было сделано нарочно. («On dit que cela a été fait exprès».)

Это слово «нарочно», «преднамеренно» («exprès») стало тогда уже ходячим. Все как будто осознали, что поражение французской армии было подготовлено предательством.

В городе распространялись листовки, прокламации компартии. Словно свежим ветром пахнуло на парижан, когда они вдруг услыхали по радио первые призывы «Сражающейся Франции». Значит, не все еще погибло, значит, есть французы, которые зовут драться с оккупантами.

Как-то раз на нашем рынке к полицейскому, наблюдавшему за порядком, подбежала торговка:

— Господин полицейский, тут какая-то женщина раздает коммунистические листовки.

— Меня это не касается, — невозмутимо ответил полицейский, — я здесь только для того, чтобы проверять, не продают ли выше установленных цен.

Однажды полиция арестовала на рынке женщину, продававшую газету компартии «Юманите», напечатанную на машинке на грубой бумаге. Женщина стала уверять полицейского, что она тут ни при чем, что ей просто дали бумагу для завертывания продуктов — покупатели тогда приносили из дому бумагу для завертки.

— Где живете? — сурово спросил у нее полицейский комиссар.

Женщине пришлось дать свой адрес. Комиссар послал к ней на квартиру инспектора, чтобы произвести обыск.

Инспектор явился по указанному адресу. Там его встретила девочка лет тринадцати — дочка арестованной.

— Я пришел произвести обыск, — сказал инспектор. — Покажи мне, где твоя мама прячет листовки.

Девочка, перепуганная, плача, стала уверять, что она ничего не знает. В конце концов, она показала инспектору пакет с листовками.

— Есть у тебя печка или камин? — сердито спросил инспектор.

Девочка провела его в соседнюю комнату. Инспектор положил в печку все захваченные им листовки и сжег.

Вернувшись в комиссариат, он доложил своему начальнику, что при обыске ничего не нашел. Женщину освободили. Таких случаев насчитывалось много.

Парижские полицейские стали патриотами. Парижане скоро поняли это и оценили. В Париже раньше не любили полицию, презрительно обзывали полицейских «коровами», а полицейских-велосипедистов «коровами на колесиках». Теперь эти «коровы» также вели борьбу с оккупантами.

Гитлеровцы и власти Виши заметили это и начали «чистку» французской полиции. Но чистка шла сверху, меняли начальство, а мелкие служащие оставались на местах. Оккупанты сотнями арестовывали парижских полицейских и даже комиссаров. Самого префекта полиции Ланжерона они дважды подвергали аресту. После второго ареста, в. конце 1940 г., он куда-то исчез. На его место назначили другого. В очередях рассказывали, что у Ланжерона нашли склад оружия и т. д. Не знаю, насколько это верно. Но Ланжерон благодаря только этим слухам стал популярен в Париже.

Как-то в конце августа 1940 г., подойдя к окну, я увидел, что по Сене плыл караван странных барж — у них были словно отрублены носы и срезаны кормы. Я спустился на набережную. Там вместе с рыболовами сидел и удил рыбу консьерж соседнего дома, человек немолодой и угрюмый. Делать в доме ему стало нечего, и он целые дни проводил на реке, надевая всякий раз для этого «рыболовный костюм» — какие-то немыслимые гольфы, американскую куртку и широкополую соломенную шляпу, хотя для того, чтобы попасть на реку, ему достаточно было перейти улицу и спуститься по каменной лестнице. Но таков уж ритуал парижских заядлых рыболовов. Он угрюмо глядел на поплавок.

— Что это за странные суда? — спросил я у него.

— Странные? Ничуть. Вот уже неделю, как они тут каждый раз проходят. Это просто наши баржи, немцы гонят их к морю.

— А почему у них отрублены нос и корма? Видите, они все сквозные, — прямо как ворота?

— Как почему? Да ведь немцы хотят сделать из них мост, чтобы перебраться в Англию. Приставят их одна к одной, вот и получится мост.

— А дальше что? — спросил я.

— А дальше, должно быть, англичане зададут им перцу. Это наши солдаты и генералы мостов не взрывали, а англичане такого не допустят, — убежденно добавил он.

— Охота вам тут ловить рыбу, — иронически заметил я. Консьерж возмутился:

— Да разве это забава? Я работаю, мосье. Мяса нет, зато мы будем сегодня есть рыбу и завтра будем. Сейчас все ловят рыбу, не только я. Взгляните сами.

И действительно, берега Сены были усеяны рыболовами, как мухами. Над мутной и серой водой Сены колыхался лес бамбука, в радужных пятнах керосина

плавали цветные поплавки. Люди удили сосредоточенно, молча. Это была уже не забава, а рыбный промысел.

Гитлеровское командование, как оказалось потом, действительно отправляло эти баржи на побережье Ламанша и пыталось организовать там переправу через пролив. В начале октября английское радио сообщило миру, что германские части пытались высадиться на английский берег, но были отогнаны и понесли огромные потери.

И другие факты подтверждали это. Через знакомых врачей я узнал, что в немецкие военные госпитали, в городки вокруг Парижа, прибыло огромное количество германских военных, почти все сильно обожженные и без признаков других ранений. Через север Франции, к Германии шли бесконечные санитарные поезда с такими же обожженными солдатами. В Париже говорили, что англичане «зажгли» море, вылив в него горящую нефть, и отразили тем самым вражеское нашествие. Гитлеровцы же об этой своей попытке молчали.

В Париже в начале октября было несколько воздушных тревог, выли сирены, но парижане, боявшиеся раньше воздушных налетов, не испытывали теперь никакого страха. Когда начиналась тревога, все выходили на улицу и с надеждой глядели на небо. Все почему-то были уверены, что в случае налета пострадают именно оккупанты, а не французы. И эти воздушные тревоги стали для парижан источником надежд, а не страха.

Парижане широко использовали затемнение для своих целей. Утром повсюду на тротуарах можно было прочесть начертанные мелом патриотические призывы. Надписи эти покрывали дома, заборы, стены общественных писсуаров. Надо заметить, что во Франции еще в прошлом веке стены уличных писсуаров не раз покрывались антиправительственными надписями.

Позже, зимой 1941 г., когда французское радио в Лондоне посоветовало французам всюду писать букву V (от слова «Victoire» — «виктуар» — победа), все стены и тротуары покрылись этими буквами. Эту букву мы видели на германских военных автомобилях, на немецких танках и даже на спинах немецких солдат. Помню одного немца, важно выступавшего по бульвару Сен Мишель, в самом центре студенческого квартала. Публика оборачивалась на него; немец, не понимая, что происходит, самодовольно ухмылялся. А на его спине белела начертанная мелом огромная буква V.

Тогда же возник и жест, ставший символическим, — поднятая рука с двумя растопыренными пальцами в форме этой буквы.

В ночной темноте патриоты срывали приказы оккупационных властей, равно как и приказы Виши. На витринах французской фашистской газеты «Эвр», редактором которой был предатель Марсель Деа, чья-то рука всюду приписывала цветным карандашом: «Предатель», «Продажная шкура».

Оккупанты стали преследовать этот вид заборной литературы. За сорванное официальное распоряжение германских властей полагалась суровая кара. В апреле 1941 г. оккупанты отдали приказ, по которому за все надписи, сделанные на стенах домов и на тротуарах, отвечали домовладельцы и консьержки. По утрам консьержки старательно стирали с тротуаров и стен эти надписи. Но на другой день надписи появлялись вновь.

Осенью 1940 г. недовольство населения стало принимать все более определенные формы. Начались массовые волнения, французы держались тогда сравнительно смело, так как оккупанты еще не прибегали к зверским репрессиям.

Сперва люди роптали от голода, от холода, лишь смутно ощущая боль обид, наносимых национальному

самолюбию. Постепенно недовольство стало принимать форму национальной борьбы.

Первыми выступили студенты. Их состав к этому времени несколько обновился. В высшие школы вернулись из армии демобилизованные. Они принесли с собой дух возмущения, который овладел армией в дни позорного отступления и военной разрухи. Вначале их протест против оккупантов носил иронический, я бы сказал даже юмористический характер. Как-то раз моя дочь, студентка Сорбонны, прибежала домой взволнованная. Оказывается, к ним во время лекции в аудиторию вошел немецкий офицер и уселся на скамейку. Заметив его, студенты стали выходить из аудитории. В конце концов, профессор остался наедине с немцем и тоже покинул помещение. Немец недоуменно и зло огляделся и направился жаловаться декану.

В ноябре того же года парижане узнали из сообщений лондонского радио о поражении итальянских фашистов в Ливийской пустыне, в Африке. Студенты весьма своеобразно отметили эту новость. Во всем Латинском квартале они прогуливались с воткнутыми в петлицы макаронами, обернутыми в знак траура полоской черной материи.

Но позже такие манифестации приняли более серьезный характер. 11 ноября 1940 г., в годовщину перемирия 1918 г. — праздника победы над Германией, студенты организованно прошли через Елисейские поля, направляясь к могиле «Неизвестного солдата» под Триумфальной аркой. Обычно в этот день у могилы собирались демонстрации различных общественных организаций, они возлагали венки. Впрочем, французы и раньше подшучивали над этим обычаем и острили, что матери «Неизвестного» назначена пенсия. Теперь французам было не до смеха, могила «Неизвестного»

стала символом победы над оккупантами. Студенты дошли до Триумфальной арки. Полиция не допустила их до могилы, и они повернули обратно, затянув «Марсельезу». Французские полицейские пытались уговорить студентов разойтись по домам, но напрасно. Тогда вмешались оккупанты. На студентов набросились немецкие солдаты и по команде офицеров стали их разгонять, избивая прикладами винтовок. Нескольких студентов арестовали и увезли куда-то на грузовиках. О судьбе арестованных ничего не было слышно. Манифестация взволновала город, все о ней говорили и единодушно одобряли студентов.

На другой день по приказу немецкого генерала, коменданта Парижа, все высшие школы и университеты были закрыты. Провинциальные студенты должны были немедленно покинуть Париж, парижских студентов обязали ежедневно являться в полицейские комиссариаты и расписываться. Латинский квартал опустел. Но французская полиция не очень-то строго выполняла этот приказ: она позволяла студентам расписываться вперед на несколько дней или же задним числом.

Вскоре после этих инцидентов оккупанты арестовали знаменитого ученого, профессора физики Ланжевена. Его отвели в тюрьму Сантэ. Здесь он спал на соломе, и только через несколько дней его семье дали разрешение прислать в тюрьму одеяло. Тюрьма Сантэ была поделена между французами и немцами: половина ее числилась за немцами. Ланжевен просидел в Сантэ почти три месяца на «немецкой половине», а в январе 1941 г. его сослали в Труа, рабочий городок, где поселили под надзор гестапо. Население Труа отнеслось крайне внимательно к Ланжевену, имя которого знал каждый француз. Ему приносили провизию, незнакомые люди приходили выразить свою симпатию.

И только французская Академия наук ничего не предприняла в защиту Ланжевена. Реакционеры, засевшие в Академии и позже сотрудничавшие с оккупантами, давно уже питали ненависть к Ланжевену, как одному из виднейших деятелей Народного фронта, бессменному председателю различных антифашистских организаций. Ланжевен, получивший Нобелевскую премию по физике, всемирно известный ученый, был избран членом Академии наук только незадолго до войны, да и то потому, что не избирать его в Академию после присуждения премии было бы просто неприлично перед заграницей.

В Париже упорно говорили, что оккупанты арестовали Ланжевена по указанию французских фашистов из Виши.

Кстати, крупнейший французский писатель первой половины XX века — Ромэн Роллан также не был избран в Академию, хотя академики во Франции очень любят говорить о том, что их наука и искусство стоят вне политики.

Семья Ланжевенов сильно пострадала в мрачные годы оккупации. Гитлеровцы арестовали и расстреляли мужа дочери Ланжевена — молодого французского ученого коммуниста Жака Саломона. Дочь Ланжевена также была арестована и выслана в Германию. Выслана туда была и жена его сына — преподаватель физики.

Наше полпредство во Франции незадолго до ареста Ланжевена пригласило его на работу в СССР. Ученый дал согласие на переезд в СССР, но гитлеровские власти отказали в выездной визе.

В течение почти всей войны Ланжевен находился в ссылке и только к концу ее ему удалось перебраться в Швейцарию. Страдания и лишения, перенесенные им, подорвали его здоровье, и вскоре после войны он умер.

Серьезной опасности в годы оккупации в Париже подвергалась проживавшая там известная немецкая писательница Анна Зегерс.

Однажды зимой 1941 г. она неожиданно пришла к нам на квартиру страшно взволнованная и просила приютить ее у нас, так как каждую минуту она может быть арестована гитлеровцами. Мы, разумеется, с удовольствием помогли ей. Анна Зегерс прожила у нас около двух недель, затем, перебравшись через демаркационную линию, она уехала за границу, в Мексику, к мужу.

После войны мы встречались с ней в Союзе писателей в Москве и вспоминали не раз о таком близком и уже далеком трагическом прошлом.

Осенью 1940 г. оккупанты расстреляли молодого, но уже известного профессора политической экономии Поллитцера и ряд других ученых. Так начался поход против передовых деятелей французской науки.

От преследования гитлеровцев пришлось скрываться известному французскому общественному деятелю архитектору Френсису Журдэну, одному из благороднейших и чистейших людей Франции, горячему патриоту своей страны и пламенному борцу за дело мира. На имя Журдэна было снято помещение Общества культурного сближения с СССР. Мне предложили перевести помещение на мое имя, так как советских граждан в то время оккупанты не трогали. Но как было это сделать без согласия официального съемщика, т. е. Журдэна, находившегося в «нетях»? Юридически владелец дома не имел права передавать квартиру мне без согласия съемщика. А съемщик явиться не мог. Я отправился к владельцу дома, который жил как раз над помещением Общества.

Это был молодой француз, большой любитель парижской старины. Он долго расспрашивал меня об

СССР и признался, что у него и его друзей единственная надежда на Россию, потому что только русские могут освободить Францию от гитлеровцев. В конце концов, этот парижский буржуа перевел квартиру на мое имя, обойдя все формальности.

Но передо мной была поставлена задача не только перевести квартиру на мое имя, но и переправить документы и книги Общества в более надежное место. Таким местом могло быть здание бывшего латвийского посольства, перешедшее в собственность СССР после вхождения Латвии в состав СССР. В начале июня 1941 г., т. е. буквально за несколько дней до нападения Германии на СССР, я заявил владельцу о желании расторгнуть контракт на квартиру и с величайшим трудом перевез все книги и документы Общества в здание бывшего латвийского посольства. По тем временам это было нелегко, так как не было машин и все имущество, а его было немало, пришлось перевозить в огромном крытом фургоне на лошадях. Что сталось с этим имуществом после нападения фашистской Германии на СССР, я не знаю.

Ничего не известно мне также и о судьбе Тургеневской библиотеки в Париже, основанной писателем И.С. Тургеневым и насчитывавшей более 50 000 книг. Среди них были ценнейшие экземпляры на русском языке. В бытность В.И. Ленина в эмиграции эта библиотека являлась одним из центров культурной жизни русской политической эмиграции в Париже. Знаю только, что зимой 1941 г. оккупанты явились в библиотеку, свалили все книги на грузовики и увезли их в Германию.

Но вернемся к событиям осени 1940 г. Во всех парижских кинотеатрах шли тогда немецкие художественные картины и военная хроника. Хроникальные

фильмы всячески подчеркивали поражение Франции, бегство французской армии, победу немцев. Французы выражали свое отношение к хронике свистом и аплодисментами: свистели, когда показывали немецкие войска, аплодировали, когда на экране появлялись французские солдаты, пусть даже пленные. Публика громко смеялась при виде марширующих «гусиным шагом» немецких солдат. Такая реакция публики обеспокоила оккупантов. Они встрепенулись. По приказу коменданта Парижа всякого рода «намерения манифестировать», как говорилось в приказе, были запрещены и стали караться военным судом. Перед началом каждого сеанса в кинотеатрах этот приказ оглашался вслух. Хроникальные фильмы стали показывать при освещенном зале, а рядом с экраном стоял обычно агент гестапо в штатском, внимательно смотревший на зрителей.

Нередко демонстрация фильмов прерывалась воздушной тревогой, публика выходила на улицу и, стоя у входа в кино, с надеждой смотрела на небо. Полицейские разгоняли ее, убеждая идти в укрытие, и не раз в ответ на уговоры раздавались задорные голоса:

— Это не для нас, это для немцев.

Публика одобрительно смеялась. Смеялись и полицейские. Сирена дико выла над черным, мрачным Парижем. Голубые лучи прожекторов рассекали звездное небо.

Но настоящие налеты английской авиации начались лишь весной 1941 г. Английские самолеты налетали несколько раз на аэропорт Бурже, на Виллакублэ. Гитлеровское командование установило вокруг Парижа мощную зенитную артиллерию, и французы любовались трассирующими снарядами, прорезавшими разноцветным пунктиром темное небо. Чем сильнее стреляли германские зенитки, тем сильнее радовались французы: значит, налет был серьезным.

Осенью 1940 г. германское командование не раз устраивало ложные тревоги. Германские самолеты поднимались над Парижем, высматривая, не подает ли кто-нибудь сигналы с земли.

В ноябре 1940 г. гитлеровцы попытались организовать еврейские погромы. Как-то днем я увидел на Елисейских полях небольшую группу молодых французов, неистово вопивших:

— Долой евреев! Смерть евреям!

Они бросали камни в витрины магазинов, разбили огромную витрину знаменитого парижского магазина мебели, принадлежавшего Левитану. Публика смотрела на них враждебно, никто их не поддерживал. Молодые люди смутились и постепенно разошлись. Полицейские не вмешивались, очевидно боясь оккупантов и зная, что это дело их рук. Слишком уж очевидно было, что эти молодчики наняты фашистами. Французы вообще не антисемиты. Тем не менее кое-кто из них клюнул на антисемитскую пропаганду.

Затем оккупанты начали издавать ограничительные законы, направленные против евреев. Официально приказы шли не от них, а от французских властей. Евреев исключали из университетов, запрещали профессорам-евреям преподавать. Ректоры университетов подчинялись этим приказам, не протестуя. Но они все же пытались смягчить в пределах возможного эти меры. Так, одному моему приятелю, профессору медицинского факультета, известному ученому и врачу, ректор сказал:

— Мы вас не исключим, и вы будете получать свое жалование, как и раньше. Но знайте, что лучше пока не показываться на факультете. Мы просто не объявим вашего курса в этом году.

Фактически вся еврейская профессура была отстранена от преподавания. Но среди профессоров-медиков

нашлось несколько человек, которые стали открещиваться от евреев. Так, в парижских газетах появилось письмо за подписью нескольких профессоров Парижского медицинского факультета, заявлявших, что они не евреи, и просивших их «не смешивать с евреями». К своему изумлению, под этим письмом я увидел подписи микробиолога Безансона, терапевта Абрами и некоторых других евреев. Надо сказать, что большинство французских профессоров и, в частности, медиков держали себя с большим достоинством, независимо от политических убеждений. Но высказаться публично они не имели никакой возможности: их заявлений никто бы не напечатал, а их самих немедленно отправили бы в концлагерь.

Согласно декретам из Виши, евреи не могли быть ни служащими, ни чиновниками, ни продавцами, ни биржевыми маклерами, ни торговцами, ни банковскими служащими, — а именно эти-то должности больше всего и занимали евреи. Еще в октябре 1940 г. во все принадлежавшие евреям торговые фирмы оккупанты назначили «управляющих», которые должны были установить, не является ли данное предприятие убыточным. Если оно являлось таковым, его продавали с торгов «арийцам». Управляющий, само собой разумеется, вербовался из «арийцев». В интересах управляющего было показать, что предприятие убыточно, ибо тогда он мог купить его за бесценок. На счета вкладчиков-евреев в банках были наложены аресты.

В оккупированной зоне гитлеровцы не только принимали исключительные меры против евреев, но одновременно пытались вести среди населения антисемитскую пропаганду. Весной 1941 г. на станциях метро и стенах домов были расклеены огромные плакаты, изображавшие Францию в виде женщины, поверженной ниц. Большая

черная птица с головой еврея, широко раскинув крылья, терзает грудь женщины. Из груди жертвы красным потоком льется кровь. Французы с недоумением смотрели на плакат — он не имел подписи. В конце концов французы внесли поправку в этот плакат: ночью на черных крыльях птицы чья-то рука нарисовала свастику, и получилось, что Францию терзали гитлеровцы, а отнюдь не евреи.

В мае 1941 г. гонения на евреев приняли обычную для гитлеровцев варварскую форму. Однажды все евреи-мужчины в Париже получили приказ явиться в полицейские комиссариаты. Там их посадили на грузовики и, не разрешив зайти домой, отправили в концлагеря под Парижем. Около 25000 евреев содержалось в этих лагерях. Люди голодали, спали вповалку на соломе, в невероятной тесноте. Те, у кого были деньги, подкупали французскую стражу и получали через нее продукты. Только недели через две семьям удалось узнать, где находятся их близкие. Позднее, после моего ареста, репрессии против евреев еще более усилились. Их сажали в новые небоскребы в парижском предместье Дранси. Сотни евреев были расстреляны за «бунт», который сводился к тому, что люди, находившиеся в ужасных условиях, протестовали и требовали улучшить их положение. Гитлеровцы на это ответили массовыми расстрелами.

Осенью 1940 г. оккупанты организовали в Париже так называемую «молодую французскую гвардию» (Jeune Garde Française). Эта «гвардия» была попросту погромной бандой. Два штаба ее находились в магазинах — один на Елисейских полях, другой на бульваре Сен Жермен, в Латинском квартале. На витринах этих магазинов красовались антисемитские надписи, а посредине висел большой плакат: «Франция для французов».

Два здоровенных парня в коротких штанах, в синих рубашках, с повязками на рукаве, на которых изобра-

жена черная свастика на фоне национального французского флага, с револьверами в кобуре, стояли перед входом и нагло глядели на публику, словно вызывая ее на скандал. На Елисейских полях бывало много гуляющих, в толпе шныряли германские офицеры и шпионы. Люди собирались вокруг этих парней, иногда из толпы раздавались враждебные возгласы. Молодчики зверски ругались, даже бросались на публику. Полиция не вмешивалась: очевидно, она получила приказ ничего не предпринимать.

Однажды мне пришлось наблюдать такую сцену. Пожилой мужчина, стоявший в толпе, собравшейся перед штабом фашистских молодчиков, заметил:

— А я нахожу, что эти молодые люди проявляют необычайное по нашим временам мужество. Не могу их не одобрить.

— За что же это? — враждебно спросил кто-то.

— Да как же? Вся Франция оккупирована немцами, а эти молодые люди имеют смелость заявлять публично: Франция для французов. Ну как их не похвалить? — иронически добавил оратор.

«Гвардейцы», одобрительно взиравшие на оратора, взглянули на говорившего с яростью, а затем бросились на него. Но он повернулся и исчез. Толпа восторженно хохотала.

Гитлеровские власти с первых дней стали сколачивать в Париже французские общества с прогерманской ориентацией — начиналась эра пресловутого «сотрудничества». Прежде всего, взялись за печать. Нужно сказать, что их усилия не пропали даром.

Газеты во всей Франции, даже в неоккупированной зоне, могли печатать только то, что было угодно гитлеровцам. Оккупационные власти публиковали официальные сообщения, рассылали составленные ведомством

Геббельса статьи. Оккупантам нужны были люди, которые вели бы пронемецкую пропаганду. Они искали таких людей среди французов — журналистов, писателей. И находили.

Прежде всего, гитлеровцы ставили своей задачей убить симпатии французов к Англии и к СССР. Нацистские пропагандисты говорили, что Англия — заклятый враг Франции, что англичане предали Францию, бежав из Дюнкерка и оставив Францию на произвол судьбы. В отношении СССР им приходилось действовать осторожнее.

Они почти ничего не писали и не говорили об СССР. Но время от времени в газетах появлялись заметки, которые преследовали вполне определенную цель: показать французам, что нечего ждать от России. Это сообщалось в противовес всем постоянно рождавшимся во Франции надеждам о выступлении СССР против Германии. Когда прибалтийские республики воссоединились с СССР и Бессарабия вновь стала советской, французы радовались, что обороноспособность Советского Союза укрепляется. Такая оценка событий в кругах рабочих и мелкой буржуазии рождалась самостоятельно, без всякой пропаганды.

Оккупанты систематически и планомерно «организовывали» французскую печать. Они знали, что каждый француз читает «свою» газету, привык к ее тону. Следовательно, надо было кормить его той же газетной пищей, но ввести в нее дозу фашистского яда.

Почти все крупные французские газеты должны были сохранить свои названия и даже сотрудников, последнее было не так-то трудно, если учесть продажность многих органов буржуазной прессы.

Газета «Матэн» не прекращала выхода ни на один день. Подкупленная оккупантами, она и раньше вела прогитлеровскую пропаганду, а теперь продолжала свое гнусное дело. Редакция «Матэн» стала «главным

штабом» гитлеровской цензуры. Еще до начала войны «Матэн» была единственной французской газетой, которую разрешалось продавать в Германии. В германских отелях и кафе на столах всегда лежали свежие номера «Матэн». Редактор газеты Стефан Лозанн — одна из гнуснейших фигур французского газетного мира. В свое время, подкупленный царским правительством, он вел пропаганду в пользу царизма и царских займов во Франции, травил русскую революционную эмиграцию. «Матэн» осталась верна своим традициям: продаваться тем, кто подороже заплатит.

Из крупных газет оккупанты сохранили, кроме «Матэн», еще и «Пти Паризьен». Обеим газетам не пришлось менять ни своего стиля, ни своего содержания.

Их читателями были мелкая буржуазия, парижские консьержки, лавочники.

Для интеллигенции и мелких служащих гитлеровцы сохранили газету «Эвр», во главе которой остался прежний редактор фашист, бывший «неосоциалист» Марсель Деа. С ним продолжали работать сотрудники «Эвр» — де ля Фушардьер, Жак Дюбуэн и Александр Зеваес, бывший социалист.

Для рабочих оккупанты стали издавать новую газету «Франс о травай» («France au travail»). Редактором газеты была назначена весьма гнусная личность — Дьедонне. Это псевдоним известного фашиста, вдохновителя бесчисленных шантажей и скандалов в Женеве, некоего Ольтрамар.

Этот фашистский листок с самого начала взял резко демагогический тон. Французская буржуазия не сразу разобралась в характере этой стряпни и сгоряча решила, что это и в самом деле «рабочая газета». В богатых кварталах буржуа враждебно косились на тех, кто читал «Франс о травай». Помню, в одном фешенебельном

парижском квартале, неподалеку от площади Альма, я спросил в газетном киоске, нет ли номера «Франс о травай», мне с достоинством ответили, что в «их» квартале этой газеты не читают.

Нужно отдать справедливость парижским пролетариям. Они очень скоро раскусили маневр оккупантов и уже через месяц не покупали «Франс о травай». Но гитлеровцы все-таки продолжали ее выпускать.

«Юманите» выходила тайно. Ее печатали на машинке, на плохой бумаге, всего на двух листочках и широко распространяли в рабочих кварталах и на рынках. За ее издателями и продавцами охотились агенты Виши, их сажали в тюрьмы, подвергали побоям. И все-таки «Юманите» выходила, ее читали с жадностью.

Для крупной, «солидной» буржуазии гитлеровцы издавали газету «Ле тан нуво» («Les temps nouveaux»), походившую и форматом и стилем на известную французскую газету «Тан», которая продолжала выходить в Виши.

Печать, руководимая фашистами, оказалась чересчур грубой подделкой: слишком плохо принимала она в расчет французскую психологию и поэтому быстро утратила в глазах французов всякое доверие.

Не надеясь на правдивое освещение событий и положения в печати, французы особенно дорожили радиопередачами из-за рубежа. Несмотря на то, что оккупанты и правительство Виши запретили принимать их, несмотря на штрафы и преследования, радио слушали буквально все. Оккупанты тогда еще не отобрали у населения радиоприемники. Немецкое радио всячески старалось помешать передачам на французском языке из-за рубежа.

Как-то раз, увидев на столе у нашего консьержа целую груду французских мелких никелевых монет, ко-

торые он пересчитывал и прятал в сундук, я иронически спросил:

— Серебра теперь нет, так вы никель храните?

— Вовсе не потому, — ответил он мне обиженно. — Ведь наше радио советует нам прятать эти деньги, так как немцы их забирают: им нужен никель для пуль и снарядов.

Так поступали и французские крестьяне. Оккупанты действительно забирали никелевые монеты, и правительство Виши вынуждено было выпустить новые разменные монеты из какого-то дрянного тусклого сплава.

Передачи же «Радио-Пари» или «Радио-Виши» мало кто слушал. Всякий раз, услышав позывные этого радио, парижане насмешливо напевали рифмованный куплет, которым обычно начинали свои передачи французские дикторы из Лондона:

Radio Paris ment,
Radio Paris ment,
Radio Paris est allemand[1].

Гитлеровцам удалось привлечь на свою сторону часть французских интеллигентов и писателей. Немецкие и французские фашисты начали их обрабатывать задолго до войны. Многие из них были тесно связаны с крупной буржуазией, с интересами 200 семейств. Во Франции писателю с большим трудом удавалось издать свою книгу: издательское дело сосредоточивалось в руках трестов, тесно спаянных с крупными финансовыми предприятиями и банками. Так, фирма Ашетт могла легко провалить любую книгу, неугодную господствующим

---

[1] Радио — Пари врет,
Радио — Пари врет,
Радио — Пари — немецкое.

классам. Издательства разорялись, и Ашетт перед войной постепенно скупала за бесценок все лучшие французские литературные фирмы. Так было куплено издательство «Ла нувель Ревю франсез» и ряд других. Характер выпускаемых ими книг после перехода в руки Ашетт резко изменился. Начинающий писатель должен был платить издательству за первое издание книги, что, понятно, далеко не всем по карману. Литературная карьера зависела от политических связей — приходилось, следовательно, считаться с желаниями влиятельных лиц из политического мира. Ашетт выпускала ряд еженедельников вроде «Вандреди», «Марианн» якобы «левого толка», но правительство и господствующие круги держали в издательствах своих агентов. Последние могли легко дискредитировать журналы, которые приходились не по вкусу их хозяевам. Так случилось, например, с еженедельником «Вандреди», один из редакторов которого был политическим агентом Даладье, а позже стал начальником его кабинета. Многие писатели и интеллигенты строили свою карьеру на политических связях, спекулировали в подходящий момент, как, например, во времена народного фронта, на левых настроениях, а потом переходили в лагерь фашистов. Все это создавало атмосферу неустойчивости, морально разлагало многих писателей. Неудивительно, что в нужный момент крупная буржуазия и оккупанты смогли попросту купить часть их, привлечь к работе в своих интересах.

Так было с писателем Селин, врачом по профессии, которого я знал еще по работе в Лиге наций. Тяжело раненный в голову в первую империалистическую войну, озлобленный неудачами на врачебном поприще, а поначалу и на литературном, он разделял взгляды анархистов, понося все и вся. Потом, прикопив деньжат после выхода в свет нашумевшего романа «Путешествие на край ночи»,

а позднее «Смерть в кредит», он сбросил маску. Селин расспрашивал всех и каждого, как выгоднее и надежнее поместить свои капиталы. Он обрушился на евреев, считая их виновниками своих неудач (в Лиге наций он работал в секции гигиены, директором которой был польский еврей Райхман, сразу раскусивший Селина). Незадолго до войны Селин выпустил гнусную антисемитскую книгу «Безделушки для погрома», написанную, как, впрочем, и все «творения» Селина, похабным, площадным языком. Гитлеровцы перевели книгу на немецкий язык и широко распространили ее. Своими продажными перьями служили гитлеровцам Монтерлан, Шатобриан, Дрие ля Рошелль, Анри Беро, Шарль Моррас и другие.

В январе 1941 г. гитлеровские власти создали в Париже так называемое Национальное объединение. Эта организация была столь явно нацистским детищем, что вожаки ее не посмели даже публично объявить свои имена. Состав комитета этой «партии» никогда не назывался. Известно только, что главным ее трибуном являлся не кто иной, как Эжен Делонкль, один из бывших обвиняемых по делу кагуляров, организовавший в сентябре 1937 г. взрыв на улице Тильзит. Как говорилось выше, тайным главою кагуляров был «сам» Петэн. Тут еще раз перекрещивались нити, которые шли от германского фашизма к французскому. Другой кагуляр, Метенье, сподвижник Делонкля, стал начальником политической полиции в Виши.

Не только рабочие, но и мелкая буржуазия не пошла в «Национальное объединение». Новая «партия» занимала великолепный особняк на улице Фобур Сент Оноре, но и перед домом, и в доме было пусто.

Эта «партия» ввела особый нагрудный значок — трехцветный факел в крепко стиснутом кулаке. Предполагалось, очевидно, что все члены «Национального

объединения» будут носить этот значок. Как-то в метро я увидел француза, на груди которого красовался значок «объединения». Пассажиры так пристально и так явно враждебно смотрели на обладателя значка, что он смутился и, потихоньку отвернувшись в сторону, украдкой снял свою побрякушку. Больше я этих значков не видел: очевидно, предатели не рисковали показывать перед французами свою принадлежность к «объединению».

В Кламаре мне часто приходилось проезжать мимо дома, в котором находилось бюро местного отдела «объединения». На второй же день после открытия бюро жители Кламара выбили в доме все стекла. Стекла немедленно вставили, но на следующий день история повторилась. Кончилось тем, что окна попросту забили досками. Вскоре бюро пришлось закрыть, и на двери повесили огромный замок.

«Объединение» ревностно старалось выполнять задачи, поставленные перед ним гитлеровскими оккупантами: сделать из французов рабов, так сказать, добровольных, по пресловутой формуле Жана Жионо.

В январе 1941 г. «объединение» устроило доклад фашиста Альфонса де Шатобриана в большом подземном зале нового парижского театра Шайо. Темой доклада было «сотрудничество» с оккупантами.

Огромный театральный зал был переполнен. Я с интересом рассматривал публику. В зале собрался весь цвет французской буржуазии и светской интеллигенции: видные писатели и журналисты, крупные промышленники и финансисты, литературные критики, известные парижские коммерсанты, высшая аристократия, люди из группы «Аксион Франсэз» (монархическая газета и организация того же названия), дамы, державшие литературные и политические салоны. Словом, присутствовал так называемый «весь Париж»,

то есть вся верхушка парижской крупной буржуазии и аристократии. В зале было немало и патриотов.

Коридоры театра и все подходы к нему были заняты французской полицией. В саду Трокадеро расхаживали германские патрули. Заседание открылось. Председатель заискивающим голосом сообщил, что на собрание явился немецкий консул в Париже и сейчас пройдет на сцену, чтобы занять место в почетном президиуме. На сцену поднялся плотный человек с типичным лицом немецкого бюргера, со складками кожи на массивном затылке и с головой, похожей на «редьку хвостом вверх». Весь зал захлопал, многие даже встали. Рядом со мной неистовствовали какие-то весьма элегантно одетые пожилые французы, по всей вероятности, крупные промышленники. Во Франции по костюму, по манерам нетрудно узнать врача, нотариуса, адвоката, торговца.

На верхних галереях театра кто-то тихо свистнул. Послышался шум и шепот, вероятно «смутьяна» выводили из зала. Особенно же усердно аплодировали пышные дамы в дорогих мехах, с орлиными носами, характерными для французских аристократок. Они бросали гневные взгляды на тех, кто, по их мнению, недостаточно усердствовал. Одна из них, в салоне которой фактически осуществлялось «сотрудничество» оккупантов с французами, «прославилась» на весь Париж своей фразой: «Они просто очаровательны, эти немцы». Наконец, на сцену вышел докладчик Шатобриан, нескладный бородатый мужчина, типичный французский интеллигент девяностых годов. Начал он издалека, с французского национального духа и «зависимости» его от Германии, говорил бессвязно и на редкость плохо для француза, ибо, как известно, каждый француз — прирожденный оратор. Видно, что тема давалась ему нелегко: надо было обелить гнусность. Что должна была

Франция дать Германии и что должна Германия дать Франции — таковы были тезисы доклада. Впрочем, Шатобриан ограничился первым тезисом и выдал себя с головой. Он говорил о том, что именно французы должны сделать для немцев: забыть прежнюю вражду, признать, что Версальским миром допущены несправедливости, помочь гитлеровцам построить «новую Европу». Этому он посвятил почти все выступление. Но когда он дошел до второго тезиса — что должна дать Германия, речь его стала совсем туманной и, вероятно, не без умысла, ибо формулировать сущность своего «сотрудничества» с французами оккупанты не хотели. Но и коллаборационисты пытались «затемнить» смысл французского сотрудничества. Наконец оратор перешел к сути доклада, к тому, для чего в сущности его и наняли. Он сообщил, что в Париже создается специальная организация по сотрудничеству с Германией, и призвал вступать в нее. День создания организации Шатобриан назвал историческим. Речь шла о «Национальном объединении», которое как раз в этот день официально рождалось на свет. Большая часть присутствующих разразилась аплодисментами при сообщении Шатобриана: они, очевидно, заранее знали об этом и пришли сюда с целью поддержать «доброе» начинание. Но в зале раздался свист.

Публика медленно расходилась. Люди горячо спорили. Полиция на этот раз никого из свистунов не арестовала, а было их немало.

В это время Петэн приступил к созданию организации «Легион бывших фронтовиков». Из «легиона» он мечтал черпать фашистские кадры — опору своей власти. В легионеры принимались не только участники прошлой или этой войны, но и разный сброд. Легионеры носили значок, так называемую «франциску». В Париже и вообще

в оккупированной зоне значок этот не пользовался популярностью. Зато в неоккупированной зоне его носили чуть ли не все. Знакомый врач в Алжире рассказывал мне, что профессора тоже нацепили этот значок, даже те, кто никогда не был в армии: требовалось большое гражданское мужество, чтобы отказаться от вступления в «легион». Он не сделал этого, и, если бы не высадка англо-американских войск в Алжире, ему пришлось бы плохо. Ношение «франциски» в зоне, где властвовал Петэн, или, как французы в Париже презрительно называли ее, «в Петэнии», стало для ряда людей почти обязательным, как признак «благонадежности»: почти все торговцы и спекулянты носили этот значок.

Впоследствии Петэн, убедившись, что в «легион» вступали больше из страха, чем из сочувствия, и что среди легионеров были и враждебные Петэну элементы, выделил особый отряд под названием «Служба порядка легиона». В этот отряд вербовались только закоренелые фашисты, предатели Франции, в том числе многие члены «партии» фашиста Дорио. Впоследствии процесс по делу «Службы порядка легиона» в Алжире показал, что члены его были немецкими шпионами. Они вербовали людей в германскую армию, спускались на парашютах в тыл англо-американских войск в Тунисе и в Алжире, словом, выполняли все то, что должны были выполнять платные агенты.

Но это происходило в зоне, где Петэн насаждал свое «французское государство». В оккупированной зоне организации, пропагандирующие «сотрудничество», имели меньший успех среди широких масс населения.

Наступила холодная и голодная зима. Часто падал непривычный для парижан снег. Нечем было отапливаться. Угля выдавали по 25 килограммов в месяц на семью из трех человек, то есть меньше одного килограмма

в день — три-четыре кусочка. Да и этот уголь не всегда можно было достать. В довершение всего на Новый год в Париже выпал снег. Французское радио из Лондона призывало парижан продемонстрировать свою сплоченность против оккупантов и не выходить первого января на улицу между 2 и 4 часами дня. И действительно, улицы Парижа в эти часы были пусты.

В мирные дни, когда в Париже выпадал снег и подмораживало, горожане отправлялись в Булонский лес, чтобы покататься там на коньках, побегать на лыжах по заснеженным лужайкам. Но теперь оккупанты закрыли Булонский лес, у входа стояли часовые. Официально это запрещение было репрессией за убийство в лесу немецкого переводчика. Но в Париже ходили слухи, что приехал Геринг и поселился в знаменитом отеле-ресторане «Шато де Мадрид». Кстати, в начале оккупации в Париж приезжал Гитлер, но никто из парижан его не видел. Все крайне удивились, увидев в иллюстрированном журнале «Синьяль», издаваемом в Германии на французском языке, фотографию бесноватого фюрера красующимся на высотах Трокадеро.

Зима была тяжелая. Стены парижских домов пропускают холод и не задерживают тепла. Двойных рам в окнах нет, нет печей, а только камины, тепло из которых быстро улетучивается, не прогревая комнаты. Центральное отопление мало где действовало. Отапливались только некоторые богатые дома, где имелись запасы угля. Водопроводные трубы полопались. Водопроводчики куда-то исчезли. Многие парижане отапливали помещение электрическими радиаторами. Но к ним нельзя было достать проводов, так как оккупанты забрали весь материал, всю проволоку. Голодные люди плохо переносили холода. По карточкам выдавалось по 275 граммов хлеба в день, по 225 граммов мяса в неделю, считая и кости (на деле же

с января 1941 г. жители получали мясо раз в две-три недели и то не полностью — по 150–200 граммов). Рыба, овощи не были нормированы, но практически, кроме салата, достать что-либо из овощей было трудно.

Существовать на официальный паек, разумеется, никто не мог. Приходилось добывать пищу на стороне. Для этого имелось два нелегальных способа: черный рынок и поездки в провинцию.

В начале зимы черный рынок процветал. Потом и здесь продукты стали исчезать. Франция окончательно разорилась. Гитлеровцы обобрали провинцию. Каждый день германские солдаты обходили крестьянские дома и фермы, «скупали» яйца, масло, молоко, птицу. Им было неизмеримо выгоднее платить французам ничего не стоящими бумажками, чем вызывать недовольство населения, отбирая продукты.

Постепенно черный рынок стал доступен только очень богатым людям. Средние и мелкие буржуа разорялись. Цены росли. В делах был полный застой, банки проводили сокращения служащих, заводы, не работавшие на оккупантов, увольняли рабочих или же прекращали свое существование. Торговать стало нечем, мануфактура исчезла. В больших универмагах продавщицы встречали покупателей неприветливо, почти грубо, и всячески старались скрыть от них то немногое, что еще оставалось в магазине. Как-то жена спросила знакомую продавщицу, почему они так поступают. Та объяснила:

— У нас почти нет товаров и новые не поступают. Когда кончаются товары, отдел закрывают и увольняют служащих. А куда мы денемся? Вот мы и затягиваем распродажу, отгоняем покупателей, чтобы подольше протянуть.

Французские власти издали приказ, по которому ни один владелец магазина не имел права закрыть торговлю

и распустить служащих, даже если ему нечем торговать. Мелкие торговцы, не имеющие служащих, а теперь и товаров, оставляли свою лавку открытой, а сами промышляли на черном рынке или же часами сидели у дверей, толкуя о событиях.

Рабочие, служащие, интеллигенция могли доставать продукты только одним путем: сесть в поезд или на велосипед и отправиться в провинцию. Велосипед еще можно было найти, хотя платить за него приходилось дорого. Велосипеды стали единственным средством сообщения с провинцией, а также служили для перевозки багажа. В январе 1941 г. появились даже такси-велосипеды: маленькая колясочка на два места, на велосипедных колесах, которую тащили два велосипедиста. При подъемах в гору им приходилось слезать с машин и везти колясочку руками. Стоили эти такси дорого, и их было очень мало. Парижское население с первого же дня возненавидело эти «такси». Парижане видели в них унижение человеческого достоинства. Особенно их возмущало, когда в такие такси усаживались гитлеровские солдаты — офицеры их не нанимали. Поначалу парижане набрасывались на этих парижских «рикш», портили машины, ломали колясочки. Потом постепенно привыкли, но пользовались этим видом транспорта крайне редко.

Надо сказать, что и гитлеровские солдаты этим видом транспорта пользовались мало: в их распоряжении были автомобили.

Париж стал городом велосипедистов. Такси и грузовики совершенно исчезли. По пустым улицам с большой скоростью носились только германские военные машины.

На почве недоедания здоровье населения Парижа катастрофически ухудшалось. Смертность превосходила рождаемость более чем вдвое. Крупных эпидемий,

правда, не было, но люди умирали от обострения хронических болезней, туберкулеза и т. д.

В городских больницах питание настолько ухудшилось, что больные предпочитали лечиться дома, больницы пустовали. Многие больные перестали ходить на консультации, так как не могли выполнять советов врачей, не могли получить нужных лекарств, которые, впрочем, исчезли из продажи. Пропал перевязочный и антисептический материал: его также забрали оккупанты. Оказавшись отрезанными от всего мира, французы поняли, как много, и притом самого необходимого, получали они из-за границы: рис — из Индокитая, пряности — из Индии и т. д. Мало знавшие экономику своей страны, они теперь основательно изучили ее на собственном опыте.

У частных врачей количество пациентов сократилось, хотя и самих врачей стало значительно меньше: большинство не вернулось из великого исхода, врачи-евреи постепенно перебирались в неоккупированную часть Франции, где их по крайней мере не расстреливали. Но и там им пришлось нелегко: правительство Виши к началу весны 1941 г. вообще лишило их права практики.

Чуть лучше кормили в хирургических клиниках. Когда положение с продовольствием в Париже особенно осложнилось, в эти клиники устремились в огромном количестве больные — не для операции, а для того, чтобы хоть немного подкормиться. Если при этом им вырезали отросток слепой кишки или вправляли грыжу, они не протестовали. В Париже разразилась, таким образом, настоящая эпидемия хирургических операций.

Но хирургам стало трудно работать: не хватало перевязочного материала, инструментов, резиновых перчаток.

По официальным данным, средняя смертность во Франции обычно составляла около 15 на 1000 жителей в год. В 1940 г. она сразу подскочила до 18,5, а в

1944 г. — до 19,6 на 1000 жителей. Почти на 30 % увеличилась смертность от туберкулеза. В действительности смертность была более значительной, так как в приведенные данные, во-первых, не вошло число военных и гражданских лиц, погибших в результате военных действий. Во-вторых, сюда не вошли данные о казненных оккупантами и властями Виши людях, число которых достигало нескольких десятков тысяч. Особенно возросла смертность в Париже и в других крупных городах Франции, так как продовольственное положение там было особенно тяжелым.

«Продовольственный фронт» отодвигался от Парижа все дальше и дальше. В окрестностях столицы продукты исчезли уже в мае 1941 г., приходилось ездить за ними за 100–200 километров. Редкие поезда были переполнены парижанами, по дорогам двигались тучи велосипедистов. Но достав продукты, надо было еще провезти их в Париж, укрыть от обыска, избежать конфискации. Как только ни изощрялись люди! Сначала продукты прятали на себе, старались смешаться на вокзале с толпой, в расчете на то, что удастся пройти незамеченным. Но как это сделать, когда каждый вез продукты? Оккупанты и агенты Виши знали, что в провинцию теперь ездили не ради прогулки, а за едой. Иногда люди сходили на какой-нибудь станции, не доезжая Парижа, и оттуда шагали пешком до ближайшей станции метро — там контроля в ту пору еще не установили. Весной 1941 г. из Парижа начали курсировать автобусы в предместья и окрестности города — население широко пользовалось ими для поездок за продуктами.

В школе, которой руководила моя жена, возобновились занятия. Но детей в Париже осталось мало. Родители старались устроить их в провинции, где

прокормиться было все-таки легче. Много детей осталось после великого исхода в неоккупированной зоне. Число средних школ («лицеев») сильно сократилось, так как лучшие помещения заняли оккупанты. В Париже и раньше-то детей было не очень много, а теперь они стали редкостью. Это еще более подчеркивало угрюмость парижской жизни. Не слышно было детского беспечного смеха, по улицам молча шли озабоченные, мрачные и голодные люди.

Как и в большинстве домов, в школе моей жены не было угля. Но зато школа стояла в большом саду, под Парижем. Каждый год в саду подрезали деревья, срубали сухие ветки и суки и складывали их тут же. Раньше их никто не хотел покупать. Но теперь они пригодились: школу как-никак отапливали.

Дом и сад принадлежали крупному парижскому буржуа, инженеру по профессии, администратору различных коммерческих предприятий, сыну бывшего директора знаменитого парижского универмага «О Бон Марше», некоему Касло. До войны Касло, ярый фашист, «работал» у кагуляров. Женат он не был, жил один в огромной квартире в Париже, вел разгульную жизнь, любил, как и все французские буржуа, деньгу и не прощал должнику ни одного сантима. В общем это был типичный французский буржуа того времени, тративший в кутежах накопленные предыдущим поколением богатства, но жадный до наживы.

Все это не мешало ему быть судьей в Парижском коммерческом суде.

Как-то в январе 1941 г. он явился в школу в сопровождении германского офицера. Был он по обыкновению пьян.

Войдя в сад школы, Касло сразу заметил штабели дров.

— Как, да ведь это мои деревья! — заорал он. — Это мое. Немедленно забираю все с собой.

Одна из учительниц объяснила ему, что эти дрова напилены из обрезанных сучьев и мертвых стволов и что по арендному договору они принадлежат школе.

— Для школы эти дрова, — говорила она, — вопрос жизни, отапливать нечем, нельзя же допустить, чтобы дети мерзли.

Но Касло был неумолим.

— Дрова мои, — твердил он, — и завтра же я пришлю за ними грузовик.

Вскоре после того как он ушел, к школе действительно подкатил немецкий военный грузовик. Учительница, встретившая грузовик, хорошо говорила по-немецки. Она потребовала от шофера, чтобы он показал ей приказ о реквизиции дров. У шофера такого приказа не оказалось.

Как всякий немец, он знал, что приказ должен быть и что без приказа немец ничего делать не должен.

— Но ведь это для господина Касло, — попытался было он схитрить. Ему ответили, что без приказа о реквизиции никто дров не даст. Немец помялся, помялся, сказал: «Яволь» — и уехал за приказом.

Тем временем я отправился в местную комендатуру. Там меня принял немецкий капитан, высокий, белобрысый, типичный прусский юнкер. Я объяснил ему, что произошло, и намекнул, что Касло хотел совершить форменный грабеж, прикрываясь именем немецкого офицера, который, не разобравшись, в чем дело, предоставил ему грузовик.

— Мы никому не позволим пользоваться именем германской армии для устройства своих личных дел, — сухо, ответил мне комендант.

— Что же мне делать? — спросил я.

— Вам больше ничего и не надо делать. Грузовик к вам в школу больше не вернется. Мы произведем расследование относительно герра Касло.

Немец явно решил разыграть передо мной «законника», и грузовик за дровами больше не приезжал.

В феврале 1941 г. часть помещения школы была реквизирована. Оккупанты заняли интернат, а в самом здании школы поселился немецкий фельдфебель — некий Браун, человек уже немолодой. Где он служил, я не знаю, но было похоже на то, что в гестапо: очень уж он внимательно приглядывался ко всему, что делалось в школе, все время пытался вступить со мной в политические разговоры. Вначале он вел себя прилично, хотя и твердил все время о превосходстве германской расы над латинской, о том, что французы вырождаются и т. д. Но потом стал напиваться, сначала изредка, а потом все чаще и чаще возвращаясь домой мертвецки пьяным. Кухарка школы с помощью одной из учительниц втаскивала его по лестнице на третий этаж, где ему отвели комнату. На другой день он вставал как ни в чем не бывало. Пьяным он не становился веселей и, напившись, валился, как мешок.

Перед немецкой оккупацией французские власти перевезли большинство заключенных на юг, в лагери Ле Верне, Гюрс и т. д., в одном из которых мне пришлось потом сидеть. Убегая от германских войск, французские власти Даладье и Рейно тащили в своих когтях политических врагов. Под Парижем они побросали все: укрепления, военное имущество, оружие и войска, но зато увезли на юг страны чуть ли не всех антифашистов. Чтобы не возбуждать толков, на вагонах, в которых переправляли заключенных, жандармы мелом писали: «парашютисты». И на станциях публика, прочитав надпись, всячески поносила арестантов, грозила расправиться с ними самосудом.

Были и такие лагери, администрация и стража которых попросту бежали при приближении германских частей, оставив заключенных на произвол судьбы. Ясно, что заключенные, беспрепятственно выйдя из лагеря, разъехались но домам. Бывали случаи, когда вагоны с политзаключенными прицепляли к поезду, везшему снаряды. Так было с одной из наших знакомых, политэмигранткой из Италии. Как антифашистка, она была арестована в Париже в 1939 г. и заключена в тюрьму. В тюрьме просидела вплоть до июля 1940 г. Администрация тюрьмы получила приказ вывести всех политических заключенных из Парижа. Их посадили в вагон — большинство были итальянцы-политэмигранты — и прицепили к поезду, шедшему в Бретань. Этот поезд вез в Бретань… снаряды. В пути политических заключенных почти не кормили. Германские войска приближались к Парижу, их самолеты владели небом Франции. И случилось то, что должно было случиться: когда поезд со снарядами стоял на вокзале в Ренн, налетели германские самолеты и сбросили бомбы. Все вагоны были разбиты, погиб почти весь военный эскорт поезда, а вагон с политзаключенными в силу какой-то действительно чудесной случайности один из всего состава остался невредимым. И хотя французские власти потеряли голову, они не забыли прицепить этот вагон к другому поезду, довезти заключенных до Нанта, где их снова посадили в тюрьму! В тюрьмах люди умирали от голода, заключенному выдавали в день маленький кусок хлеба и несколько ложек отвратительного супа — горячей воды с капустой. Когда германские войска заняли город, заключенные потребовали немецкого коменданта. Но администрация заявила, что тюрьма подчинена французам. Так бы заключенные и не добились своего, если бы германские власти не прослышали про тюрьму и сами не заглянули

туда. Выслушав жалобы, немецкие власти заявили, что итальянцы — «их союзники», и выпустили всех на свободу. Они, вероятно, предполагали, что заключенные итальянцы были фашистами. Их поселили в казарме и несколько дней отлично кормили.

Когда же итальянцы выразили желание вернуться в Париж, немцы снабдили их на дорогу консервами, разумеется, французскими. И вот наша знакомая явилась к нам в Париж с чемоданом, полным всякой снеди, свободная, но без документов, так как при аресте у нее отобрали их.

В Париже ей пришлось претерпеть немало злоключений. Сначала французские власти оставили ее в покое, вероятно, опасаясь оккупантов. Но весной 1941 г., когда гитлеровцы сами взялись за политэмигрантов и антифашистов, французская полиция вызвала нашу знакомую и предложила ей в кратчайший срок покинуть Францию. Ехать в Италию — означало попасть в лапы итальянских фашистов. В конце концов, она с мужем осталась во Франции. Что с ними стало затем, я не знаю.

Население Парижа прожило всю зиму в надежде на изменения в лучшую сторону, которые должны были бы произойти с наступлением весны. Но надежды эти не оправдались.

Наоборот, гитлеровцы, готовя удар против СССР, продолжали обирать жителей. Мелочные лавки пустовали. Торговцы всеми правдами и неправдами доставали на Центральном рынке немножко продуктов, но это была капля по сравнению с тем, что требовалось населению. Так, торговцу маслом давали на неделю 10–12 килограммов масла и то после долгого стояния в очереди. К мясникам привозили мясо с боен, но почти тотчас же его скупали немцы для парижского гарнизона. Немецкие солдаты брали лучшее мясо без костей и

увозили на грузовиках в отели, где жили офицеры. Стоявшим в очереди покупателям-французам мясник мог предложить только кости на бульон.

Возмущение охватывало голодных людей. «Что же, они будут жрать мясо, а нам оставляют кости?» — кричали в толпе.

В это же время в Париже пышным цветом расцвело меновое хозяйство. Торговцы требовали за продукты от покупателей продуктов или товаров; сделки совершались в задней комнате лавок. Так, мясник менял часть мяса у молочника на масло, молоко, яйца; зеленщик брал за овощи рыбу — и так до бесконечности. Продукты расходились по друзьям и родственникам лавочников или шли на обмен с другими лавочниками. Парижанам почти ничего не доставалось. В голодном и холодном Париже 1941 г. только лавочники и питались сравнительно сносно.

А как прекрасен был тогда Париж в весеннем наряде! Вдоль улиц и проспектов цвели каштаны, липы, зеленели платаны и как-то особенно нарядно выступали на фоне молодой, нежной зелени здания, памятники, сады, парки. Зато в метро, переполненном пассажирами, открывалась вся картина страданий Парижа. Почти все пассажиры везли узлы, чемоданы, портфели. Каждый, уходя из дому, брал с собой чемоданчик или портфель в надежде по пути перехватить за любую цену немного продуктов. Разговоры в метро вращались почти исключительно вокруг еды. Похудевшие бледные люди с изможденными лицами вспоминали о былых днях, на ухо сообщали соседу, где можно достать провизии. И если улицы казались пустынными, то метро всегда было переполнено: подземный Париж жил своей особой, странной жизнью.

Еще в декабре 1940 г., когда Париж страдал от голода и холода, оккупанты пошли на своего рода дипломатический трюк. Во всех газетах было объявлено, что

германское правительство «согласилось» перенести в Париж останки «Орленка», сына Наполеона, умершего, как известно, в австрийском плену, в Шенбрунне. Гитлеровцы «согласились» на то, о чем их никто не просил. Интересно, что даже в 1918 г., диктуя в Версале условия мира, французское правительство не додумалось до того, чтобы потребовать у Австрии прах наполеоновского ублюдка.

Дальнейшие события развернулись с невероятной быстротой. На другой же день после этого сообщения, которое дало повод продажным газетам восхищаться «великодушием» оккупантов, останки «Орленка» оказались уже в Париже. Быть может, это были даже не кости «Орленка» — просто немцы набрали каких-нибудь костей (трупов тогда хватало) и бросили их французам, надеясь отвлечь их от тяжелой действительности. С вокзала останки «Орленка» были торжественно перевезены в Дом инвалидов и помещены рядом с могилой Наполеона.

Дом инвалидов, разумеется, с самого же начала заняли германские войска. Перед изумительным по красоте зданием с золотым куполом, у решетки, огораживающей вход во двор, ходил деревянным шагом немецкий часовой, от одного вида которого Наполеон, вероятно, перевернулся бы в гробу. Каждый день здесь останавливались автокары, привозившие целые батальоны немецких солдат с офицерами, «туристов», осматривающих Париж. С ними приезжал француз-переводчик. Солдаты выстраивались во дворе и в ногу, тем же деревянным шагом шли в отель отдать честь праху колотившего когда-то пруссаков французского полководца. Они тупо слушали объяснения гида, фотографируя могилу, отель и все, что попадалось под руку.

Теперь отель был на три дня открыт для французов, приходивших сюда почтить память «Орленка». Огромная

очередь парижан выстраивалась каждый день у входа и медленно, в благоговейном молчании дефилировала перед могилой Наполеона. Но напрасно оккупанты думали, что, выбросив парижанам кости наполеоновского сына, они заставят их забыть о голоде и примириться с победителями. Французы, идя к праху «Орленка», демонстрировали свою ненависть к оккупантам.

Гитлеровская затея с треском провалилась.

Такие же манифестации повторялись каждый день в театрах. Французы не свистели при виде оккупантов, не желая поплатиться за это свободой, а быть может, и жизнью. Но они бурно аплодировали всему, что говорило о Франции, о ее былой славе.

Быть может, поэтому в театрах ставили старые, классические пьесы французского репертуара. Шел «Сирано де Бержерак» Ростана, шла «Мадам Сан Жен». И когда в этих пьесах актер по ходу действия прославлял Францию или кричал: «Вив ля Франс!», театр дрожал от рукоплесканий. Забавно, что хлопали и немецкие офицеры, посещавшие французские спектакли; они, по-видимому, думали, что аплодисменты относятся к игре актера, который был особенно хорош в этой сцене. С какой уничтожающей иронией смотрела на них в это время публика!

С осени 1940 г. оккупанты начали вербовать в Париже рабочих для Германии. Брали они всех — итальянских антифашистов и русских белоэмигрантов. На всех станциях метро, на стенах домов были расклеены объявления германских властей, суливших льготы для едущих на работу в Германию. В городе было открыто несколько контор по найму рабочей силы по контрактам.

Французы с самого начала на это дело не пошли. Немецкие объявления срывали со стен. Оккупационным властям пришлось даже издать специальный де-

крет, грозивший строгими карами за срывание объявлений. Вербовка провалилась.

Но оккупантам удалось набрать рабочих на военные заводы во Франции. Брали они и женщин, которые шли на заводы, чтобы спастись от нужды.

Затем гитлеровцы начали охотиться на безработных. Они просматривали в мэриях списки, созывали безработных и предлагали им либо немедленно поступить на работу, либо сняться с учета. Оккупанты отправляли безработных в Бретань и в приокеанскую полосу на строительство укреплений. Тысячи парижских безработных, даже старики, были посланы в Брест, в Шербур, в Нант.

Многие безработные, не желая работать на оккупантов, снимались с учета в мэрии.

Тысячи французских коммунистов жили на нелегальном положении. Трудно приходилось им не из-за отсутствия соответствующих бумаг — бумаги можно было добыть. Самое трудное было — жить без продовольственных карточек. Товарищи делились с ними своим скудным пайком.

Интеллигенты были не нужны гитлеровцам, французы — тем более. Им требовались рабочие, специалисты, а командные посты в промышленности они оставляли за собой.

Одно время я решил работать в больнице, как работал и до войны. Но во главе больничного управления стоял профессор Танон, мрачный человек, реакционер, который крайне враждебно относился к русским. А между тем больницы изнемогали без врачей, интернов, ординаторов и т. д. Управление городскими больницами вывесило приказ, по которому отрешались от всех званий врачи и интерны, покинувшие свои посты во время «исхода». Оно забыло об одной мелочи:

сами-то служащие больничного управления первыми сбежали из Парижа.

В мае 1941 г., в день празднования памяти Жанны д'Арк, национальной героини Франции, французское радио из Лондона обратилось ко всем парижанам с призывом пройти в полном молчании, глядя друг другу в глаза, перед памятником «Орлеанской Деве».

Огромная процессия прошла в этот день по улице Риволи мимо памятника Жанне. Начиная от площади Этуаль, все улицы, ведущие к памятнику, были заполнены народом.

...Манифестанты шли, глядя друг другу в глаза, вероятно для того, чтобы чувствовать себя более сплоченными. У памятника собралась огромная толпа. Французские полицейские и комиссары теснили толпу с мостовой к тротуару, но делали это мягко, без обычной для них грубости. Видно было, что и они солидарны с толпой. Мне запомнился молодой полицейский. К нему подошел немецкий офицер и что-то спросил. Полицейский вежливо ответил, приложив руку к козырьку, но как только офицер отошел, полицейский сделал за его спиной мальчишеский жест, обозначавший: «Убирайся ты ко всем чертям!»

— Сами понимаете, что мы тоже французы и тоже чтим нашу Жанну, — открыто говорили полицейские толпе. — Не наша вина, что мы вынуждены наводить порядок. Вы знаете, манифестации запрещены немцами. Не толпитесь так, господа, держитесь тротуара.

И толпа, словно в благодарность за эти слова, на этот раз послушала полицейских и вела себя дисциплинированно.

Немецких войск не было видно. Очевидно, оккупанты решили не вмешиваться. В толпе запели «Марсельезу», нестройно, как всегда поют во Франции.

По улице проехали автомобили с германскими офицерами. Толпа освистала их, улюлюкая вслед. Затем направилась на авеню Оперы.

## Бегство и арест

В яркий солнечный день 22 июня 1941 г. — было воскресенье — нас разбудил знакомый француз, сообщивший, что Германия напала на СССР. Не поверив ему, мы включили радио и голос московского диктора-француза возвестил о начале войны, повторяя без комментариев московское радиосообщение.

Оставаться в Париже стало невозможно. Все иностранцы, в частности советские граждане, состояли на учете в полиции. Решали часы, если не минуты. Но куда бежать и как?

Дочь отправилась на велосипеде в советское полпредство на улице Гренелль. Через полчаса она вернулась взволнованная. С шести часов утра здание полпредства оцепили немецкие солдаты и французская полиция. Всех приходящих туда немцы арестовывали.

Оставался только один путь — пробраться в Виши, перейти «демаркационную линию», установленную немцами между оккупированной и неоккупированной зонами.

Перейти границу между зонами можно было только нелегально. Тысячи французов занимались тем, что переводили людей через линию.

Неимущих военнопленных французы переводили бесплатно, самоотверженно рискуя собой. С богатых обычно брали франков 300–500 и больше.

Рано утром 23 июня я распрощался с семьей и выехал поездом в город Бурж, близ которого проходила демаркационная линия. По имевшимся сведениям, именно там было легче всего перейти границу. К тому

же начальником французской полиции в этом городке был патриот, сторонник «Сражающейся Франции». К нему-то и направили меня парижские знакомые. Весь мой багаж уместился в маленьком ручном чемоданчике. Позже, зимою, очутившись в концлагере без вещей, я нестерпимо страдал от холода, так как не взял с собой никакой зимней одежды.

Долго, долго смотрел я из окна вагона на фигурку моей жены, затерявшуюся среди толпы, которая наводнила платформу. Мы расставались надолго, быть может, навсегда. Мировая буря захлестнула и нас. И теперь, когда я пишу эти строки, я думаю о тех, кто тогда остался в руках у гитлеровцев, о всей истерзанной, разграбленной, замученной Европе. Миллионы людей испытывали то же самое, что и я, покидая дорогие им места. Все надежды миллионов людей возлагались на Советскую Армию. Еще никогда в истории столько сердец не билось в унисон с сердцем этой армии. Советская Армия стала родной для всего человечества.

Поезд был переполнен. Оккупанты угнали в Германию лучший подвижной состав, и вагонов не хватало. По пути мы встретили несколько эшелонов с немецкими войсками, орудиями, танками. Их гнали на восток. Мрачные солдаты хмуро глядели в окна.

В нашем поезде, как и повсюду во Франции, несколько вагонов было отведено специально для немцев. В одном из них дремали три-четыре офицера. Французы злобно смотрели на этот пустой вагон, но молчали, уткнувшись в газеты, где была помещена речь Гитлера о нападении на СССР.

В прежние времена французы любили поспорить о политике. Во время германской оккупации они дорого поплатились за эту привычку. И теперь, наученные

горьким опытом, все молчали и лишь изредка обменивались многозначительными взглядами.

Накануне моего отъезда мы бродили с женой по улицам воскресного Парижа, чтобы посмотреть, какое впечатление произвело на французов известие о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Как нам показалось, французы от этой вести несколько растерялись.

Франция не верила в себя, она не в состоянии была своими силами свергнуть немецко-фашистское иго. Она могла только ждать освобождения от других. Но от кого? Англия не сдавалась и продолжала бороться, надеясь накопить силы и победить. В начале сентября 1940 г. англичане пресекли попытку германских войск прорваться в их страну. Но она замерла. Ее самолеты лишь отражали немецкие атаки. А французам было очень трудно ждать. Они жадно старались подметить признаки того, что Англия скоро двинется… Но вотще.

И вот теперь на Востоке началась война. Против гитлеровцев была армия, о которой столько лгали… Но никакая ложь не могла скрыть от французов, что эта «загадочная» армия — огромная сила. Французский народ чувствовал горячую симпатию к СССР. Рабочие, мелкие коммерсанты, служащие говорили о России, как о верном союзнике французского народа.

Крупная буржуазия, реакционные банковские служащие, прислужники гитлеровцев вроде Дрие ля Рошелля и Шатобриана тоже радовались, но по-иному.

Гитлер, по их мнению, спас Францию от революции и коммунизма. А теперь Гитлер покончит с коммунизмом в СССР.

«Германия в два счета расправится с Россией». В этот «тезис» геббельсовской пропаганды французские фашисты слепо верили.

В Бурж поезд прибыл в полдень. На вокзале было много немцев. Однако документов ни у кого не спрашивали. Захватив чемоданчик, я пошел в город разыскивать знакомых и ночлег. Кафе, которое мне указали, оказалось в центре города, в старинном доме с башенкой, выходящем на две улицы. Хозяин типично французского «бистро» принял меня нелюбезно, но когда услышал условный пароль, оглянулся, хотя в кафе не было ни души, и провел меня наверх. Отведенная мне комната находилась в угловой башенке, и из окна можно было видеть все, что делается вокруг.

Привел — и посоветовал не выходить. «Луиза будет через час», — сообщил он. Через час, действительно, пришла Луиза, молодая девушка-санитарка, беженка с севера Франции. Я знал, что она уже перевела через «линию» свыше 800 французских пленных. Девушка была тихая, спокойная, но решительная с виду.

— Трудно теперь переходить, — сказала она. — Попробуем завтра в три часа!

На другой день она зашла за мной, провела в какой-то двор. Там стояла машина, у которой возился молодой человек. Девушка дала ему адрес и сказала, что будет там ждать нас через два часа.

Мы помчались куда-то вперед. Ехали час, полтора, доехали до каких-то ферм, расспрашивали пастухов. Никто указанного нам адреса не знал. Луизы тоже нигде не было.

— Раз Луизы нет, значит дело не вышло, — сказал мой провожатый. Мы вернулись обратно в Бурж. Луизу я увидел на следующий день.

— Придется ждать новой оказии, — сказала она.

Потянулись томительные, скучные дни в комнатушке над кафе. Внизу толпились люди, большей частью рабочие. Они тихонько говорили о политике, но, когда появ-

лялся посторонний, умолкали и начинали пить белое вино — единственное, что имелось в кафе. Часто заходили сюда и французские полицейские. Они обращались к рабочим и к хозяину, как к старым приятелям, разговоры о политике при них не смолкали. Я выходил из комнаты только в ресторан да вечером в кино, где никто не мог меня заметить. Жил, понятно, без прописки, поэтому хозяин просил меня по городу не ходить. Все-таки мне удалось осмотреть знаменитый собор, чудо архитектуры XIV века. Напротив моего окна был городской сад с эстрадой для музыкантов. Каждый день туда парадным маршем являлся немецкий военный оркестр. К этому часу ни одного француза в саду не оставалось. Немцы добросовестно играли без слушателей, в пустом саду.

На стенах домов пестрели красные и синие объявления на немецком и французском языках, в них сообщалось о расстрелах по приговору военного суда за саботаж.

Повидал я и чиновника полиции, к которому меня направили мои парижские друзья. Принял он меня сердечно, пригласил пообедать в лучшем ресторане города.

Чиновник, между прочим, сообщил, что он уже смещен, а его помощник арестован германскими властями. Печати у него отобраны. Словом, он сейчас ничего не мог для меня сделать.

Оставаться дольше здесь было невозможно. Вечером хозяин познакомил меня с местным пожарным, который лихо заявил, что перебраться через зону — плевое дело и что завтра же он все устроит, если я только не испугаюсь. Он велел мне не бриться и не мыться. Пожарный (назову его Рошетт) сказал, что даст мне одежду.

Рано утром он пришел в кафе и принес рваную синюю куртку, такие же штаны, помятую кепку, топор и пилу. Я должен был в качестве лесоруба идти в лес на работу. Напялив куртку и штаны на городской костюм,

привесив топор к поясу и перекинув пилу через плечо, я поглядел на себя в зеркало: ну кто скажет теперь, что я не заправский лесоруб?

Пожарный захватил по дороге велосипед, привязал к нему мой чемоданчик:

— Идите прямо по этой дороге, километров десять, а там я вас обгоню и покажу, где сворачивать!

Я зашагал по прекрасному гудронированному шоссе. Народ шел на работу, крестьяне ехали в поле. Над городом кружили германские самолеты. Сначала мне казалось, что все догадываются, кто я такой, но, после того как несколько встречных обратились ко мне на «ты», я вошел в роль, и мне самому начало казаться, что я лесоруб и иду на работу.

В шести километрах от города мне повстречался германский автомобиль с офицерами. Завидев меня, он остановился. У меня екнуло сердце.

Один из офицеров на ломаном французском языке спросил у меня дорогу в какую-то деревню, о которой я не имел ни малейшего понятия. Ответить, что я ее не знаю, значило показать, что я не здешний. Поэтому я смело стал фантазировать и объяснять им, как туда проехать, где свернуть и т. д. Офицер повторял мои слова и отмечал на карте.

Автомобиль умчался, а я, опасаясь, что он может вернуться, зашагал еще быстрее. Меня обогнал на велосипеде Рошетт и на ходу сказал:

— Сверните на первую дорогу налево в лес и идите к домику лесного сторожа. Я буду там. А главное — не останавливайтесь!

До поворота осталось метров пятьсот, не больше. На шоссе, прямо передо мной, стояли немецкие часовые, и путь был загорожен колючей проволокой. Там была граница.

С бьющимся сердцем я свернул на лесную дорогу. Справа в три ряда колючая проволока, за нею так называемая свободная зона, слева — лес. И прямо передо мной шагает немецкий пограничный патруль в 15–20 солдат с собакой-ищейкой.

Я замедлил шаг, чтобы не обогнать патруль… Солдаты шагали быстро, не обращая на меня внимания. Вот они повернули и исчезли за поворотом. Когда я дошел до поворота, на дороге никого не оказалось!

Я пошел быстрее и в кустах налево услышал немецкий говор. Патруль залег в канаве и наблюдал за дорогой. Отступать было поздно. Я прошел мимо, будучи уверенным, что меня окликнут, спросят документы. Будь я одет по-городскому, так оно и случилось бы. Но старый лесоруб, спокойно идущий на работу, не возбудил у них сомнений. Меня никто не окликнул.

Метров через триста проволока оборвалась. Там стоял домик лесного сторожа, и к нему вела дорога, перегороженная рогаткой из колючей проволоки. Рошетт стоял у домика и что-то пилил. Я повернулся к нему — теперь я был за проволокой, но опасность еще не миновала. Рошетт быстро прошептал, продолжая пилить:

— Ступай прямо по просеке, не оглядывайся, пока я тебя не обгоню. Немцы имеют право стрелять на 300 метров в свободной зоне.

Я зашагал по просеке. В лесу было тихо, мирно жужжали насекомые. Прошел полкилометра, километр, просека изгибалась в этом месте, дороги и долины уже не было видно. Тут меня догнал Рошетт — на велосипеде с чемоданчиком:

— Поздравляю, вы в свободной зоне! Но будьте осторожны, здесь полиция — сволочь, она служит немцам, она и нашу полицию арестовывает.

Полчаса спустя мы были в деревушке, в домике одной крестьянки. Я снял костюм лесоруба, крестьяне этому не удивились. Рошетт, узнав, что я русский, долго восторженно жал мне руки и выпил с нами за победу СССР. Он даже хотел заплатить за вино. «Сколько я вам должен за переход?» — спросил я. Рошетт колебался:

— Я бы ничего с вас не взял, я рад помочь русскому. Правда, переход очень опасный, и для меня это большой риск…

— Ну, а все-таки?..

— Право, не знаю. Скажите, 300 франков для вас не много? Мне неловко брать, но, знаете, если я потеряю работу…

Я дал ему 500 франков. Он просиял, в конце концов, взял деньги и опять долго жал мне руку и желал победы. Скажи я, что у меня нет денег, он не был бы в претензии. А ведь риск для него немалый. Сколько «перевозчиков» сидело по тюрьмам, сколько их было расстреляно! Следует сказать, что за 500 франков в то время можно было, купить кило ветчины на черном рынке.

Вечером, после нескончаемой езды по узкоколейке, после долгих стоянок на каких-то станциях я очутился в Сент-Амане, городке, где ровно год назад мы пережили столько тяжелых минут. Сент-Аман казался теперь тихим, мертвым, чужим. Я зашел к владельцу гаража, который тогда приютил нас. Он и его семья встретили меня сердечно, оставили обедать и долго расспрашивали о Красной Армии. Я провел ночь в том же отеле, что и год назад. Рано утром выехал в Монлюсон.

Монлюсон был первым сравнительно крупным городом в неоккупированной зоне, который я увидел. Мне показалось даже странным не видеть немецких солдат и офицеров. Французская толпа потеряла здесь весь свой былой облик. В кафе, в ресторанах — ни слова

о политике, о войне. Французы молчали с таким упорством, какого я в них не подозревал. Витрины магазинов были пусты, товары исчезли. Их с лихвой заменяли всевозможными плакатами с портретами Петэна. На одном из них усатый маршал призывал к «национальной революции», на другом заявлял: «Я сдержу все обещания, данные даже другими». Это был намек на обещания правительства Даладье. По приказу оккупантов Петэн отменил праздник перемирия 11 ноября. Но он сохранил праздник 1 мая, официально установленный правительством Даладье за год до войны. Этот день объявили «праздником труда», а раболепные газеты заявляли, что в этот день Петэн именинник. Действительно, Петэна звали Филиппом, а день св. Филиппа приходится на 1 мая.

Портретами Петэна были заклеены все стены домов, подъездов, деревья бульваров, и даже общественные писсуары. Словом, коммерсанты лезли из кожи вон, чтобы выказать свои верноподданнические чувства.

Я остановился в отеле против вокзала. Неожиданно явился отряд жандармов, подъехали огромные грузовики. Собралась публика. На вопрос, что случилось, кто-то объяснил мне, что ждут поезда с тяжелоранеными моряками из Германии. Немцы, мол, согласились их освободить.

Действительно, пришел поезд, но моряков было так мало, что все уместились в одном грузовике (а выслали шесть или семь машин). К тому же моряки оказались, к великому нашему изумлению, не инвалидами, а здоровенными, крепкими парнями, смущенно озиравшимися по сторонам.

Это заметила и публика. На террасе кафе я слышал замечания, сделанные вполголоса:

— Да ведь это же здоровенные детины. Немцы направляют их во флот, чтобы он не достался англичанам!

Я попытался вмешаться в разговор. Но на меня подозрительно покосились и замолчали.

Вообще в толпе чувствовалась какая-то напряженность, какая-то непривычная сдержанность. Как это было непохоже на говорливую и живую французскую толпу!

День был воскресный, я хотел сразу поехать в Виши, но потом раздумал — въезд в Виши без разрешения был воспрещен.

Разве мог я предвидеть, что именно завтра, 30 июня, правительство Петэна по приказу из Берлина порвет отношения с СССР и наше полпредство в тот же день выедет из Виши?

Итак, в понедельник 30 июня 1941 г., ровно через неделю после отъезда из Парижа, я прибыл на автокаре в Виши.

Было около одиннадцати часов утра. Переполненный автокар проехал предместья столицы неоккупированной зоны и остановился на мосту, возле фабрики, где стояла жандармская будка. В автокар вошел жандарм.

Все спешно вытащили бумаги. Жандарм внимательно осматривал их и молча возвращал обратно. Очередь дошла до меня. При виде советского паспорта глаза его блеснули:

— Будьте любезны выйти и подождать у будки.

Я вышел. Жандарм тотчас же спрыгнул вслед за мною. Автокар укатил. Жандарм передал мои документы в будку и предложил мне подождать, — пока что он был вежлив. Я стал расхаживать по мосту. Жандармские патрули останавливали всех прохожих, спрашивая документы. Вскоре ко мне подвели еще одного задержанного, он оказался русским эмигрантом.

— Сколько же времени мы будем ждать? — спросил я у жандармов. — Я хотел бы связаться с нашим посольством.

— Скоро приедет полицейский чиновник, и тогда вы сможете позвонить по телефону, — успокоительно ответил жандарм.

Потянулись часы ожидания. Сидеть было не на чем. Я слонялся по мосту.

Часа в четыре, наконец, приехала полицейская машина. В ней сидел очень молодой полицейский чиновник. Я обратился к нему с протестом по случаю задержания и просил разрешения позвонить в полпредство.

— Мы сейчас поедем к комиссару, и он вам все это устроит, — любезно ответил полицейский чин.

Мы приехали на огромный стадион. Поднялись наверх. На скамейках стадиона сидело человек 500, большей частью русских эмигрантов, причем, некоторые из них в самых невероятных костюмах. У каждого в руках был номер, их вызывали по номерам. Молодой человек, привезший меня, бросился с моими документами к усатому военному комиссару. Тот мельком взглянул на бумаги и отложил их в сторону.

— Могу я по телефону предупредить наше посольство о случившемся? — спросил я.

— Мы сами это сделаем, — сухо ответил комиссар. Часа три мы промаялись на стадионе под палящими лучами солнца. На допрос меня так и не вызвали. Затем всех нас погрузили в машины и повезли в городскую больницу. В пути жандармы были еще вежливы, но чувствовалось, что вежливость их с каждым часом тает.

В больнице нам отвели две палаты. Одну для женщин, которых, кстати сказать, было очень мало. Туда же поместили стариков и больных. В другой палате, абсолютно пустой, на паркет кинули немного соломы. Здесь мы безвыходно провели три дня.

Только теперь я узнал, что правительство Виши, по приказу Гитлера порвавшее дипломатические отношения с СССР, отдало приказ об аресте всех русских. В больницу свезли человек 300 русских белоэмигрантов. Среди задержанных были также сотрудница и переводчик посольства, арестованные в этот же день.

Впервые мне удалось так близко столкнуться с эмигрантами.

Многие арестованные на вопрос о профессии отвечали:

— Бывший офицер.

Они прослужили офицерами в белой армии года два. С тех пор лет двадцать работали грузчиками или шоферами во Франции, но все еще считали себя офицерами.

Были здесь и евреи, в большинстве случаев богатые коммерсанты из Виши, в фетровых шляпах, с кольцами на пальцах. Почти у всех у них документы были не в порядке. Они бежали в Виши из оккупированной зоны, жили здесь в хороших отелях и тратили немалые деньги на подкуп полиции.

Среди арестованных мне бросился в глаза один коммерсант, родом из Буковины. Он лет 30 прожил в Виши, где держал какую-то торговлю. Маленький, безукоризненно одетый, в черном пиджаке со стоячими воротничками, в котелке, он, в противоположность другим арестованным, пришел с уже готовым чемоданчиком, где были аккуратно уложены бритвенный прибор, мыло, полотенце и смена белья. Видно было, что человек этот имеет опыт в делах подобного рода. Мы с ним разговорились. В начале войны 1914 г. его арестовали в Виши и интернировали, как австрийского подданного, а когда Румыния захватила Буковину, его выпустили. Затем Буковина была освобождена от власти румынских бояр,

и его задержали, как советского гражданина, хотя в Буковине он не был тридцать лет и не знал по-русски ни слова. Он молча положил свои вещи в уголок, приткнулся на соломе и немедленно заснул.

На третий день зал опустел. Меня и двух — других советских граждан на допрос не вызывали. Вместе с небольшой группой арестованных нас посадили в грузовик и привезли в центральный полицейский комиссариат Виши, в здание ратуши, когда уже вечерело.

Дежурный полицейский грубо приказал нам сдать вещи, обыскал, отобрал у меня бумажник, часы, ручку, словом, все, что лежало в карманах, а также шнурки от ботинок, галстук и подтяжки. На мой протест он ответил, что действует по закону, однако стал вежливее, записал все отобранные предметы в книгу и предложил расписаться.

Просидели мы тут до полуночи. Все время приходили и уходили полицейские. Они были пьяны, многие едва держались на ногах. В соседнюю комнату приводили арестованных на улице и тут же их допрашивали. Слышалась площадная ругань полицейских, затем дикие вопли допрашиваемых, которых избивали. На ночь нас отправили в подвал, в каморку размером приблизительно 4 на 2 метра, почти целиком занятую низкими нарами.

Лежать было жестко, воздуха не хватало. На нас сразу же набросились тысячи вшей. Ни соломы, ни одеял не дали.

За несколько дней, что мы провели в полицейском комиссариате, наше общество несколько видоизменилось. Раза два к нам сажали воров, избитых до полусмерти полицией. Чаще привозили пьяниц для вытрезвления, и они безбожно храпели. Днем мы сидели в помещении, где пьяные полицейские играли в карты или на настольном биллиарде. На ночь нас

запирали в подвал. Иногда вечером нашу процессию в камеру замыкал пьяница, которого волочил также пьяный тюремщик. Следует заместить, что за все время нашего пребывания в вишийской каталажке я ни разу не видел его трезвым. Он обычно был так пьян, что, отводя нас вечером в камеру, не мог попасть ключом в замочную скважину, и нам самим приходилось открывать дверь.

В каталажке мы лежали на голых досках. Никаких тюфяков и одеял не полагалось. Уборная была тут же, в камере, в виде круглой дыры в полу. Каждые пять минут она автоматически промывалась водой, спускавшейся со страшным грохотом. Других «удобств» в камере не было, если не считать электрической лампочки, светившей высоко на потолке так слабо, что читать при ее свете было трудно. Свет горел днем и ночью.

Сюда же привели и еврея из Буковины. Он пришел покорный, по-прежнему хорошо одетый, в котелке, с неизменным чемоданчиком в руке; растянувшись на нарах, он проспал ночь, а на другой день его освободили. Равнодушно взял он свои вещи, надел котелок и ушел.

Помощник начальника комиссариата — старый толстый эльзасец был выслан германскими войсками с родины. Ему дали полчаса на сборы и разрешили взять 500 франков. Эльзасец клял немцев, оплакивал брошенное имущество. Я попросил его выяснить у комиссара, которого никто из нас не видел, когда меня освободят. Помощник ушел и через десять минут вбежал разъяренный:

— И вы еще смеете требовать объяснений? Да вы знаете, кто вы такой? Вы русский, советский. Я видел на вас досье. Ваше дело очень, очень серьезно. Вам бы помолчать, а вы еще в разговоры пускаетесь.

Так ничего добиться от него и не удалось. Хотя немцев он и ругал, но и служил им верно.

Мне удалось дать знать о моем аресте старому знакомому, врачу, русскому еврею, лет сорока до того осевшему во Франции. Он пришел, принес мне папиросы, фрукты. Был он грустен, чем-то подавлен. Оказывается, как еврея, его лишили права врачебной практики. Теперь он мог быть лишен и французского гражданства. От него я узнал, что наше посольство еще 30 июня вечером выехало из Виши. С фронта вести шли неважные. Чиновники и полиция Виши заметно наглели.

Я попросил моего знакомого сходить в американское посольство и просить там вмешательства в дело моего освобождения. Но в посольстве США ему резко заявили, что дела советских граждан их не касаются, они поручены иранскому посольству. Сходил он и в иранское посольство. Здесь его приняли весьма любезно, обещали все разузнать, но ничего не сделали. Да с иранским посольством ни вишийские, ни германские власти совершенно и не считались.

Еще через несколько дней, вечером, в комиссариат явились жандармы с походными сумками. Они вызвали сначала сотрудницу нашего посольства Соню и приказали приготовиться в дорогу, а куда, не сказали. Едва мы успели с ней попрощаться, как жандармы пришли и за нами. Под конвоем четырех жандармов мы прошли через город к вокзалу… Было еще светло, люди равнодушно оглядывались на примелькавшуюся картину. Из разговоров с жандармами мы узнали, что везут нас в прославленный жестокостью лагерь Верне.

После восьми дней пребывания днем и ночью на голых досках каталажки ночь в набитом до отказа вагоне окончательно доконала нас. Жандармы держались вежливо, сдержанно. Вообще профессиональные блюстители

порядка вели себя куда пристойнее, чем петэновские ставленники, всякого рода «гражданские стражи», государственная полиция и т. п.

За окнами промелькнули Клермон-Ферран, Монтобан, Тулуза с забитыми народом вокзалами, с пустыми буфетами и множеством портретов Петэна. В Тулузе мы просидели весь день на вокзале, так как поезд в Верне отходил только вечером.

К вечеру того же дня мы прибыли в Верне.

## Лагерь Верне

На равнине виднелось несколько десятков длинных деревянных бараков. Посредине шло шоссе с возвышающейся триумфальной аркой, надпись на которой гласила: «Французское государство», — вероятно, это должно было означать: «добро пожаловать». Со времени прихода Петэна к власти эта надпись заменила надпись «Французская республика». Отныне оставалось только «Французское государство», символом и главой которого являлся дряхлый, злобный предатель Франции Петэн.

По одну сторону шоссе, как-то врассыпную, стояли бараки, в которых жили жандармы, гражданские стражи. Здесь же размещались контора лагеря, мастерские, кантина (лавка) для интернированных, ресторан и бар для жандармов. В центре квартала возвышалась тюрьма, около нее караульное помещение, где круглые сутки дежурили жандармы.

По другую сторону шоссе на большой, обнесенной двойным рядом колючей проволоки площади стояли рядами бараки для интернированных, некоторые бараки были на вид новые, обмазанные штукатуркой или цементом, с окнами. Другие — из побуревшего от времени дерева, не имели окон. Впоследствии интерниро-

ванные сами прорубали в них отверстия — разнообразные по форме и на различном уровне.

Лагерь был разбит на кварталы, отделенные друг от друга колючей проволокой. Посредине каждого квартала, в центре, красовались деревянные уборные.

За проволокой, вокруг бараков и по центральной аллее, двигалось множество людей. Среди них — молодые, почти мальчики, и древние, седые старцы. Почти все они были одеты в одни только трусики. Издали могло показаться, что здесь нечто вроде мужского пляжа, по которому разгуливают отдыхающие. Но, подойдя поближе, я увидел буквально скелеты с торчащими наружу ребрами и лопатками, с тощими, как плети, руками, с худыми, костлявыми ногами, обутыми в рваные туфли. Я решил, что тут специально собраны туберкулезные в последней стадии или умирающие от рака. Я не знал, что меньше чем через три месяца я стану таким же.

Здесь были собраны представители различных наций и стран Европы. Лагерь Верне с 1939 г. был лагерем для интернированных французскими властями испанских республиканских военнослужащих и бойцов интернациональных бригад. Они-то и составляли основное население лагеря. Но с начала мировой войны к ним присоединилось множество других антифашистов-иностранцев. Французов в нем не было.

Ночь мы провели в караульном помещении. Наутро нас отвели в отдаленный квартал — он состоял всего из двух деревянных бараков. Рядом с ним стояли баня и больница. Нас ввели в большой барак без окон, с земляным полом, с деревянными нарами в два этажа. Там уже было полно народу. Нам дали чехлы для тюфяков, солому, чтобы их набить, и дырявые, грязные одеяла, на которые было жутко смотреть.

Кто же были обитатели этого барака?

Во всех городах неоккупированной зоны 30 июня полиция задержала всех русских или лиц, считавшихся таковыми. Их согнали в полицейские управления, как скот. После проверки из числа 400–500 обычно отбирали пять-шесть человек, иногда больше, и сажали под арест. Затем их отсылали в лагерь как «опасных», как «большевиков».

Из 120 человек в нашем бараке около половины составляли белоэмигранты, в том числе много махровых реакционеров. Были евреи из всех стран Центральной Европы — Польши, Румынии, многие из них по 30 и больше лет жили во Франции и по-русски даже не умели говорить.

Группа в 25 человек прибыла из репатриационного лагеря Ле Миль, около Марселя. Советское консульство в Виши восстановило этих людей в советском гражданстве и послала их в Ле Миль подготовиться к отъезду в СССР. Разразившаяся внезапно война помешала их отъезду, и французы отправили всю группу в Верне.

В толпе я заметил священника лет 45, тощего, болезненного, в желтой рясе, с бородкой а ля Христос. Это был отец Ильченко из какого-то белоэмигрантского прихода на юге. При ближайшем знакомстве он оказался человеком очень искренним, бескорыстным. Недели через две его выпустили, но он приезжал к нам в лагерь служить обедню, привозил и раздавал продукты, русские книги и аккуратно выполнял все наши поручения на воле. Наша советская группа научила Ильченко петь советские песни. Человек музыкальный, сам хороший певец и дирижер, он по слуху записал наши песни и увез их с собою на свободу. К сожалению, лагерное начальство скоро запретило его визиты к нам.

Была в лагере группа в пятнадцать белоэмигрантов, работавших на алюминиевом заводе в Пиренеях, большая часть которых являлась реакционерами, врагами. Арестовали их за создание какой-то белоэмигрантской организации взаимопомощи. Но так как завод работал полным ходом, и притом на гитлеровскую Германию, а рабочие руки были нужны, недели через две их всех освободили.

В этой группе были форменные босяки. Помню одного, здоровенного бывшего казачьего офицера, отчаянного морфиниста и алкоголика. В лагере с ним раза два случались припадки белой горячки, и его приходилось силой утаскивать в больницу. Этот потерявший человеческое обличье хулиган потом записался в «антибольшевистский легион» и на вопросы о профессии неизменно отвечал: «офицер белой армии».

Другой, Р., тоже бывший офицер, лет 20 проработал грузчиком в Марсельском порту. Острый на язык, прекрасный рассказчик, он был настроен патриотически, радовался успехам Красной Армии, мечтал когда-нибудь попасть в Россию. Своих коллег, белоэмигрантов, он глубоко презирал.

Один бывший солдат экспедиционного корпуса Т. прожил во Франции 21 год без всяких документов. После мировой войны он прослужил лет десять в Иностранном легионе, а потом остался во Франции; его сотни раз арестовывали и высылали, как бродягу. Был он вор, пьянчужка, и когда ухитрялся напиться пьяным, то рассказывал бесконечные глупые и похабные происшествия из своей жизни.

В конце июля привезли еще партию арестованных из Ниццы и среди них — двух братьев Жуковых, сыновей известного в свое время в России мыловаренного «короля». Когда-то они были богаты, владели огромным

домом в Ницце, но все со временем пропили, проиграли, прокутили. Старший, образованный человек, был хронический алкоголик, безвольный и опустившийся. К нам относился с симпатией, но признавал, что он России уже не годен, да и вообще ни на что больше не годится. Было ему лет 36. Целыми днями он медленно расхаживал по двору, сложив руки на толстом животе. Когда ему присылали деньги, он покупал с помощью стражей коньяк и сосредоточенно пил его в комнатушке, которую устроил себе в бараке и в которой развел необычайную грязь.

Младший Жуков, пухлый парень лет 28, заядлый морфинист, делал по 30 впрыскиваний морфия в день. В лагере морфия он доставать не мог и по примеру брата начал пить запоем. Под влиянием одного провокатора, своего дружка, он записался в «антибольшевистский легион».

Жена старшего Жукова — танцовщица и художница, иногда присылала мужу посылки. Но в них обычно лежали одеколон, губки для мытья, зубная паста или зеркальце, и ни крошки съестного. Раз только она прислала пять-шесть картофелин, которые он тут же съел сырыми.

Вернемся, однако, к описанию нашего лагеря. Как было сказано ранее, он разделялся на три «квартала»: квартал «А», где находились большей частью политические заключенные и интернированные испанцы, квартал «B», где содержались интернированные, работавшие в лагере, и квартал «C», где преобладали уголовные. Но это деление было приблизительным, и в мое время оно уже не всегда соблюдалось. Против нас находился барак, в котором содержалось несколько албанцев — бойцов интернациональных бригад. Среди них выделялся молодой албанец Шеху, служивший

в Испании лейтенантом. Он хорошо говорил по-итальянски. Вернувшись позднее в Москву, я узнал, что Шеху как-то удалось вырваться из лагеря, пробраться в Албанию и там встать во главе отряда партизан. Ко времени освобождения Албании от итальянских оккупантов Шеху получил чин генерала албанской армии. С 1954 г. Шеху — председатель Совета министров Народной Республики Албании.

В одном из соседних бараков жили интербригадцы-немцы, среди них бывший депутат рейхстага коммунист Франц Далем, видный деятель Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). Вместе с ним в лагере содержался коммунист-немец Рау, ныне заместитель председателя Совета министров ГДР. Эти товарищи исключительно хорошо понимали международную обстановку и пользовались в лагере всеобщим уважением. Как-то во время обеда Рау вызвала администрация лагеря — и больше он к нам не вернулся. Администрация по требованию гитлеровских оккупантов передала его им. Забрать Рау в другой момент они не посмели, боясь, что лагерь вступится за него. Позже, после нашего отъезда из Верне, гитлеровцам был передан и Далем.

Хотя почти все гражданские «стражи» лагеря носили значки «легионеров», одевались они не лучше заключенных и по виду мало чем отличались от них. Между прочим, благодаря этому обстоятельству удался один побег из лагеря. Двое интернированных ухитрились сшить себе жандармские мундиры, им помогли смастерить кожаные сумки, кобуры, кепи. Рано утром они беспрепятственно вышли из лагеря и увели с собой группу интернированных, построенных по трое, по всем правилам лагерного устава. Никто их не остановил, и все благополучно удрали. С тех пор у всех выходов из лагеря перед часовыми висела доска, на которой был прибит приказ — никого

не выпускать без проверки и «особенно остерегаться фальшивых жандармов».

Попыток организовать побег было немало, но они редко удавались. При мне таких попыток было пять или шесть, но почти все они кончались тем, что беглецов ловили. Однажды подняли тревогу, когда беглецы еще не ушли из лагеря. Одному смельчаку удалось пролезть под проволоку и залечь в траве. Его нашла собака-ищейка. Жандарм застрелил его. После этого побега начальство заставляло интернированных тщательно выпалывать траву между проволокой, а все заграждения и пространство вокруг лагеря ночью заливал яркий электрический свет.

Очень скоро мы убедились, что в лагери сажали не только политических: арестованные при Даладье немецкие агенты продолжали сидеть при Петэне с тем же обвинением, арестованные как «пораженцы» в начале войны оставались в лагере и теперь, когда война с Германией считалась «исторической ошибкой».

В одном из соседних бараков «шефом» состоял испанский педагог, мирно проживавший во Франции и арестованный только в июле 1941 г. В его досье в рубрике «мотивы интернирования» значилось: «мотивов нет».

И таких насчитывались сотни. Ведь будь хоть какой-то «мотив», еще можно было бы его оспаривать, оправдываться, протестовать. Но что можно сделать, если человека интернируют без «мотива», без обвинения?

Законов в петэновской Франции не существовало. По приказу префекта, назначенного правительством Виши, любого человека могли схватить и отправить в лагерь.

Заключение в лагерь означало не только изоляцию. Лагерная администрация старалась сломить волю заключенного, истощить физически и уничтожить в нем человека.

Летом нас поднимали в 6 часов утра, а зимою в 7. Являлся «страж» и грубо тянул спящих за ноги. Иногда по утрам бараки обходили жандармы и поднимали спящих ударами прикладов. Из кухни приносили «кофе» — мутную тошнотворную жидкость.

После проверки каждый барак должен был отрядить несколько человек для участия в церемонии поднятия флага у барака администрации. Интернированных выстраивали как солдат перед шестом, на который поднимали флаг, заставляли снимать шапки и принимать стойку по команде «смирно». На шест взлетал оскверненный предательством французской буржуазии трехцветный флаг. Чтобы не снимать на церемонии шапок, большинство интернированных, посылаемых на нее, не надевало их вообще. В шапках на церемонию шли лишь спекулянты и подхалимы.

Вечером, в 5 часов, проводилась обычно вторая поверка. В иные дни она производилась четыре раза. После утренней поверки «рабочих» гнали на работу. Одни обслуживали лагерь: подметали бараки, чистили двор, работали на кухне, два раза в день выносили из уборных железные оцинкованные параши.

Несмотря на всю непривлекательность этой работы, на нее находилось немало охотников. Прежде всего она занимала только часа два в день, а как приятно было пройтись по лугу к речке, в которой мыли параши, дышать свежим воздухом, сидеть на берегу. По дороге в поле мы могли набрать веток и сучьев для топки, а иной раз стащить початок кукурузы на окрестных полях.

Дров для кухни давали мало, а веников для подметанья и того меньше. Дрова и веники интернированные должны были доставать сами в соседнем лесу. Интернированным вручали топор, ножи, они быстро рубили деревца и ветки. А «стражи» тем временем зорко

следили, не идет ли владелец леса, и в случае его появления, подавали сигнал к бегству.

Часов в 10 утра нам раздавали караваи хлеба, которые требовалось нарезать кусками по 275 граммов в каждом. Раздача его была важным и ответственным делом, так как, кроме хлеба, другой пищи в лагере почти не было. Хлеб развешивали на самодельных, из картона и проволоки, весах с помощью гирь из камней, которые были проверены на настоящих весах в лавке. Двое или трое уполномоченных, а также «любители» из наиболее бдительных следили за точностью веса. Затем один из уполномоченных отворачивался, а другой брал кусок хлеба и спрашивал!

— Кому?

Первый называл фамилию, и хлеб тут же вручали названному лицу. Таким же способом распределяли в лагере и другие сухие продукты, которые иногда до нас доходили. Десятки голодных людей напряженно следили за процессом дележа, готовые в случае недовеса даже на один грамм вмешаться, устроить скандал.

Описанная картина наблюдалась во всех лагерях. Этот крик «кому?» неразрывно связан в памяти с голодовкой, с мрачными и тоскливыми днями лагерной жизни. Испанцы не понимали вначале, что значит вопрос «кому?» Они думали, что это какой-то пароль и поэтому постоянно без всякого повода выкрикивали — «кому?».

В полдень из кухонь приносили обед — чан с супом. Содержимое его менялось в зависимости от сезона и активности интендантства. Никакой посуды и приборов для еды интернированным не выдавалось, между тем большинство из них было арестовано не дома, а в городе и сразу отправлено в лагерь без каких-либо вещей. В первый же день нашего пребывания в лагере, когда принесли суп, ни у кого из нас не оказалось ни котел-

ков, ни ложек, чтобы поесть. Пришлось воспользоваться ржавыми банками, оставленными здесь солдатами республиканской армии.

Позже мы узнали, что эти банки заменяли им ночные горшки, так как многие из них, как затем и мы, страдали полиурией.

Обычно суп представлял собой горячую воду, в которой плавали жесткие листья кормовой капусты. Все выстраивались в очередь с котелками или банками, и дежурный «раздатчик» (обычно один и тот же) взбалтывал бурую жидкость и особой ложкой отмерял каждому четверть или две в зависимости от количества жидкости… Мгновенно воцарялась полная тишина. В течение трех-пяти минут все жадно глотали «суп». Хлеба к этому времени почти ни у кого уже не оставалось: его съедали без остатка тут же, во время выдачи. В субботу хлеб выдавали на два дня, но так как его тоже немедленно съедали, воскресенье было самым голодным днем недели.

Вечером, в 6 часов, снова раздавали такой же «суп». В половине десятого вечера, после отбоя, в бараках гасили электричество. В каждом бараке оставалось по две ночных лампочки, да над оградой светили яркие фонари.

Часть интернированных работала у жандармов, коменданта и вообще на лагерное начальство. Работа в этих местах считалась самой выгодной. Многие были заняты в кузнице, в столярной мастерской, строили новые бараки, поливали цветы, пололи траву под проволокой. Иные выполняли абсолютно бессмысленную работу: перетаскивали камни или носили с места на место песок. Голодные, истощенные люди не хотели, да и не могли работать по-настоящему.

Каждый лагерь являлся крупным источником дохода для его администрации и интендантства. Дело в том, что по официальной раскладке полагалось на питание

интернированного что-то около 11 франков в день. На дележе не тратилось и трех франков — все остальное присваивалось администрацией лагеря. Так, в нашем лагере было около 1500 человек, значит, каждый день администрация зарабатывала кругленькую сумму, превышавшую 10 000 франков. Кроме того, в лагерной лавчонке нам продавали продукты по двойной против рыночной цене, а доходы шли начальству.

В лагерные «стражи» шли ни на что не способные, никчемные люди из числа бывших легионеров, люди без профессии, спившиеся сутенеры и тому подобные лица. Почти все они носили «Франциску» — значок фашистского легиона фронтовиков. Бывшие фронтовики шли служить в легион потому, что без этого нельзя было получить работу, и легионеры, в частности «стражи» нашего лагеря, уже тогда поносили правительство Виши и Петэна на чем свет стоит.

Многие из «стражей» и бригадиров вербовались из эльзасцев или уроженцев севера Франции. Большинство из них бежало от оккупантов, иные из германского плена. Немцев они ругали, жаловались на режим немецкой оккупации, на голод в плену. Но и с нами они обращались нагло, грубо.

Бригадиры и начальники кварталов требовали, чтобы интернированные, разговаривая с ними, вытягивались во фронт и снимали головные уборы. Поэтому большинство интернированных предпочитало ходить с непокрытой головой. Каждое утро комендант квартала обходил бараки. Дежурный при его входе кричал: «смирно». Все мы вскакивали со своих мест и, вытянувшись во фронт, стояли без шапок. Комендант злобно глядел на нас, ища, к чему бы придраться.

Помню только одного бригадира, истинного французского патриота, болевшего душой за Францию и

хорошо относившегося к нам, русским. В лагере он старался ничего не делать, презирал «стражей» и начальство, по ночам ловил в речке рыбу, прячась от жандармов, и потом продавал ее заключенным. Весь день он сидел в будке у входа, играл в карты с кем-либо из бригадиров или сушил на колючей проволоке свои сети и переметы.

Этот бригадир очень хорошо различал политических и неполитических заключенных, чего не делали или не хотели делать другие «стражи». В лагере политические и уголовные арестованные размещались вперемежку в одних и тех же бараках. Начальству было легче вербовать шпионов и предателей среди уголовных, которым за их подлую работу делались всякого рода поблажки: их лучше кормили, устраивали в лучших бараках, отпускали в город. Французские власти надеялись таким способом деморализовать политических, дискредитировать их в глазах местных жителей, представить нас уголовной шпаной, социально опасными элементами.

Но французское население, как правило, относилось к политическим заключенным неплохо и сочувствовало им. Политическим интернированным, работавшим вне лагеря, удавалось покупать у местных торговцев ставшие редкостью продукты — хлеб, мясо, сухие овощи. «Стражам» же торговцы не продавали этого и вообще презирали их. Те, кто не выходил из лагеря, могли покупать лишь в лагерной лавке, где почти ничего не было.

Часто в лагере людей избивали и особенно зверски в тюрьме. Здесь в ход пускали кулаки, ноги, приклады. Избиение заключенных было вообще одним из любимых занятий французской полиции.

Нам приходилось видеть людей, привезенных в лагерь после двух-трех месяцев тюрьмы. Это были тени,

а не люди, тощие, желтые, с впавшими глазами. Помнится один молодой бельгиец-летчик. Он бежал от немцев, но был арестован французами в 1941 г. и просидел в тюрьме три месяца. Затем его отправили в наш лагерь. Он был до того худ, что качался от ветра, и казалось, вот-вот умрет. В лагере он таскал с кухни семечки от тыквы, подбирал гнилую морковь и репу. Мне знакомы были тюрьмы и ссылка в царской России. Я мог сравнить их с французскими тюрьмами и концлагерями, в которых мне пришлось потом сидеть. Французские тюрьмы — одни из худших в Европе. Система питания в них основана на том, что заключенные сами должны покупать себе еду. В противном случае они обречены на голодную смерть. Заключенные из среды спекулянтов, мошенников и вообще людей, имеющих деньги, обычно получают еду из ближайших ресторанов за свой счет или платят за нее втридорога в тюремном ларьке. Тюремная администрация обирает заключенных и иными способами. Так, в одной из тюрем Ниццы была «библиотека», состоявшая из нескольких десятков книг. Желающие прочесть какую-либо книгу должны были оплачивать полную ее стоимость, хотя после прочтения ее следовало вернуть в «библиотеку».

В лагерях люди сидели годами, со времени декрета Даладье. Находиться в лагере намного хуже, чем сидеть в тюрьме, чем быть на каторге. В лагерь сажали без обвинения, без суда, по произволу администрации, без официальных мотивов и объявления срока. Протесты ни к чему не приводили. На прошения префекту, министру внутренних дел ответы приходили иногда через полгода, всегда отрицательные и без объяснения причин отказа. Но чаще ответы вообще не приходили. Я трижды писал министру, протестуя против моего интернирования. Через год, уже в Джельфе, меня вызвали в контору лагеря и

прочли бумагу из Виши, в которой говорилось, что власти не видят оснований для моего освобождения или для перевода в другой лагерь. Но что послужило причиной интернирования, мне так и не сообщили. И тем не менее все интернированные жили надеждой на освобождение. Ходили слухи, что вот-вот приедет какая-то комиссия, которая разберет дела. Комиссии действительно приезжали и уезжали, но чем они занимались — неизвестно.

В августе 1941 г. одна из комиссий вызвала тех, кто служил во французской армии. Таких оказалось свыше 100 человек. У многих были ранения, некоторые имели награды. Они надеялись, что получат свободу. Комиссия, состоявшая из префекта, его секретаря, коменданта лагеря и еще кого-то, задала каждому по нескольку вопросов, но никого, конечно, не освободила.

Особые надежды возлагали на подобные комиссии мелкие и крупные буржуа, спекулянты. «Политические» и интербригадовцы не ждали освобождения от вишистских властей, несмотря на всю беззаконность их заключения. Интербригадовцы содержались в лагере уже третий год, многие из них, если не большинство, никогда ранее во Францию не приезжали.

Среди заключенных имелось немало торговцев с черного рынка, темных дельцов. Были бродяги и какие-то сомнительные личности, неизвестно чем жившие и на кого «работавшие». Возможно, многие из них обслуживали раньше германскую разведку. Из среды этих элементов лагерное начальство вербовало шпионов и провокаторов для французской охранки или «второго бюро». В лагере их устраивали на теплые местечки. Они считались интернированными, но их слишком хорошо знали, и поэтому сыском и шпионажем им приходилось заниматься через подставных лиц, своих агентов, которые имелись во всех бараках.

Среди провокаторов запомнился венгр Шиллер, бывший офицер не то австрийской, не то венгерской армии, — тип прожженного международного шпиона, работавшего на разведку той страны, которая платит дороже, а иногда и на несколько разведок одновременно.

Во время войны в Испании Шиллер приехал туда и, как офицер и специалист, сумел проникнуть в штаб интернациональных бригад; он знал обо всех военных операциях, предпринимавшихся республиканской армией. Этот тип являлся агентом французского «второго бюро». Несомненно, он нанес немалый вред республиканской армии.

Не надо забывать, что в республиканскую армию, в частности в интернациональные бригады, проникали шпионы генштабов различных государств мира. Некоторых из них республиканцы разоблачили и расстреляли, но многих не удалось вывести на чистую воду. Эта сволочь пользовалась своим положением, чтобы отомстить испанцам. Один сотрудник «второго бюро», офицер, ведавший лагерем испанцев и интербригадовцев, откровенно и злобно грозил:

— Теперь мы с вами рассчитаемся за все!

О принадлежности Шиллера к этой категории испанцы узнали позже, когда интербригадовцы перешли французскую границу и попали в лагерь, где он выступал в качестве чиновника «второго бюро». Впоследствии Шиллер не то провинился, не то проворовался в лагере Гюрс, и его перевели в лагерь Верне как заключенного. Находился в лагере он на особом положении, жил на квартире у лагерного начальства, носил приличный штатский костюм, разъезжал по окрестностям на велосипеде, командовал «стражами» и вел в бюро лагеря тайную «административную работу»... Питался он также особо и, судя по его цветущему виду и со-

лидному брюшку, очень неплохо. Маленький, круглый, самодовольный, в гетрах, как большинство полицейских, Шиллер приезжал в лагерь, оставлял на попечение «стражей» велосипед и направлялся в бюро. В лагере никто, кроме шпиков, не разговаривал с ним. Говорят, его не разбили, и очень сильно. Но побои он переносил стоически, считая их неизбежными при своей профессии.

В каждом бараке имелись свои «информаторы», причем большинство из них трудилось не за страх, а за совесть: им не платили, особого пайка не давали, но они усердствовали, желая выслужиться, подлезть к начальству и добиться таким путем освобождения или каких-либо льгот.

В соседнем бараке, в квартале «Т», свили гнездо шпики и провокаторы. Там же жил и «начальник» этих мелких шпиков, официально считавшийся главным шефом дневальных у жандармов. По профессии музыкант, скрипач и, как говорили, неплохой, в лагере он быстро опустился.

К нам в квартал был приставлен некий Гольдштейн, старожил города Дижона, по профессии антиквар. Говорили, что он был связан с немцами. Он ревностно следил за нами, доносил обо всем коменданту квартала и распоряжался в бараке как власть имущий. Комендант квартала ничего не предпринимал, не посоветовавшись с Гольдштейном. Гольдштейн не брезгал и мелкими доходами — стирал за деньги белье интернированным, промышлял контрабандой.

Содержался в Верне и крупный шпион, агент «второго бюро», Гарай. О том, что Гарай — шпион, знали все, поэтому у него не возникало надобности скрывать это. В Верне он заведовал комнатой свиданий интернированных с женами.

Позднее в Джельфе Гарай недурно устроился: начал «писать» книгу «История лагеря». Нетрудно представить, что это была за «история», если за свою пачкотню он получал особый паек.

Лицам, содержавшимся в лагере, разрешалась личная переписка, но все письма, поступавшие в лагерь и уходившие из лагеря, проходили через руки администрации. Писать разрешалось только по открытке и одному письму в неделю. Судьбу писем решали человек пятнадцать из числа интернированных, разумеется, главным образом шпики и провокаторы. В числе «цензоров» был некий Стефан Приасель, подвизавшийся когда-то в качестве журналиста. Мне довелось встречаться с ним в редакции «Монд»[2] и на собраниях. Толстый и здоровый, он жил в интендантстве и ничем не походил на нас, обычных интернированных. Приасель, встретив меня, отвернулся, сделав вид, что не узнает.

Многие шпики жили или работали в интендантстве и конечно знали о процветавшем там воровстве. Кражи в интендантстве происходили не без ведома коменданта лагеря и комиссара.

Комендантом лагеря был старик-полковник, типичный французский военный, «выслуживавший» чины годами. В лагерь он почти никогда не заходил, условиями, в которых жили заключенные, не интересовался, на прошения не отвечал. Перед визитом очередной комиссии по его приказу белили известкой уборные и подметали начисто пол в бараках. При встрече с комендантом часовой командовал: «равнение налево». Если такой команды не было, ему потом здорово влетало. Приказ коменданта квартала об отправке интернированного в тюрьму утверждался комендантом

---

[2] Журнал, издававшийся в Париже в 1933–1935 гг. Анри Барбюсом.

лагеря, который неизменно удваивал срок заключения. Иногда нас предупреждали, что комендант будет обходить лагерь. Заключенным запрещалось под угрозой тюремного заключения обращаться к нему с просьбами или жалобами. Но к нему никто и не обращался.

Делами в лагере вершил главным образом комиссар Людманн, эльзасец, ярый сторонник петэновской полицейщины, фашист гитлеровского типа. Он знал каждого из нас в лицо, распределял на работу, отсылал в Африку, переводил в другие лагери.

При лагере имелись два ларька, так называемые кантины: один — для интернированных, другой — для «стражей» и жандармов. Цены в первом были в среднем в три-четыре раза выше, чем во втором. Оборот ларьков составлял свыше миллиона франков в год. «Излишки» шли в пользу заведующего лавкой и лагерного начальства. В каждом квартале было свое отделение кантины, которым заведовали шпики. Сменить заведующего кантиной не удавалось, так как его назначало начальство. Все местные шпики и провокаторы дружили с заведующим лавкой и всякий раз при утверждении бюджета и его отчета поднимали дикий крик против тех, кто пытался критиковать их «шефа».

Жалкий паек заключенных в лагере не превышал 1100–1200 калорий в день, т. е. был меньше, чем половина минимальной нормы. Главным, а иногда единственным продуктом питания являлся хлеб. Люди с утра до вечера испытывали голод и жили единственной мыслью о пище. За первые два месяца заключения я потерял в весе 20 килограммов, т. е. около 25 процентов прежнего веса. Такое быстрое исхудание само по себе являлось болезнью, вызывало сердечную слабость, понос, общее расстройство организма. Отсутствие витаминов также вело к заболеванию.

Постоянное голодание медленно убивало людей. Они превращались в скелеты. Нередко утром мы находили в бараках покойников. Человек тихо умирал, не беспокоя даже соседа.

Многие от голода приходили в бешенство, злобно ругались, лезли без малейшего повода в драку. Такое состояние продолжалось два-три дня и обычно кончалось смертью. В лагере господствовали болезни, с которыми в обычное время врачу редко приходится встречаться: все виды алиментарной дистрофии, отеки от истощения, поносы, не поддающиеся лечению, сильнейшая полиурия — мочеизнурение.

У большинства интернированных отекали ноги, становились толстыми, как столбы. Это особенно подчеркивало неестественную худобу тела. Ломались, крошились и выпадали зубы, обнажались десны. Чтобы сколько-нибудь подавить ощущение вечного голода, люди заталкивали в рот все, что попадало под руку, все сколько-нибудь съедобное. Пищу разбавляли водой, чтобы ее объем был больше.

Раз в неделю нас водили в душ. В раздевалке на скамейках кишели мириады блох и вшей. Вход был прямо со двора, и когда открывалась дверь, голых людей обдавало ледяным пиренейским ветром. Страшно было смотреть на тощие, желтые тела, с торчащими костями. Неудивительно, что при таких условиях больница не пустовала. В ней имелось 250 коек на 1300 заключенных.

В лагере сидели десятки врачей. Но ни одного из них не брали на службу в больницу даже санитаром. Лагерный врач был француз, его помощниками служили бывшие спекулянты, в медицине абсолютно невежественные люди. По утрам лагерный врач «принимал» пациентов. Больным приходилось ждать очереди по три-четыре часа в комнате с разбитыми стеклами, где ветер свистел, как на улице. Иногда сквозь приоткрытую дверь мы видели вра-

ча: он играл в карты с «санитарами». Прием он заканчивал быстро — в какие-нибудь полчаса.

Летом 1941 г. в лагере вспыхнула эпидемия брюшного тифа. Начальство распорядилось сделать прививки, но было поздно: многие заболели после первого же укола. Реакция после укола у изможденных людей была обычно тяжелой.

С июля по конец сентября 1941 г, умерло 50 человек. Иногда умирало по два, по три человека в день. Простой деревянный гроб ставили на подводу и везли на кладбище, находившееся рядом с лагерем, — или в «квартал Д», — как мрачно шутили в лагере.

В первые дни эпидемии, когда только начали возить гробы на кладбище, мы выстраивались на дворе, сняв головные уборы. Позднее, чтобы предупредить такие «манифестации», лагерное начальство само стало выстраивать нас лицом к кладбищу. Могильщиком работал один из интернированных врачей.

За гробом шло обычно несколько «стражей». Иногда шагал католический священник с большим деревянным крестом. Когда умирал русский, из соседнего города вызывали священника Ильченко.

Во время похорон раздавался заунывный тонкий звон колокола. Осенний холодный ветер срывал с деревьев последние листья. Стаи ворон носились над лагерем. Невыразимая тоска сжимала сердце.

Самым распространенным в лагере наказанием являлось тюремное заключение. В маленькие темные карцеры, где на грязном полу было постлано немного соломы, обычно сгоняли по 10–12 заключенных. Сажали сюда не меньше чем на неделю. Били.

За малейший «проступок» виновному по приказу коменданта коротко стригли волосы. Таких «стриженых» было много в каждом квартале.

Голову стригли за разговоры через проволоку с соседними кварталами. Помню, когда в первый раз мне сказали: «Вас зовут к телефону», — я изумленно посмотрел на говорившего. Тот рассмеялся.

— «Телефоном» у нас называется разговор через проволоку.

В лагере говорили на особенном жаргоне — это была какая-то нелепая смесь всех языков, с преобладанием испанского. В ходу было обращение «hombre» (по-испански — человек). Добавка к пайку называлась «реганче» — испанское солдатское выражение.

Рядом с нашими бараками находились бараки «стариков», там действительно жили старики, иным было лет под 80. Обращались с ними так же грубо, как и с нами.

Так мучительно тянулась наша лагерная жизнь.

Вот отдельные выдержки из моего дневника начала зимы 1941 года.

*31 октября*. День и ночь непрерывно дует с запада ветер, нагоняя дождь. Все заключенные в бараке кашляют. Холодно, согреться негде, огня нет. Ночью мерзли в постели. Сидеть и писать трудно — коченеют пальцы.

Люди живут только ожиданием еды. Хлеб съедают утром и потом голодают. Роются в мусорном ящике, вытаскивают оттуда какие-то остатки и тут же их поедают.

В бараке почти непрерывные ссоры. Ругаются по пустякам, все это из-за истерзанных нервов, от голода.

*8 ноября*. Два раза в день комендант обходит бараки. Все должны по его команде выстроиться у своих мест, без шапок, руки по швам и… ждать. И всякий раз комендант находит, к чему придраться.

— Зачем завесил кровать? В следующий раз велю сжечь занавеску, — говорит он злобно.

— Не слышали команды? Разве так стоят? — Он грубо толкает «провинившегося». — Остричь ему голову.

*16 ноября*. Вчера встретил украинца Кузьмина, молодого парня, бывшего интербригадовца. Высокий, крепкий на вид, он бледен особой бледностью, свойственной только заключенным. Он плел из старых мешковин веревки, делал туфли и продавал их. Я давно его не видел. Он дал мне как-то свою единственную книжку — томик Горького на русском языке.

— Куда вы делись? — спрашиваю. — Убежали?

— Нет, — грустно улыбнулся он. — Сижу и работаю.

С виду он был таким же, как и всегда. Однако вечером, в 8 часов, после ужина, он внезапно умер. Умер от истощения…

*17 ноября*. За последние дни наши «стражи» стали не так грубы. Говорят, что свыше им дан приказ обращаться с нами вежливее.

Вести с советского фронта хорошие. Гитлеровские войска остановлены.

*19 ноября*. Итальянцы ловят крыс и едят их. Крупная крыса котируется в лагере от 10 до 20 франков. Мой сосед итальянец Поли хвалится, что ест их с костями.

*23 ноября*. В лагере в каждом квартале организовано еврейское гетто — особый барак для евреев.

На днях увозят в Германию партию чехов, немцев и словаков. Из Испании получены сведения о том, что Франко расстрелял 416 испанцев, вернувшихся из французских концлагерей. Познакомился с австрийским

профессором Тригом — высокий, немолодой, в зеленой фетровой шляпе и в гольфах, одет как турист. Он живет во Франции с 1924 г., читал в Ниме лекции по истории Византии. Его жена, умелая кулинарка, записывала рецепты кушаний и иногда давала их студентам, слушателям мужа. В апреле этого года Трига арестовали за ...коммунистическую пропаганду. Оснований к такому обвинению не было никаких. В качестве улик ему предъявили кулинарные рецепты его супруги, принятые за шифр. Гражданский суд прекратил дело. Трига предали военному суду, но даже и этот суд отказался его судить. Тогда власти посадили Трита в лагерь в квартал «стариков».

Холодно. Все ходят в лохмотьях, в изодранных ботинках, в разбитых сабо. На головах рваные, грязные, полинявшие береты.

*6 декабря*. Прочитал в газете, что французский суд присудил к тюремному заключению французов, слушавших лондонское радио. А в лагере все «стражи» и жандармы слушают Лондон. Да что там, — вся Франция слушает зарубежное радио.

В бараке жандармов, около лагеря, на главном входе, как полагается, висит портрет Петэна. Сегодня бригадир Фишер, обходя этот барак, вдруг увидел на противоположной двери надпись в честь «Сражающейся Франции».

Фишер пришел в ярость:

— Кто это сделал? Что за свинство?

Фишер сорвал ветки, обрамлявшие надпись, изорвал ее.

Сегодня стариков и инвалидов отправили в лагерь под Тулузой. Больно смотреть на уезжающих. Парали-

тики, хромые, седые старцы, еле волочащие ноги, в рваной одежде, небритые, тащили на спинах свои нищенские узлы и чемоданы.

## Население лагеря

В лагере насчитывалось 35–40 национальностей — испанцы, итальянцы, венгры, немцы, австрийцы, албанцы, югославы, греки, китайцы, тюрки и т. д. и, наконец, апатриды, люди, не имеющие гражданства. К этой же категории относили евреев, родившихся в странах, которые за последние 25 лет переходили из рук в руки. Они сами не знали, где их родина, какой язык родной, — говорили они на многих языках, и на всех одинаково плохо. Юридически эти люди были лишены какой-либо защиты, ибо ни одно консульство не признавало их за граждан своей страны.

В бараках быстро произошло классовое разделение интернированных. Интербригадовцы и политические из Франции объединились в коллектив под руководством подпольных коммунистических ячеек. Буржуазия — спекулянты, коммерсанты, богатые евреи из всех стран мира и прочие, имеющие деньги, составили свою «компанию»… Они хорошо питались, так как покупали провизию в городе через работавших там заключенных или же через «стражей». Они всячески старались выслужиться перед администрацией лагеря и вели непрерывные переговоры о получении виз. Мечты об освобождении они связывали с получением визы в Америку. Но чтобы получить визу, необходим был паспорт. Некоторым, побогаче, иногда удавалось за крупные деньги доставать паспорта: Панамы, Коста-Рики, Гватемалы и даже визы в эти страны. Но французские власти не давали выездных виз этим «нежелательным иностранцам» и не выпускали их из

лагерей. Администрации было невыгодно их отпускать, так как она получала с них много денег. Среди этой публики были типичные космополиты, которым все равно было где жить, лишь бы иметь возможность торговать и зарабатывать. К нам они относились довольно прилично — поскольку и мы и они сидели за решеткой.

В декабре 1940 г. гитлеровцы выслали во Францию около 18000 евреев — стариков, женщин, детей. Вишийские власти отправили их в лагерь Гюрс, в Пиренеях, где раньше находились испанцы и интербригадовцы. Евреи умирали там сотнями от истощения, холода, болезней.

Правительство Виши совершало чудовищные преступления в отношении евреев. Гитлеровцы требовали от Лаваля рабочую силу для работы в Германии. Численность первой партии была определена в 150 000 человек. Лаваль объявил добровольный набор; по официальным данным, за полгода он набрал лишь 17 000 человек, но большинство их разбежалось еще до отправки. Тогда Лаваль решил перехитрить гитлеровцев, а заодно и очистить лагери. Он согнал из лагерей 20 000 евреев — женщин, мужчин, стариков — и отправил их в запертых товарных вагонах в Германию. На вокзалах при отправке происходили драматические сцены. Матерей и отцов разлучали с детьми, мужей с женами. Французское население устроило демонстрацию протеста. Даже тулузский епископ выступил публично против этого зверства. В пути, который продолжался шесть дней, несколько тысяч человек умерло.

Лавалю пришлось лгать и оправдываться. Но гитлеровцев он не обманул. Им нужны были специалисты-техники, а Лаваль послал им старых и малых. Можно представить себе, что сделали гитлеровцы с этими несчастными!

В августе 1941 г. петэновцы решили создать в нашем лагере еврейское гетто. Всем заключенным были розданы анкеты с вопросами о вероисповедании. Иудеев оказалось очень мало. Начальство ломало голову, как установить, кто еврей. По имени и по фамилии? Долго допрашивали интернированного русского Александра Ивановича Моисеева, чистокровного сибиряка. Администрацию смутила фамилия Моисеев, которую они сочли еврейской. В еврейский барак Моисеева, правда, не перевели, но оставили под сомнением.

Наконец, после долгих розысков и следствий лагерные власти все же выделили евреев в особые бараки. В квартале «Т» евреев было мало, им отвели часть барака. В кварталах «В» и «С» — по отдельному бараку.

В одном из бараков была устроена церковь, в которой попеременно служили то католики, то протестанты. Неизменным посетителем церкви был главный комиссар лагеря эльзасец Людманн. У католиков в церкви полагается орган, но в лагерной церкви его заменил бесплатный оркестр, состоявший главным образом из интернированных евреев. Искренне молились в этой церкви разве только поляки — польские рабочие с севера Франции, завербованные на тяжелую работу, в большинстве своем люди неграмотные и не говорившие даже по-французски.

Спекулянты устроили в церкви своего рода черную биржу, где ухитрялись, не без ведома властей лагеря, продавать валюту, продукты и даже ценные бумаги.

В бытность мою в Верне испанцев оставалось в этом лагере очень немного. Большинство было отправлено в Испанию, часть сослали в Африку, многих угнали в рабочие команды. Но в нескольких бараках «шефами» являлись испанцы, в том числе бывший министр и бывший командир дивизии, оба анархисты. Во всех

лагерях, как, впрочем, и на свободе, вожаки испанских анархистов вели себя скверно. Они втирались в доверие к начальству, доносили на своих. Бывший командир дивизии при отступлении присвоил дивизионную кассу, а также деньги, отправленные на его имя комитетом помощи испанцам. Характерно, что французские власти писали в наших «делах» «анархист-коммунист-пропагандист». В их глазах это означало тройное преступление. А с настоящими анархистами они быстро сошлись, почуяв в них, вероятно, близких себе людей. Поэтому во всех лагерях испанские анархисты занимали важные посты.

Разумеется, среди испанских анархистов имелись честные и искренние люди, но главным образом из числа рядовых, а не руководителей.

«Шефы» хорошо питались и одевались. Но рядовые испанцы находились в самом ужасном положении. Некоторым бывшим бойцам помогали интербригадовцы. Перед моим отъездом из Верне испанцы попытались организовать коллектив, который устроил раз или два общие обеды, но на этом дело и кончилось. Организаторы коллектива, испанские рабочие, еще задолго до войны, приехавшие во Францию, не располагали достаточными средствами, чтобы делить со всей братией свои посылки.

Итальянцы, наоборот, жили дружной и сплоченной семьей. Почти все они входили в коллектив, который варил пищу два или три раза в неделю.

Пребывание итальянцев в лагере подходило к концу. Почти все они заявили о своем желании вернуться на родину. Они предпочли сидеть в тюрьме у себя, дома, а не во Франции. Но итальянское правительство не очень-то спешило их репатриировать. Вероятно, не без участия вишийских властей фашистское правительство потребовало немедленной выдачи итальянцев, которые

не хотели возвращаться в Италию. Фашистам выдали Галло, одного из крупных деятелей интербригад в Испании, и Чезаре Коломбо — журналиста, социалиста.

В лагере было довольно много поляков. Среди них — бывшие солдаты дивизии Сикорского, сформировавшейся в начале войны на территории Франции, — в нее вошли поляки, бежавшие из Польши после занятия ее гитлеровскими войсками. Воевать на стороне французов им не пришлось, а после перемирия по требованию оккупантов Петэн направил их в концлагеря. Понемногу их переводили в рабочие команды.

К ним наезжал польский ксендз, раздавал папиросы и кое-какие вещи, присланные польскими магнатами, живущими на свободе во Франции.

Несколько раз им присылал белье и одежду польский Красный Крест. Польским евреям этих вещей не давали.

Получив вещи, многие тут же продавали их, покупали вино, напивались и скандалили. У властей эти поляки, «католики», как их называли, были на отличном счету. Начальство всячески настраивало их против евреев и поляков-интербригадовцев, и не безуспешно…

Бельгийцев в лагере оставалось совсем мало, так как их отправили в Бельгию, откуда гитлеровцы забрали их на работу, или же в особые лагери. Несколько бельгийцев пытались пробраться к союзникам, но их захватили на границе Франции. В нашем лагере сидел 20-летний бельгийский летчик, граф де К., племянник бельгийского посланника. Его арестовали в Ницце, откуда он думал пробраться в Гибралтар, а затем в Англию. Летчика избили и посадили в тюрьму. Затем из тюрьмы его переслали в наш лагерь, не вернув отобранных при аресте денег и вещей. Он плохо разбирался в политике, по существу был настроен реакционно. Но в лагере он

ни в чем не уступал начальству, даже кричал на «стражей». Дворянский титул оказывал свое действие на французских полицейских.

В Верне сидел лидер бельгийских фашистов, небезызвестный Дегрель, но его выпустили сразу же после капитуляции Франции.

Сколько в лагере было авантюристов и «прославленных», и никому неведомых бродяг, жуликов, искателей приключений, людей странной судьбы!

Незадолго до войны в крохотной республике Андорра, расположенной в долине Пиренеев между Францией и Испанией, появился русский некто Скосырев, провозгласивший себя королем. Французские жандармы Скосырева арестовали и привезли в концлагерь, хотя его следовало бы поместить в сумасшедший дом.

Сидел в лагере и офицер, армянин, бородатый, смуглый, вся его грудь была увешана орденами неизвестных никому стран. Ходил он в щегольских желтых высоких сапогах и в белых брюках, заправленных в сапоги. Раньше он служил в Иностранном легионе. В награду за службу французские власти после капитуляции посадили его в концлагерь.

В августе в наш барак привели высокого, измученного на вид старика. Это был генерал Махров, бывший начальник штаба Деникина. Еще до войны он разъезжал по городам Франции и выступал перед русскими эмигрантами с докладами о России; в начале войны он обратился в наше посольство с заявлением, что готов служить всем, чем может, Советскому Союзу. 30 июня вишийские власти вспомнили о нем, арестовали и, продержав недели три в тюрьме в ужасающих условиях, сослали в Верне. Держался он бодро и с восхищением говорил о Красной Армии. Белогвардейцы его ненавидели.

Каждый день он являлся, как и все мы, на перекличку и, называя его фамилию, дежурный всякий раз добавлял:

— Генерал Махров!

В разговорах со мною Махров часто повторял:

— Меня очень интересует социализм. Я о нем много читал и считаю, что мир неизбежно придет к социализму.

На меня Махров производил впечатление человека искреннего, хотя и наивного. В нашем бараке он был самым старым — ему было 65 лет. Позже по ходатайству генерала Жанена, бывшего главы французской военной миссии при Колчаке, Махрова перевели на житье в интендантство, а затем и вообще освободили.

Самым молодым среди нас был пятнадцатилетний мальчик Калинин. В коротеньких штанишках, бледный и худой, он казался моложе своих лет. Держался он как затравленный зверек, ни с кем не говорил, не получал никакой помощи. Когда приезжала германская комиссия, администрация лагеря прятала его. Почему его посадили в лагерь, никто не знал. Говорили, что за фамилию.

Как-то раз два жандарма привели к нам семилетнего мальчугана. Его родители по приказу префекта были интернированы. Узнав, что у них есть сын, и не поинтересовавшись какого возраста, префект распорядился интернировать и его. И вот два дюжих жандарма привели малыша в лагерь. Местное начальство отказалось его принять, и после телефонных переговоров с префектом ребенка куда-то увезли.

Особняком от всех держалась кучка «украинцев-самостийников». Среди них некий Кучинский, хвалившийся, что он был секретарем Петлюры, и ругавший все советское. Он выполнял в бараке функции парикмахера. В квартале его видели только с двумя другими «самостийниками»: Перебийнисом и Гусаром.

Перебийнис, по профессии художник, и притом очень плохой, судя по портретам, которые он из подхалимства писал с бригадиров, служил у Петлюры офицером. Худой, как скелет, завернутый в какое-то тряпье, он боялся всего на свете. Перед «стражами» он без всякого приказания с их стороны вытягивался в струнку. Его рвение было замечено и по достоинству оценено начальством. Он получил место сторожа при входе. Перейдя таким образом из разряда тайных соглядатаев и доносчиков в официальные, Перебийнис втерся в доверие также к общепризнанному «вождю» всех «самостийников» в лагере Гусару — молодому упитанному человеку. Его привезли в лагерь в августе 1941 г. из Клермон-Феррана, где он занимался журналистикой за счет немецких субсидий. Мне приходилось читать его статьи в фашистской газете. Он доказывал, что русской культуры «не существует», ввиду чего они, «самостийники», призваны играть на Востоке роль «носителей» западноевропейской цивилизации. Словом, обычные бредни украинских националистов, выслуживавшихся перед гитлеровцами.

Освобождение Гусара из лагеря совпало с образованием в Берлине «украинского правительства». Гусар метил если не на пост министра, то по меньшей мере на должность посла во Франции. Перебийнис ходил наглым, сияющим. Наши говорили, что Гусар посулил ему пост швейцара при своем посольстве.

Как известно, «самостийники» не в первый раз делали ставку на немцев. Всем памятно, как в 1918 г. они ждали «царя» от немцев и восхваляли «Василия Вишиванного», так называли тогда какого-то родственника Вильгельма II, которого кайзер прочил в «короли Украины».

* * *

Лагерь постоянно жил слухами, несмотря на то, что мы каждый день получали газеты как французские, правда, вишийские, содержащие только сообщения, угодные немцам, так и швейцарские. Оккупанты тогда еще не запрещали их, и все заключенные жадно набрасывались на газеты. То, о чем молчали газеты, — сведения о военных операциях на восточном фронте, известия о дипломатических встречах и переговорах, — находило у нас своих комментаторов. Фактически мы были изолированы от мира. Все письма перлюстрировались, так же как и письма, адресованные нам. Радио не было. Связи с местными жителями мы не поддерживали, если не считать нескольких заключенных, работавших на окрестных фермах.

Большинство слухов, или, как мы их называли по-испански, «булос», прежде всего, рождалось тут же, в лагере, на основе обрывочных сведений, услышанных от наших «стражей», сведений более чем сомнительных. Пересказывая сообщения по радио, они так искажали названия русских городов, что трудно было понять, где вообще происходят бои. Впрочем, в этом они мало отличались от французских обывателей, которые слушали по радио речи государственных деятелей и ничего, в сущности, не понимали. Помнится, я подумал тогда: сколько требуется разнообразных знаний и уменья для того, чтобы разобраться хотя бы в самых простых военных «коммюнике». Слушая каждый день наивные, неграмотные пересказы этих коммюнике, мы убеждались, что многие люди в Европе еще не доросли до понимания исторических событий. Не потому ли фашистам так легко удавалось обманывать массы фальшивыми лозунгами, грубой подтасовкой фактов, чудовищно искаженным изложением событий?

Не меньше слухов ходило и относительно нашей судьбы. Этот вопрос, разумеется, интересовал всех. Одни ждали, что их освободят, так сказать, в индивидуальном порядке, благодаря хлопотам родных и знакомых; другие ждали, что американское консульство, куда они обращались, выдаст им визу в США, спасет их из ненавистного лагеря. Но при мне только несколько человек получили визу в Мексику, некоторым удалось выехать в Китай. Что же касается визы в США, то для получения ее необходимо было заполнить длинную анкету. В ней, между прочим, требовалось указать, не принадлежало ли данное лицо к компартии, не привлекалось ли к суду и не собирается ли покушаться на президента США. Затем в Америке надо было найти двух поручителей. Американские власти посылали запрос о материальном положении этих поручителей, на что уходило еще несколько месяцев. После этого поручители должны были отправиться в Вашингтон и там подвергаться допросу. На все это уходило не меньше года. Наконец, надо было получить выездную визу от французских властей. Между тем они эти визы выдавали очень и очень неохотно. Был даже издан приказ не давать никому выездных виз в Америку. Все это создавало препятствия почти непреодолимые. Несмотря на это, американские визы стали излюбленным сюжетом для всяческих «булос».

Время от времени возникали слухи о каких-то переменах в лагере. Судя по ним, нас должны были скоро направить в Африку. Из других лагерей, в частности из Гюрса и Аржелеса, несколько сот человек уже были вывезены в Джельфу. Зная, что ждет их в Африке, интернированные отказывались туда ехать. Тогда из лагеря двинули целые полки «гард мобиль», жандармов, привезли артиллерию. Возле Аржелеса на море стояли суда с орудиями и пулеметами, наведенными на лагерь.

Намеченных к отправке жандармы хватали поодиночке, избивали, а затем сажали в грузовики. Заключенных отправляли в Африку без одежды, без вещей.

Теперь очередь была за Верне, поэтому отправка в Африку казалась делом вполне реальным. Наиболее сведущие называли даже сроки отправки, указывали, кого именно вышлют в Африку.

Каждый день при встрече заключенные первым делом спрашивали:

— Ну, что нового?

И новости всегда находились… Слухи эти держали нас в напряжении, они легко рождались, так как люди сидели в лагере неизвестно за что и неизвестно, сколько еще там будут находиться. Были особенные мастера распространения слухов. У них в любой момент можно было услышать нечто новое, причем они неизменно выдавали это новое за чистую правду. Но, расспросив поподробнее наших «информаторов», мы убеждались, что все это выдумка. Такого рода информацию в лагере насмешливо называли «радиотинетт» (тинетт — параша). Только служащие во французских «бюро» могли кое-что знать, и от них иногда удавалось узнавать о тех или других намерениях начальства.

Касаясь вопроса о концлагерях во Франции, надо сказать, что они создавались для антифашистов, для политических противников реакционных французских правительств того времени. И если в лагери с сентября 1939 г. стали направлять в довольно большом числе уголовников, спекулянтов, валютчиков, бродяг и т. п. элементы, то это делалось для того, чтобы дискредитировать антифашистов в глазах населения, замаскировать истинное назначение лагерей.

Все концлагеря разделялись на две группы — одни были предназначены исключительно для французов,

другие — для иностранцев. Позже, при Петэне, в конце 1941 г., французов-коммунистов, сидевших в лагерях, лишили французского гражданства, если кто-либо из их родителей был иностранцем по происхождению. После такой «денатурализации» заключенных переводили в лагери для иностранцев. Часто «денатурализованные» были чистокровными французами, они родились во Франции, говорили только по-французски. Многие из них сражались с врагом в рядах французской армии, были ранены и награждены орденами за военные заслуги. В своей ненависти к антифашистам правительство Петэна не считалось с тем, что эти люди защищали Францию. Именно это вызывало его особую ненависть. Лагери были не просто средством изоляции антифашистов от населения, — цель их заключалась в медленном физическом уничтожении заключенных. Французов в них не расстреливали, а только убивали «при попытке к побегу» — классический предлог для убийства. Для гитлеровцев же во время оккупации концлагеря стали резервуаром, из которого они черпали заложников. Так, после убийства в конце 1941 г. немецкого офицера в Нанте, в лагере под Шатобрианом оккупанты расстреляли 200 французов.

Итак, концлагеря в руках правительств Леона Блюма, Даладье, Поля Рейно и, наконец, Петэна стали определенным орудием борьбы с антифашистами. Антифашистов было так много, что для них не хватило бы тюрем. Кроме того, в тюрьмы нельзя было посадить тысячи людей, не предъявив им юридического обвинения. Против же концлагерей буржуазная демократия не протестовала — заключение в лагерь считалось способом «изолирования», а не репрессией. На деле же лагери были по своему режиму хуже любой тюрьмы.

Система концлагерей возникла во Франции еще до войны — в момент перехода французской границы ис-

панской республиканской армией и бойцами интербригад. Их «творцом» было правительство Даладье, мюнхенского предателя Франции. Именно тогда вдоль всей испанской границы, вдоль Пиренеев и по берегу Средиземного моря были созданы гигантские концлагеря: Гюрс, Аржелес, Сен Сиприен, Верне, Ривсальт — на 20 000–70 000 человек каждый. Все они вошли в историю испанской войны. В них загнали 450-тысячную армию, перешедшую французскую границу.

Постепенно эти лагери стали «рассасываться». Под давлением французских властей часть испанцев возвратилась в Испанию, в лапы Франко и его палачей. Из другой части французы образовали рабочие команды, работавшие во Франции. Интербригадовцы — англичане, американцы, французы, скандинавы и т. д. — разъехались на родину. К началу второй мировой войны, в сентябре 1939 г., в лагерях еще оставалось около 50 000 испанцев и интербригадовцев. Сидели в лагерях и русские белоэмигранты, сражавшиеся в рядах интернациональных бригад в Испании, хотя многие из них получили от советского консульства во Франции разрешение выехать в СССР.

Эти интербригадовцы, просидевшие свыше четырех лет во французских концлагерях, и составили основное ядро населения лагерей.

Интербригадовцы и политические заключенные были стойкими, смелыми людьми, с оружием в руках боровшиеся против фашизма. Большинство из них имело ранения, полученные в испанской войне, было немало и инвалидов. Были интеллигенты — врачи, инженеры, писатели. Но больше всего было рабочих из многих стран Европы и других частей света.

Эти концлагеря не были просто французскими лагерями. В них европейская профашистски настроенная

буржуазия расправлялась с теми, кто первыми в Европе начали вооруженную борьбу с фашизмом.

* * *

Во всех лагерях существовали организации интернированных. Роль их была очень велика. Так называемые «коллективы» объединяли людей одной и той же национальности в своего рода тайное общество взаимопомощи, не только материальной, но и моральной. Коллективы возникли среди интербригадовцев еще в 1939 г. В то время в лагерях еще кое-как кормили; кроме того, у многих имелись деньги, лагерная лавочка работала. Вначале коллективы отнюдь не преследовали чисто материальных целей. Главное их назначение состояло в культурном и политическом просвещении интернированных. Во главе коллективов стояли партийные организации.

Со времени гитлеровской оккупации положение и роль коллективов резко изменились. В лагерях наступил настоящий голод, продукты поступали все реже и реже, помощь от организаций стала слабеть. Вместе с тем усилились преследования и репрессии. Политическую и воспитательную работу пришлось почти прекратить. Основной задачей коллективов, перешедших на нелегальное положение, стало добывание продовольствия для интернированных. И это благородное дело спасло немало людей от голодной смерти, от болезни и отчаяния.

Коллектив не являлся организацией, в которую мог по желанию вступить любой заключенный. Он требовал от своих членов политической и моральной честности, и прием в коллектив происходил только с согласия всех его членов. Спекулянтам и шкурникам доступ в коллектив был закрыт. Зато иногда принимали в коллектив людей слабых, поддавшихся дурным влияниям,

а иногда даже и политически далеких от нас. Для первых коллектив являлся моральной поддержкой. Немало людей коллектив спас от нравственного падения. Вторых принимали в коллектив иногда для того, чтобы они не перешли окончательно в руки наших врагов.

Коллектив был в лагере силой, поддерживавшей всех интернированных в их борьбе за свои права. Ясно, что начальство стремилось уничтожить коллективы, дискредитировать в глазах заключенных, помешать их деятельности. Так, например, лагерное начальство стало систематически задерживать посылки и денежные переводы, приходившие на имя коллектива.

Член коллектива обязан был отдавать в общее пользование половину полученной им посылки с продовольствием и половину денег каждого перевода. В Джельфе в течение полутора лет мы выделяли по 60 процентов получаемых денег, так как там нужда была еще сильнее, чем в Верне.

Такая система облегчала положение тех, кто не имел ни посылок, ни денег. Те же, кто их получал, терпел, разумеется, некоторый ущерб, но именно в этом и выражалась общая солидарность.

Лиц, уличенных в неблаговидных поступках, шедших вразрез с общим духом, обычно исключали из коллектива. Такие решения принимались на общих собраниях.

Начальство, конечно, знало довольно точно о деятельности коллективов.

В коллективах было гораздо меньше доносчиков, шпионов, чем в лагере в целом. В некоторых же и вообще не было. Тем не менее, в условиях совместной жизни, когда почти невозможно уединиться, а люди охотно говорят друг с другом обо всем, начальство не могло не знать форм нашего общественного быта. Администрацию,

однако, больше интересовал не коллектив, а его руководители, которые почти всегда были коммунистами.

Цель внутрилагерного шпионажа со стороны администрации, а значит и «второго бюро» французского генштаба состояла в том, чтобы узнать подлинные фамилии интербригадовцев. Узнать фамилию — значило установить прошлое коммуниста и таким образом оправдать его выдачу фашистам.

## Отправка в Африку

Слухи о предстоящей отправке интернированных в Африку то возникали, то затихали. Иные радовались такой перспективе, так как намерзлись в Верне, где бараки не отапливались. В Африке, рассуждали они, по крайней мере будет тепло.

Но большинство интернированных страшила мысль об Африке. Рассказывали, что режим там поистине каторжный, письма и посылки туда идут медленно. Пугала также удаленность от Франции, от семьи и близких. В общем Африка всех пугала. Но мы тогда не предполагали, что африканская действительность окажется намного хуже самых мрачных предположений. Никто не мог предположить также, что именно Африка спасет нас от смерти, вернет на родину.

В первых числах ноября 1941 г. многих из нас стали вызывать на медицинский осмотр, который был чистой формальностью. Врач измерял кровяное давление, спрашивал о самочувствии и, не слушая ответа, тут же отпускал. Осмотр подтверждал догадки, что отправка в Африку близится. Те, у кого оказалось высокое кровяное давление, радовались, что их-то уж наверное в Африку не отправят.

Отправка первой партии состоялась в двадцатых числах ноября. Уезжала группа человек в 60, из разных кварталов. Отправляли людей вне зависимости от результатов

осмотра. Даже заболевшего тяжелой формой брюшного тифа (после прививки) — прямо из больницы. Среди отправляемых преобладали интербригадовцы и евреи. Некоторым из нашего коллектива официально объявили, что их скоро отправят в Африку. Мне и моим товарищам из числа руководителей нашего коллектива ничего не сказали, и мы несколько успокоились, но, увы ненадолго.

10 декабря после обеда комендант лагеря обошел бараки. Он появлялся в лагере редко, и всякий раз его приход был дурным предзнаменованием. Закончив работу, обрызгав крезилом уборные, бараки и прочие помещения, я бродил по двору, наслаждаясь на редкость солнечным днем. Всем работавшим вне квартала на этот раз запретили выход из лагеря. Все знали, что это делалось только в самых экстренных случаях, например, когда приезжала какая-нибудь комиссия.

Около трех часов дня ко мне подошел шеф барака.

— Вас сегодня увозят, — сказал он. — В пять часов вы должны быть у выходных ворот с вещами.

У меня екнуло сердце.

— Увозят? Куда?

Испанец сделал рукой неопределенный жест:

— Не знаю, не сказали. Думаю, что это и так ясно. Я побежал в барак укладывать вещи — до отъезда надо было получить деньги в конторе, сфотографироваться и оставить отпечатки пальцев. Словом, времени оставалось в обрез. В бараке уже знали о моем отъезде и смотрели на меня с сожалением, — так обычно живые смотрят на умирающего.

Из нашего квартала уезжало еще человек пятнадцать. Всех предупредили в последний момент…

Комендант сказал нам:

— Куда вы едете, я не знаю (конечно, он лгал), но там вам будет лучше, чем здесь. И пища лучше. А дальше все зависит от хода событий.

Если он не знал, куда нас везут, как же он мог знать, что там будет лучше? Или же он считал, что хуже Верне ничего быть не могло? Недаром мы сложили о Верне песенку:

Camp du Vernet,
Camp du Vernet,
Tu es un enfer barbelé[3]!

Пока мы выполняли последние формальности, наступил час отъезда. Я взял вещи и пошел к воротам, прощаясь с товарищами, пожимая на ходу десятки протянутых рук. Отовсюду: из-за проволоки, из кварталов, нам махали, пока по приказу коменданта «стражи» не бросились отгонять провожающих. Темнело, стоял холодный декабрьский вечер. Из ворот других кварталов также выходили группы и пристраивались к нам. Старые знакомые по Испании обнимались: находясь в одном и том же лагере, но в разных кварталах, они давно не виделись, в колонне нас набралось около 75 человек. Нас отвели в барак, расположенный в том же ряду, что и другие, но обращенный к дороге. От квартала его отделяли ряды колючей проволоки.

В пустом бараке скамейки заменяли доски, положенные на ящики. Тут мы провели ночь, так как поезд уходил рано утром следующего дня.

В бараке стоял нестерпимый холод. Ночь тянулась бесконечно долго. В 6 часов утра, в полной темноте, вошли жандармы и велели строиться по трое, с вещами. Мы выстроились. Нас пересчитали и сковали по двое наручниками.

---

[3] Лагерь Верне,
Лагерь Верне,
Ты ад из колючей проволоки!

Лагерь еще спал, было темно и тихо, нашего отъезда никто не видел. Свежий, холодный ветер дул с Пиренеев. Мы дошли до станции и в темноте сели в вагон третьего класса — по четыре человека на три места; каждую группу сопровождал жандарм. Наручники сняли лишь в поезде, когда мы разместились по местам.

Мы ехали через Тулузу. Никого, разумеется, не выпускали из вагона. Купить что-либо на станциях было невозможно: станционные буфеты пустовали. Оставалось только сидеть и глядеть в окно на тощие виноградники пиренейских департаментов.

К вечеру мы добрались до станции Ривсальт. Поблизости был устроен огромный «семейный» лагерь: французы-администраторы гордились такими лагерями, где в заключении находились семьи: мужья, жены и дети. Климат в Ривсальте гораздо мягче, чем в Верне: чувствовалась близость Средиземного моря.

Наш вагон отцепили от поезда и поставили на запасный путь; здесь мы переночевали. Ночь была тихая, теплая… Вдали смутно блестели бесконечные огоньки лагеря; казалось, там целый город. Да по существу это был город с населением в 20 000 человек. Из лагеря привезли ужин. Он показался роскошным: котелок супа, жареная на масле рыба, хлеб и по пол-литра вина, настоящего, а не разбавленного водой. Этот ужин приготовили для нас товарищи из Ривсальта, уделив часть личных посылок. Многим от непривычно обильной пищи стало плохо.

Утром, часов в семь, наш вагон прицепили к поезду, и мы поехали дальше, неумытые, небритые, измученные двумя бессонными ночами. Вдали показалось море, по-южному ясное, синее. Мимо замелькали станции, ставшие историческими: Аржелес, Сен Сиприен, Коллиюр. Это этапы жизни и борьбы интернациональных

бригад и испанской республиканской армии. Здесь, перейдя французскую границу и сдав оружие, протомились свыше двух лет сотни тысяч бойцов за свободную Испанию, здесь они впервые познали муки унижения, тяжесть лишений.

Особую известность получил Коллиюр. Это не лагерь, а форт, вырубленный в скалах, с казематами, сырыми и мрачными, где людей заставляли долгими часами дробить камни, где за малейшую провинность избивали, бросали в карцер, расстреливали. И это делал не Франко, это делалось во Франции, которая не воевала с республиканской Испанией, которая даже «не вмешивалась» в испанские дела и которой правили радикал Даладье и «социалист» Леон Блюм.

…Медленно огибая скалы, поезд шел к испанской границе, к Пор-Вандр, где нас должны были перевести на пароход. Местами дорога, казалось, висела над морем, грозно теснились скалы и взбегали отроги гор. Поезд нырнул в туннель, и через минуту показался небольшой рыбачий городок — это и был Пор-Вандр, последний французский порт перед испанской границей. Сообщение с Алжиром через Марсель было прервано, французы боялись, что англичане перехватят в открытом море их суда, и поэтому перенесли конечный пункт линии ближе к границе и к Алжиру. Таким образом, часть пути шла в испанских территориальных водах, затем вдаль Балеарских островов и после сравнительно недолгого пути в открытом море — во французских африканских территориальных водах. Этой последней части пути французские власти, по-видимому, боялись больше всего. Хотя Франция уже считалась невоюющей страной, пароход шел с погашенными огнями, а все военные спускались с палубы вниз, чтобы создать впечатление, что это обычное грузовое судно. Французам было что

прятать от англичан. Из Африки они везли во Францию огромное количество продуктов — мясо, овощи, фрукты, вино, которые поступали затем в распоряжение германских властей. Французское население верило, что все это предназначается для Франция. Но мы-то великолепно знали, что ничего или почти ничего французам не доставалось. Предатели из правительства Виши обманывали своих граждан, для того чтобы аккуратно выполнить подлые обязательства перед Гитлером.

В бухте Пор-Вандр мы увидели небольшие пароходы и военные катера. У набережной стоял довольно большой грузовой пароход, название которого мы разобрали, еще не доехав до порта: «Сиди Айша» (по-арабски — господь Иисус). Поезд прошел еще какие-то туннели и остановился на набережной у борта судна «Сиди Айша». Жандармы окружили вагон и велели нам вылезать. Мы перешли железнодорожную линию и по узкому трапу спустились в трюм. На пароходе нас встретили молоденькие стрелки морской пехоты с ружьями наперевес, стоявшие в отсеках и коридорах. Они грубо загнали нас в загон для баранов. В мирное время пароход перевозил скот из Алжира во Францию. Загоны наскоро помыли и слегка побелили известью. Однако специфический запах еще оставался в них. Здесь нам позволили размещаться по нашему усмотрению. Не было ни коек, ни тюфяков, ни соломы, ни циновок, ничего, кроме голого и грязного деревянного пола, избитого бараньими копытами.

К нам присоединили десять французских коммунистов. Среди них было несколько пожилых рабочих, носивших военные отличия прошлой войны.

Деревянная лестница из трюма вела через широкий люк на палубу. Но этот люк почти целиком был затянут брезентом, и лишь над лестницей виднелся маленький

кусочек неба. Французское начальство решило, видно, и на пароходе сохранить для нас тюремный режим. Особые часовые охраняли верхнюю лестницу и люк. Они не позволяли нам подниматься на палубу, так что до самого Алжира мы не видели ничего, кроме вонючего и грязного трюма да кусочка синего неба.

Морские стрелки, которых Петэн старался тренировать на манер гитлеровцев, обращались с нами невероятно грубо. Сытые, самодовольные, они избегали стычек с сильными, но непрочь были поиздеваться над ослабевшими заключенными. Они постоянно кричали на нас, грозили прикладами, если мы недостаточно быстро выполняли их приказы. Жандармы казались по сравнению с ними просто джентльменами. Начальник их, немолодой лейтенант, по-видимому, сочувствовал патриотам. Он обращался с нами вежливо, выполнял все просьбы, следил за качеством выдаваемой пищи.

Наступила ночь — мы сидели в трюме и пели. Французские матросы собрались у люка послушать нас. Но стрелки, вероятно, сочли это вольностью и потребовали прекратить пение. Мы сидели молча в абсолютной темноте. Даже курить в трюме строжайше запрещалось. Правда, у большинства нечего было курить. Из Верне мы уехали, так и не получив причитавшегося нам табака. Комендант квартала ждал отъезда, чтобы присвоить наш табак.

Море было совершенно тихое. Пароход не качало, хотя он шел без груза, если не считать нас и нескольких пассажиров-французов. Из Франции в Алжир тогда ничего не возили. Единственным товаром, оставшимся еще у Франции, являлись мы — «политические преступники». На третий день к вечеру мы стали на якорь. С палубы во тьме можно было различить какие-то горы, впереди мелькали огни большого, неизвестного города.

На другое утро пароход подошел к пристани. Мы медленно стали выходить на берег, ослепленные ярким светом солнца. Я узнал город — это был Алжир, нарядный, богатый, сверкающий. Нас сразу же повели в огромный пакгауз, построили, пересчитали, выделили несколько человек для выгрузки тяжелого багажа. Нас конвоировали уже не жандармы, а арабские стрелки в красивой форме цвета хаки, с тюрбанами на голове. Время от времени они покрикивали на нас — не грубо, а скорее для порядка. Командовал ими француз — лейтенант, высокий, усатый, сухопарый, державшийся с нами резко и зло.

Приехал грузовик, шофер-полицейский забрал багаж и уехал. За нами прибыла тюремная карета-автомобиль, с решеткой на единственном оконце, выходившем в кабину шофера. В него впихнули 27 человек, так что мы могли только стоять, да и то тесно прижавшись друг к другу; вдобавок еще влез жандарм. Машина пошла куда-то вверх по улицам.

Наконец, карета остановилась, дверь раскрылась, пахнуло мягким теплом африканской зимы, стало даже жарко. Перед нами высилось большое белое здание. Это был благотворительный ночлежный дом.

По чистой мраморной лестнице мы поднялись на третий этаж, очевидно, недавно построенного дома. На каждой площадке стояли алжирские стрелки, красивые, с грустными глазами, державшие винтовки наизготовку. Эта первая ночь в Алжире осталась единственным светлым воспоминанием о нашем путешествии.

На ночь нас поместили в большом и светлом зале, где, как в больнице, у стен стояли кровати с чистыми тюфяками, но только без простынь и без одеял. Все же приятно было лежать на настоящей кровати. Над каждой висела дощечка с именем «благотворителя» — это,

немного напоминало надписи на могильных плитах. Разместились мы все вместе, только группу уголовных отправили в соседнюю комнату.

Мы пообедали в большой столовой с длинным столом, на котором стояли, как в ресторане, приборы — тарелки, вилки, ножи, ложки, — то, чего мы так долго не видели в лагере. Едва обед закончился, прозвучала команда: «Встать! Смирно!» Пришел лейтенант, который командовал охраной и должен был нас сопровождать до Джельфы. Он сухо и резко отдал приказ подняться всем наверх и велел ничего не пачкать и не ломать — под угрозой наказания. Это был не жандарм, а обыкновенный офицер, один из тех, кого некоторые французские писатели так любили выводить в своих романах в роли «цивилизаторов» Африки.

В нашей комнате (кроме нас, во всем доме никого не было) стояли часовые-арабы, так же как и вдоль лестницы и на улице перед домом. Из окон была видна улица с характерными алжирскими домами. Там сновала толпа, белели одежды арабских женщин, с закрытыми чадрой лицами. Арабы-часовые говорили с нами дружески и называли нас словом «товарищ». Некоторые из них работали во Франции, слышали о революционной борьбе, об Испании, о политике. Они оказали нам ряд услуг, по большей части совершенно бесплатно. Через арабов мы купили папиросы, недоступные в Верне, тут их продавали в неограниченном количестве и по 1 франку 75 сантимов за пачку, т. е. вчетверо дешевле, чем во Франции. Все набросились на курево и не выпускали изо рта папиросы, прикуривая одну от другой.

Накупили мы также хлеба, яиц, крупных, сочных фиников, конфет, апельсинов, мандаринов. Арабы принесли нам ароматный, дымящийся кофе в больших чашках.

Подозрительно вежливый прием в Алжире, хороший обед, папиросы, кофе и даже вино так взбудоражили нас, что мы почти всю ночь не спали, бродили, разговаривали, смеялись, курили, пили кофе. Мы не знали, что нас ожидало в Джельфе, а то мы бы вспомнили ту папиросу и тот стакан рому, которые во Франции предлагают осужденному на казнь. Для чего было устраивать всю эту комедию? Чтобы еще горше нам показалась Джельфа?

Рано утром, часов в пять, в полной темноте, нас разбудили, велели собрать вещи, посадили в тюремные автомобили и повезли на вокзал. Город еще спал, фонари под синими рефлекторами бросали мягкий свет, в порту смутно вырисовывались силуэты каких-то судов. Как не похож был алжирский порт в этот декабрьский день 1941 г. на Алжир, который я увидел через полтора года после освобождения. Сейчас в порт прибывали только ссыльные, жертвы правительства Виши.

На вокзале в ожидании поезда собралась большая толпа. Мы смешались с нею и легко могли бы скрыться, бросив свой багаж. Жандармы сами потеряли нас из виду. Один из нашей партии, уголовник из Парижа, действительно сбежал — у него, по-видимому, имелись свои люди в Алжире.

Но куда мы могли бежать, даже будь у нас деньги? Нас узнали бы по одежде и забрали бы на первом перекрестке. Связей в Алжире ни у кого из нас не было, уехать отсюда можно было только в Испанию, а там опять арест, а быть может, и расстрел. Бежать в пустыню, вглубь Африки, значило обречь себя на верную смерть.

Уже рассветало, когда поезд пересек окрестности Алжира, богатые и нарядные, огибая апельсиновые и лимонные рощи, на которых еще висели золотые и оранжевые плоды. Через час мы пересели на узкоколейку.

У входа в вагон стояли алжирские стрелки — мы увидели ружья с примкнутыми штыками. Сегодня стрелки

были не так приветливы, как накануне: с нами ехал их начальник — «аджюдан» (старшина). Сопровождали нас также несколько жандармов. В вагоне было нестерпимо душно, хотелось пить, но командир почему-то запретил брать воду на станциях, и мы изнывали от жажды. Дорога поднималась в гору, шла по склону Атласских гор, поднималась до самого гребня. Станции были безлюдны, городки располагались где-то в стороне от них. На полях чернели глиняные мазанки и черные палатки — жилища арабов. Обитатели их были до того оборваны, что рядом с ними даже мы казались элегантными. Они не пользовались никакими политическими и даже гражданскими правами. Чтобы получить их, надо было, живя у себя на родине, приобрести французское гражданство.

По официальным отчетам генерал-губернатора Алжира, за 80 лет, с 1856 по 1936 г., французское гражданство получили всего лишь 2250 арабов. За этот же период французское гражданство было предоставлено десяткам тысяч европейцев — испанцам, итальянцам и т. д. Горы кончились, и потянулось плоскогорье — голая, унылая равнина, поросшая альфой. Вдоль железной дороги шло асфальтированное шоссе. Кое-где виднелись стада баранов, важно шествовали караваны верблюдов. Стало темнеть, и на равнине желтыми точками засверкали костры возле не видимых теперь жилищ. В полной темноте поезд подошел к какой-то станции и остановился: это была Джельфа — маленький городок в 350 километрах к югу от Алжира, в преддверье Сахары.

## Лагерь Джельфа

Мы вышли из вагона, усталые, с затекшими от долгого сидения ногами, голодные, измученные жаждой, так как весь день, кроме фиников, ничего не ели. На темной станции горел один керосиновый фонарь. После выгрузки

вещей нас построили по трое, затем, навьючив на себя багаж, мы по команде двинулись в путь.

Мелькали во тьме какие-то дома, деревья. Поднявшись на холм, мы вошли в ворота и очутились на большом дворе. Все опало, мы не встретили ни души. Нас ввели в просторное, сырое помещение с решетками на окнах. Здесь не было ни кроватей, ни столов, ни стульев, ни даже соломы. За нами щелкнул замок.

В абсолютной темноте мы сбросили вещи на пол. Стали стучать в дверь — нам хотелось пить, нужно было в уборную. Дверь долго не отворяли. Арабы грубо спрашивали из-за двери: «Чего тебе?» А когда мы объясняли, в чем дело, они отвечали: «Сидите смирно». Мы стали стучать все громче и громче. Тогда дверь открылась, вошел какой-то штатский с лицом алкоголика в сопровождении двух солдат-арабов, несших фонарь.

— Чего вы скандалите? Чего вам нужно? — резко спросил он.

Мы объяснили, в чем дело.

Штатский бессмысленно уставился на нас оловянными глазами: он был совершенно пьян.

— Завтра утром вы получите кофе. У всех есть вилки, ножи, ложки, котелки?

Мы ответили, что есть почти у всех.

— Ну, смотрите, чтобы завтра к утру у всех было. (Как будто за ночь мы могли купить недостающие нам предметы!)

Мы повторили нашу просьбу. Но он, словно не слыша, упрямо твердил:

— Вы будете ночевать здесь, завтра получите кофе. И собрался уходить. Кто-то бросился за ним вслед, повторяя нашу просьбу. Тогда штатский (позже мы узнали, что это был Гравель, правая рука коменданта лагеря Кабоша) обратился к арабам:

— Можете сводить их в… — он оказал грубое французское словцо, — по двое, по трое, не больше, — и ушел.

Пришлось располагаться спать в темноте, на цементном сыром полу. К счастью, у некоторых нашлись спички, даже свечки, и огромное, унылое помещение слабо осветилось. У выходных дверей стояла очередь в уборную. Арабы принесли нам ведро воды, и мы тотчас же ее выпили. Кожа зудела от укусов вшей, и, хотя мы измучились в дороге, сна не было — на цементе лежать было нестерпимо жестко и холодно.

Утром нас стали выпускать во двор к умывальнику, где мы с наслаждением окатились ледяной водой. Во дворе увидали наших будущих товарищей по лагерю. Вид у них был какой-то забитый. Урывками они рассказали нам, что мы находимся в форту Кафарелли, что лагерь расположен в полутора километрах отсюда, что комендант лагеря Кабош — палач и сущий зверь, а его помощники Гравель и араб Ахмет не лучше.

Вскоре стали вызывать на допрос. Вел допрос комендант с помощниками. Тут мы впервые увидали знаменитого Кабоша. Высокий, моложавый, с тяжелой нижней челюстью, с холодными бледно-голубыми глазами, он сразу производил впечатление человека крайне жестокого, даже ненормального. Впрочем, это было понятно. Агент «второго бюро» французского генерального штаба, Кабош задолго до войны попал в Польшу, где шпионил против СССР. Здесь он женился на богатой польке, приобрел немало движимого и недвижимого имущества где-то около Белостока. С возвращением Западной Белоруссии в состав Советского Союза Кабош лишился всего, что добыл. Поэтому он люто ненавидел все советское. Кабош говорил по-польски и с самого начала стал заигрывать с интернированными поляками, в глазах которых

хотел играть роль покровителя. Вся его тактика заключалась в том, чтобы ссорить между собой национальные группы, разъединять их и ослаблять этим наше сопротивление.

Меня допрашивал также Кабош. Ответив на обычные вопросы, я сказал, что считаю себя военнопленным, ибо был арестован и интернирован без всяких к этому оснований, уже не говоря о том, что гитлеровская Германия напала на мою родину. Кабош слушал, глядя куда-то в сторону, а потом вяло сказал:

— Здесь для меня вы такой же интернированный, как и другие.

Узнав из моих бумаг, что в лагере я единственный, имеющий советский паспорт, он возненавидел меня острой ненавистью, и мне не раз пришлось испытать на себе ее силу.

После допроса нас кое-как покормили, тщательно обыскали, отобрали все деньги, документы, записи, фотографии. Затем отвели в лагерь.

Лагерь Джельфа был создан как дисциплинарный лагерь для иностранцев, иначе говоря, это была каторга, куда ссылали без суда, по решению префекта департамента. Вначале его официально называли, как это значилось и на печати, «концлагерем для политических интернированных». Потом, уже при нас, его переименовали в «центр пребывания под надзором», можно было подумать, что люди жили там, как хотели, а власти только наблюдали за ними.

…Мы все знали и любили Францию — очаг европейской культурной жизни, страну, провозгласившую великие революционные лозунги и принципы, страну Парижской коммуны, родину великой и глубоко человечной литературы. Но был у Франции и задний двор, пристанище реакционной лжи и злобы, где люди

оставались первобытно жестокими, хотя их жестокость и маскировалась поверхностно воспринятой культурой. В лагере нам пришлось увидеть именно эти задворки Франции в период, когда в стране восторжествовала самая гнусная реакция — французская агентура Гитлера…

Расположенный на склоне холма, открытый холодным ветрам, лагерь имел форму огромного прямоугольника, обнесенного тремя рядами колючей проволоки. Возле нас стояли жалкие соломенные шалаши, у которых несли охрану закутанные в бурнусы арабы. В каждом углу с башенки на лагерь глядело дуло пулемета.

Лагерь пересекала скользкая, глинистая дорога, а по обе стороны от нее белели остроконечные палатки. В одном конце лагеря высились два длинных барака из необожженных кирпичей, один уже достроенный, другой — с неоконченной стеной и без крыши. В лагере была небольшая площадка, огороженная колючей проволокой, где стояло семь палаток. Входные ворота запирались на замок. Это был «специальный лагерь», куда помещали на некоторое время вновь прибывших.

К моменту нашего прибытия там еще оставалась группа немцев-антифашистов, бывших бойцов интербригад. Нас поместили в палатку военного образца. Она была на шесть человек. Нас же было десять. Пол в палатке был земляной, края ее не доходили до земли, и в щели дул сильный ветер. Ни циновок, ни соломы не было. Пришлось разостлать одеяло прямо на сырой земле. К счастью, первая ночь была не очень холодной. Из лагеря было видно железнодорожную станцию, унылые, голые горы. На горизонте, на отлогом склоне, синел далекий лес. Более унылый пейзаж трудно было найти в окрестностях Алжира.

Комендант лагеря Кабош, как уже говорилось выше, был из тех офицеров, чья служба большей частью

прошла во «втором бюро». Как известно, «второе бюро» всегда играло крупную политическую роль в стране. Достаточно вспомнить знаменитое дело Дрейфуса, инсценированное реакционной военщиной. После мировой войны 1914–1918 гг. «второе бюро» стало органом политической разведки. Оно занималось главным образом политическим сыском, дополняя работу французской охранки (Sûreté générale). Это была, так сказать, высшая инстанция политического сыска. Основная задача «второго бюро» заключалась в борьбе с рабочим классом и передовым общественным движением, в частности, с теми, кто симпатизировал СССР.

На работу во «второе бюро» брали преимущественно реакционеров, закоренелых врагов французского народа. В этом смысле подбор был весьма «строгий».

Кабош состоял на службе во «втором бюро» лет тридцать, так же, как и его непосредственный начальник, полковник Бро, комендант военного округа Лагуа, в ведении которого находился лагерь Джельфа. Лагерный персонал, начиная с Кабоша и кончая надсмотрщиком, занимался воровством, крали нагло, на глазах у всех.

Помощники Кабоша, робкие с начальством, в обращении с нами были наглы и жестоки. Кабош превратил лагерь в огромное плантаторское предприятие, основанное на рабском труде интернированных. Больше всего доходов он получал от «экономии» на нашем питании (около 6000 франков в день). В своей деятельности Кабош вдохновлялся правилом, общим для всех чиновников правительства Виши: награбить возможно больше и в наиболее короткий срок.

Чтобы избежать издевательств и голодной смерти, мы решили пойти работать. Нам предстояло выбрать один из следующих видов работы: изготовление кирпичей из глины, каменоломня, плетение из альфы,

обслуживание в лагере — чистка и уборка параш, работа в душе и т. д. Я записался на плетение альфы. Этому искусству обучали особые мастера — испанцы, работать можно было сидя в своей палатке. Мне казалось, что это наиболее подходящее для меня занятие. Я научился плести из альфы веревки и широкие полосы, из которых делались циновки. Первое время мне приходилось работать весь день, чтобы выполнить установленную норму.

Но работа с альфой оказалась вовсе не такой безобидной, как поначалу казалось. Жесткая трава колола и сдирала кожу, вызывая нагноения и нарывы. Из альфы, кроме веревок и циновок, в лагере плели мешки для угля, торбы для ослов, коврики и т. п. Нашли мы и еще один способ применения альфы, о котором начальство не подумало. Она, оказывается, прекрасно горит, хотя и дает много копоти. И вот во всех палатках запылали костры, требования на альфу возросли. Случайно об этом узнал Кабош. Раз как-то он увидел в палатке костер из альфы, бросился на заключенных с хлыстом и избил их.

Изготовлением изделий из альфы занимались человек 200, главным образом испанцев — необычайных виртуозов этого дела. От продажи продукции из альфы лагерное начальство получало огромные барыши.

Некоторые заключенные работали в каменоломне, они подрывали скалы динамитом, разбивали кирками и ломами камень и складывали его в кучи возле дороги. Камень шел на постройку дома для лагерного начальства и склада, а также на продажу. Доход от этого также шел в карман коменданта.

Около лагеря был построен кожевенный завод, где из бараньих шкур шили «канадские куртки» — короткие полушубки с воротниками. Там же изготовлялось мыло.

Несколько дальше был кирпичный завод, где изготовлялся кирпич для лагерных построек и на продажу в город.

Жизнь наша в лагере текла однообразно. Зимой, всегда холодной, дул круглые сутки ветер. Он яростно бился о стены палатки, раскачивая тонкую мачту, на которой держался ее свод. От этого подвешенные к мачте котелки, ударяясь друг о друга, жалобно звенели. Порой порывы ветра были так сильны, что мачта гнулась, и казалось, палатка вот-вот рухнет.

Впрочем, это не только казалось. В темные зимние ночи порывы ветра не раз вырывали из земли колышки, к которым полусгнившими веревками привязывали палатки. Обрушивалась мачта, леденящий ветер и поток дождя будили нас. Мы вскакивали, выпутывались из полотнища и в кромешной тьме замерзшими пальцами нащупывали концы веревок, вбивали камнями в оледеневшую землю колышки, снова устанавливали мачту на место.

В семь утра, в самый холодный час, когда небо только светлеет, а солнце еще не взошло, надо выстраиваться на поверку.

В холодные дни нас держали в строю дольше обычного, зная, что мы сильно мерзнем в рваных пальто. Когда же мороз был особенно суровый, нам напоминали, что огонь в лагере разводить запрещено и за нарушение приказа виновного ждет тюрьма.

Несколько раз в неделю обход делал сам Кабош. Его сопровождали всегда «аджюдан» Ахмет, вечно пьяный Гравель и огромная немецкая овчарка, которую он натравливал на интернированных. В руке Кабоша был хлыст, с помощью которого он расправлялся с интернированными во всех случаях.

Иногда нам удавалось достать немного риса, фиников, масла. Тогда в палатках начиналась варка. Разведя

украдкой огонь в очаге, сложенном из камней, мы ставили большой котел. Если появлялся Кабош, Гравель или Ахмет, кто-нибудь из наших кричал:

— Агуа! — что по-испански значит — вода.

Услышав этот крик, мы быстро гасили огонь…

Рядом с лагерем был огромный огород, в котором работали интернированные. Кабош с гордостью демонстрировал его посетителям. В огороде выращивали капусту, лук, картофель, прекрасные дыни, морковь, репу; все это забиралось на кухню коменданта и его помощников. Тем не менее он не стеснялся заявлять, что овощи с огорода поступают нам.

Довольно много народа работало в городе, у частных лиц. Это считалось привилегией. На такие работы брали главным образом испанцев-анархистов. Интер-бригадовцев и вообще членов коллективов туда не посылали. Предприниматели платили Кабошу в день за человека 40–50 франков. Работавшему же выплачивалось не более 5 франков.

Строили в лагере на редкость бестолково. На кладку наших бараков шли кирпичи, покрытые известкой. Через неделю штукатурка обваливалась. Крыши протекали во время дождя. Осенью на крышу бараков набросали землю с гравием. При первом же дожде грязные потоки земли потекли в бараки. В каждом бараке было по шесть маленьких окон без стекла. Их забивали досками, оставив маленькие щели для света.

Внутри бараков в два этажа высились нары из неструганных досок. Люди лежали на них плечо к плечу. Земляной пол, пыльный в сухую погоду, превращался в грязь во время дождей. Полковник Бро, увидев в первый раз эти бараки, сказал:

— Да тут и куры не выживут.

Вероятно, в отношении кур он был прав.

Но люди здесь жили.

За малейшие «проступки»: за доставку продуктов в лагерь, за разведение огня, за опоздание на поверку нас сажали в тюрьму. Иногда сажали ни за что ни про что, для «острастки». В тюрьме перебывала половина лагерного населения.

Помещалась тюрьма не в лагере, а в форту Кафарелли, близ города, на холме. Джельфа — когда-то крепость — была обнесена узкой кирпичной стеной с бойницами. Теперь форт Кафарелли служил казармой для арабских стрелков и тюрьмой для нас.

Камеры тюрьмы имели в длину 3 метра, в ширину — 1 метр 25 сантиметров. Всю их площадь занимала «кровать» — цементная плита в 60 сантиметров ширины. Зимой на ней лежать было невозможно. Потоки сырости струились по стенам, холод проникал через расположенные под потолком окна с разбитыми стеклами. В углу стояла «параша» — дырявый железный ящик высотой около метра.

Перед отправкой в тюрьму людей обыскивали, отбирали все вещи — курить, читать, писать в тюрьме не разрешалось. Рацион состоял из 150 граммов хлеба в полдень и жидкого супа вечером — его приносили из лагеря уже остывшим.

Зимой обычно на третий или четвертый день заключения людей отправляли из тюрьмы прямо в больницу. В августе 1942 г. мне довелось просидеть в тюрьме 17 дней. Меня отослали туда за то, что я в письмах к жене якобы писал о «политике». Товарищи с большим трудом передавали мне пищу, папиросы, газеты, один раз даже одеяло. Без этого я вряд ли бы выдержал эти бесконечно долгие 17 дней.

С первых дней заключения я вел дневник. Писать его было нелегко: приходилось прятать от начальства, от

обысков, от шпионов. К счастью, дневник ни разу не попал к ним в руки. Было трудно достать блокнот или даже бумагу. Зимой в Джельфе, когда мы жили в палатках, от холода коченели руки. Через каждые пять-шесть минут приходилось бросать перо и бежать из палатки, чтобы согреться. Когда меня освободили, начальству было не до обысков. Так мне удалось спасти и привезти с собой в Москву эти потрепанные листочки.

Привожу некоторые выдержки из дневника.

*8 октября 1942 г.* Сегодня у нас спектакль. Будет выступать русский хор. В барак провели электричество, из столов соорудили сцену, а из одеял занавес… Испанцы пели нестройно, но песни у них отличные. Русский хор пел очень хорошо, даже полковник пришел в восторг.

*13 октября.* Вчера праздновали «испанский день». Показали спектакль — живой, остроумный. Устроили выставку наших «изделий» из костей верблюда (когда верблюд околевал, нас кормили его мясом), из волоса, самолеты из алюминия, туфли из… альфы.

*15 октября.* Из Берруагия привели в лагерь немца Карла Фолькхарда. Это — шпион, провокатор. Его узнали и избили.

Вечером он вскрыл вены на руках. Его увезли в больницу. Рана оказалась пустяшной. В барак он больше не вернулся.

*17 октября.* В лагерь приезжал пастор, служил в бараке. У нас теперь имеются три «религиозные» группы: иудейская, протестантская и православная. В них записались наименее сознательные элементы, желающие получить хоть что-нибудь в дополнение к голодному

пайку. Но помощь получила только еврейская группа, так как в Алжире много богатых еврейских коммерсантов, которые ей помогали. Протестантский пастор кормил своих единоверцев только проповедями. Православная группа вообще ничего не получила, потому что не оказалось в Алжире даже попа.

Любопытно, что должности секретарей во всех этих религиозных группах заняли евреи.

Вчера приезжала в лагерь итальянская комиссия. К ее приезду Кабош приказал убрать с башен пулеметы, переодел солдат в штатское. Обещал обед из четырех блюд. Впрочем, только обещал. Мы его так и не получили.

В январе 1942 г. лагерь посетил алжирский генерал-губернатор Шатель. К его приезду на кухню привезли 10 бараньих туш, картофель, финики, апельсины. Мы радовались — хоть раз хорошо поедим.

Шатель прошел на кухню:

— Вы даете им слишком много мяса, — заметил он Кабошу.

— Да ведь они работают, их надо кормить, — лицемерно возразил тот.

Шатель уехал. А час спустя мясо, картофель и апельсины были вывезены из лагеря. Так мы ничего и не получили.

*8 ноября*. Вчера тайно праздновали годовщину Октябрьской революции: были доклады, декламации, пели песни. Праздник прошел с большим подъемом. Вести из Союза хорошие, у всех радостно на душе.

Невероятный слух: сегодня англичане и американцы высадились в Алжире. Из Джельфы против них отправлен отряд спаги с восемью орудиями. В дороге оказалось, что у двух орудий нет замков.

Кабош принял меры по «укреплению» лагеря. На дороге, ведущей из Алжира в лагерь, выкопаны три пулеметных гнезда и установлены в них пулеметы. Разумеется, ни о каком сопротивлении англо-американским войскам, если бы они подошли к лагерю, не может быть и речи.

Полковник Бро в Лагуате заявил, что будет сопротивляться американцам до конца. И… уехал в Алжир. Петэновские «легионеры», снявшие вчера свои значки, снова их нацепили.

*12 ноября*. Вчера через Джельфу проехали на автобусах англичане, освобожденные из лагеря для интернированных в Лагуате. В Джельфе их отлично накормили. Они едут в Алжир в классных вагонах. А мы все сидим…

В нашем лагере находится только один англичанин, старик, владелец финиковых плантаций в Бискре. Посадили его потому, что кто-то хотел воспользоваться случаем и завладеть его плантациями.

Сегодня по приказу из Алжира его также освободили.

Я пошел к Кабошу и опросил, почему не освобождают из лагеря русских. Кабош ответил: — Не ваше дело.

У входа в канцелярию вывешено объявление о том, что никакие просьбы об освобождении из лагеря не принимаются.

В Алжире состоялись манифестации. Участники требовали нашего освобождения из лагерей. Полиция разогнала людей.

Узнав о высадке англо-американских войск в Алжире, мы воспрянули духам, а начальство, наоборот, притихло. Но, увидев, что о нас забыли, Кабош снова распоясался. Странно все-таки, почему английские и

американские власти нас не освободили. О существовании лагерей они, конечно, не могут не знать.

*5 декабря*. Сегодня наша группа праздновала день Конституции. Теперь празднуем открыто, с речами. Праздник удался на славу. С гостями в бараке нас набралось человек 150. Пили настоящий кофе, ели пирожные из фиников и желудей.

*7 декабря*. Сегодня утром Кабош вызвал поляков и опрашивал их, не хотят ли они служить в польской армии. Большинство ответило: «Да, если меня призовет польское правительство». Кабош пришел в ярость, кричал: «Я представляю здесь польское правительство». Один поляк сказал: «Нет, пан комендант, я два года дрался в Испании, сижу четыре года в лагере, с меня хватит». Другой заявил, что он никогда не служил в армии. Тогда Кабош записал его не поляком, а апатридом. Потом опять спросил: «А служить все-таки хотите?» Тот ответил, что хочет. Тогда Кабош его записал «волонтером». Многие поляки отвечали, что они не польские граждане, а советские.

*9 декабря*. Полковник Бро из Лагуата вызвал старост батраков и потребовал, чтобы они усиленно следили за дисциплиной. Грозил, что у него 200 штыков и пулеметы и что он заставит нас слушаться.

Зима началась. День и ночь дует ветер. Топлива не дают. Пища ухудшается.

*18 декабря*. Сегодня алжирские газеты напечатали послание адмирала Дарлана американскому генералу Эйзенхауэру. Дарлан заявляет, что все заключенные и интернированные, подданные Объединенных наций

освобождены. На основании этого послания я написал Дарлану заявление. Секретарь Кабоша — фашист Гризар сказал мне, что вряд ли оно дойдет. Я ему: «Но ведь на основании послания Дарлана мы должны быть уже освобождены?» Гризар ответил нагло: «Это относится только к гражданам Объединенных наций, а я не знаю, являются ли русские таковыми».

*25 декабря*. Сегодня рождество. Сыро, холодно. Кабош лишил нас «праздничного» обеда за то, что хор отказался петь в городе. На обед вода с макаронами и картошкой, вечером вода с картошкой. Кабош потребовал у музыкантов, чтобы они сдали ему инструменты. Те отказались. Год назад Кабош послал бы арабов с винтовками, чтобы отобрать силой. Теперь он этого не смеет. В лагерь прибыло двое интернированных: один бельгийский граф, фашист, другой молодой бельгиец, тоже фашист. Американские власти их арестовали, как шпионов. Граф вербовал в Алжире добровольцев в «антибольшевистский легион», Кабош устроил графа на теплое местечко — в интендантство.

*26 декабря*. Вчера вечером лагерь облетело известие, что Дарлан убит. К нам не приходят давно ни письма, ни посылки от родственников и друзей — Франция для нас закрыта.

*29 декабря*. В коллективе деньги кончились. Последние затрачены на встречу Нового года. Мы сидим на чемоданах — каждый день ждем, что нас освободят англичане. В этом месяце из-за высадки англо-американских войск мы столько раз устраивали праздники, что растратили вое деньги и продукты. Мы думали, что теперь нам все это уже не нужно.

*1 января 1943 г.* Незабываемый торжественный день. Мы сделали два больших плаката из одеял — на них буква «V» из флагов Объединенных наций. На польском плакате — фамилии советских и союзных генералов, посредине слово «единство» на всех языках лагеря. Были речи, пели русский и испанский хоры. Все это в пещерной обстановке барака, заставленного старыми, грязными вещами. Сделали пудинг из фиников, по кило на брата, съели все дочиста. В 12 часов ночи вышли наружу. Ночь была темная, звездная. Дрожа от холода, накрывшись одеялами, собрались на площадке между бараками. Там стояли большие чучела Гитлера и Муссолини, привязанные к железной штанге. В полночь их зажгли. Они запылали гигантским факелом, осветили наши бараки, людей в лохмотьях и в одеялах, колючую проволоку. Искры летели в звездное африканское небо. При свете костра один из заключенных, испанец, произнес речь о победе и единстве. Пока мы пели, пламя бушевало, чучела корчились на огне. Все поздравляли друг друга с близкой победой, со скорым освобождением. Плакали от волнения, обнимались. Затем разбрелись по баракам; они показались нам еще грязнее и унылее, Джельфа спала, сонные, замерзшие часовые-арабы молча глядели на нас через проволоку.

*3 января*. Никаких намеков на освобождение. Газеты публикуют приказ Жиро об освобождении «некоторых» политических заключенных, «отличившихся на войне или проявивших патриотизм». К иностранцам и интернированным это не относится. Ясно, что для нас не будет никаких перемен, пока англичане и американцы не возьмут власть в свои руки и не обуздают французских фашистов. Но союзники почему-то не торопятся…

*6 января*. Сегодня французскими властями освобожден бывший атаман Белый, гитлеровец. Значит, фашистов освобождают, а нас нет?!

Из Алжира в Лагуат привезли немцев и итальянцев, членов германской и итальянской комиссии по перемирию в Алжире. Высадка англо-американских войск произошла так внезапно, что эти господа не успели удрать и попали в плен. В Джельфе их накормили отличным обедом, потом на автокарах отправили в Лагуат.

*11 января*. Кабош свирепствует. Вывесил объявление, запрещающее приближаться к проволоке ближе, чем на 6 метров. За «саботаж» внутри лагеря вводятся суровые наказания. Дело в том, что мы спилили на топливо несколько столбов, на которые подвешена колючая проволока.

Поляков снова позвали на комиссию, но только одних католиков. Их допрашивал польский консул в Алжире, граф Чапский, нацистский холуй, который в прошлом году усердно вербовал поляков для работы в Германии. На этот раз он приглашал поляков записываться в польскую армию Сикорского.

Потом Чапский собрал всех поляков в новом бараке и произнес речь. Суть ее примерно в следующем: «Речь идет не о борьбе против Гитлера, это дело союзников, ваше же дело — восстановить великую и свободную Польшу, борясь против всех, кто этому мешает». Затем у каждого он спросил: «А будете ли вы драться, если это понадобится, против России?» Поляки в один голос ответили, что против СССР никогда не пойдут, Хорош «дипломат»!

Радостные новости из СССР: освобождены Георгиевск, Минеральные Воды. Вот откуда придет наше освобождение.

*21 января*. В лагере случай сыпного тифа. Начальство напугано. По предложению лагерного врача, комендант поручил борьбу с тифом мне. Наш коллектив энергично поддерживает меня.

Вчера приехала долгожданная комиссия — английский вице-консул и с ним офицер. Кабош вызвал меня в бюро для составления списка русских. Несмотря на то, что Кабош вертелся рядом и всячески пытался меня поскорее удалить, мне удалось сказать англичанам главное.

Забрав списки, комиссия уехала.

*24 января*. Воскресенье, скучное, пустое. Пытаемся вести борьбу со вшами. Но безрезультатно, нет белья, одежды, мыла.

Вчера освободили одного испанца-фашиста, который раньше служил у Франко, а потом занимался спекуляцией в Алжире.

*13 февраля*. В лагерь стали привозить новых интернированных, в большинстве случаев бывших «легионеров» Петэна, типичных уголовников.

Прошло больше трех недель со дня приезда английской комиссии, а мы все еще сидим! Холодно и голодно. Денег почти нет. Уже неделю дует ледяной северный ветер.

*16 февраля*. В последние недели мне довелось быть представителем группы советских граждан, и все переговоры с Кабошем велись через меня. Вчера Кабош вызвал меня в бюро. Он был в штатском и, к величайшему изумлению, весьма вежлив. Говорит: «Извините, что вас беспокою. У меня срочное дело. Завтра, в 9 часов утра, соберите всех русских на площадке перед метро (так мы

называли темный барак, построенный по плану Кабоша и напоминающий станцию парижского метро). По-видимому, вашими делами занялись всерьез».

Рано утром мы собрались в указанном месте. Пришел Кабош, злющий, как собака. Увидел за нашими спинами любопытных испанцев, закричал на них, прогнал. Потом злым голосом приказал: «Приготовьте вещи, сейчас за вами приедут грузовики и отвезут в Алжир». Сказал и ушел.

Волнение неописуемое. Стали проверять списки русских, составленные нами же. В лагере вдруг объявилось множество «русских», которые до сих пор никогда об этом не заявляли.

В 3 часа Кабош сообщил, что грузовики вызваны в другое место, а мы поедем поездом, и не сегодня, а через несколько дней. Нам вернули только одеяла и посуду. Спим на голых досках.

Газеты сообщают об освобождении Ростова и Луганска.

Сегодня в лагерь приехала французская санитарная комиссия. В лагере после нашего отъезда будут размещены немецкие и итальянские пленные. Комиссия нашла, что помещение околотка не годится, велела построить новое. Для фашистов оно оказывается не годится, а для нас хорошо.

*19 февраля*. Из лагеря освобожден еще один русский — белоэмигрант, фашист. Он уехал в Алжир. Интересно, что в справке об его освобождении Кабош не проставил числа.

В тюрьме уже месяц сидит бельгиец, которого посадили за то, что он пожаловался капитану «Добровольческого корпуса» на грубое обращение с нами и плохую кормежку. Сегодня его друзья-испанцы устроили мани-

фестацию, требуя его освобождения. Кабош пришел в ярость, выслал против них арабов с винтовками, выкатил пулеметы и поставил их у ворот лагеря. Он потребовал, чтобы манифестанты немедленно разошлись.

Затем Кабош приказал отрезать группу интернированных у околотка и отвести их в тюрьму. Но к этой группе быстро присоединились почти все. Увидев это, Кабош махнул рукой. Все постепенно разошлись по баракам.

Но Кабош успел вызвать из города войска. К лагерю подъехали спаги в красных плащах и офицеры. Они постояли, поговорили и уехали обратно. Говорят, вечером вся Джельфа хохотала над Кабошем. В городе его презирают.

*20 февраля*. Приехал в лагерь полковник из Лагуата, велел созвать представителей групп и стал кричать:

— Я хочу, чтобы вы оставили меня в покое. Если вы этого не сделаете, я сумею вас обуздать, у меня есть танки и самолеты. Испанцы в этом лагере — уголовные преступники, осужденные на родине за кражи и убийства. А немцы не должны забывать, что они выходцы из стран оси. Русские еще отсюда не уехали. Здесь командуют французы и генерал Жиро…

Речь безнадежно глупая. Испанцы возмущены. Испанский шеф лагеря, анархист Доменек, слушал речь и ничего не возразил. Все испанцы в лагере требуют отставки Доменека.

*23 февраля*. Отпраздновали день Красной Армии. Кабош вынужден был разрешить нам это официально. На эстраде на красном фоне сделали надпись: 25 лет РККА и пятиконечную звезду из имен советских генералов.

На другой день меня вызвал Кабош.

Необычайно мягким тоном он сказал:

— Мне кажется, что вы вчера нарушили дисциплину, вывесив на эстраде красное знамя.

Я ответил, что его плохо информировали, что никакого знамени не было, а была только декорация. Кабош ответил, что удовлетворен моим объяснением. Я еще никогда не видел его таким.

Газеты сообщают, что в Алжире освобождены из тюрьмы 27 депутатов-коммунистов.

Приезжал полковник Бро из Лагуата. Вызвали нас, «делегатов» групп. Бро оглядел собравшихся и начал речь. Привожу ее почти дословно:

«Я был в Алжире. Там образована смешанная комиссия: один француз, один американец, один англичанин и один представитель Международного Красного Креста. Она должна была завтра приехать в Джельфу. Но ей пришлось поехать в другой лагерь, так как там началась голодная забастовка. А потом она поедет в лагерь Колон Бешар, где сидит 5000 человек. — Вас же тут всего 800. Она допросит каждого отдельно. Испанцев отправят в Мексику, если их примет мексиканское правительство. Вопрос о русских стоит особо. Им придется ждать грузовиков. Если грузовики прибудут до комиссии, русские уедут, если позже, русские тоже пройдут комиссию. Понятно? Всех прочих отправят в рабочие команды. Лагери будут ликвидированы. Вы можете мне верить или не верить, ваше дело. Не я вас посадил в лагерь и одного хочу, чтобы вы убрались ко всем чертям! Но пока вы не уехали, вы — интернированные и должны вести себя тихо. Вы, представляющие лагерь, несете за него ответственность. Если в лагере что-либо случится, я вас так скручу… А теперь убирайтесь».

*27 февраля*. Сегодня газеты печатают декрет Жиро об освобождении из лагерей коммунистов, деголлевцев и интербригадовцев. А мы сидим…

Вчера мы отправили телеграмму английскому консулу в Алжире. Внезапно нам объявили, что, согласно полученному приказу полковника Бро, мы, русские, должны отправиться в форт Кафарелли, так как грузовики за нами придут туда. Мы высказываемся против перехода в Кафарелли.

В 4 часа нас опять вызывали к Кабошу. Он сказал, что получен приказ полковника и мы в 5 часов должны быть в Кафарелли. Этот приказ надо выполнить во что бы то ни стало.

Возвращаясь в барак, мы заметили, что к лагерю едут конные спаги. Приняли решение идти только в том случае, если применят силу и не сопротивляться французским солдатам. В лагерь въехали спаги и с ними пехота — алжирские стрелки. Арабы тащили пулеметы, винтовки с примкнутыми штыками держали наперевес. Весь лагерь сбежался смотреть, как на нас идут «войска». Мы заявили протест против применения силы к нам, советским гражданам. Офицеры молча выслушали нас.

Мы ушли и решили не выходить из барака, пока нас не выгонят оттуда силой. Вскоре в бараке появились солдаты с ружьями наперевес и заставили нас выйти. На площадке нас проверили по списку. Затем арабы окружили и повели из лагеря, не дав взять вещи.

В Кафарелли оказалось хуже, чем мы думали. Нас согнали в две большие комнаты с цементным полом; все окна выбиты. На каждого — лишь полметра пространства в ширину. Освещения никакого…

*15 марта*. С приходом английской и американской армий все осталось по-старому: вишийские власти, начальство в концлагерях и тюрьмах. Политические за-

ключенные, как и прежде, остались в тюрьмах. Видя, что ни английские, ни американские власти не вмешиваются в тюремные дела, лагерное начальство стало еще грубее.

Только в январе этого года, после нескольких телеграмм из лагеря, которые мы отправили в Лондон советскому послу, в лагерь была прислана англо-американская комиссия.

Третьего дня в лагерь опять приезжала комиссия, в составе которой были представители английской, американской и французской армий, а также представитель Международного Красного Креста.

Я рассказал комиссии о событиях в лагере, выразил от имени товарищей протест против грубого обращения с нами и потребовал немедленного освобождения, до репатриации. Затем мы подробно рассказали комиссии о нашем положении в лагере, об избиениях, о хронической голодовке, о тюрьме…

Прошло четыре с половиной месяца со дня высадки англо-американских войск в Алжире!.. А мы все еще в лагере. По утверждению комиссии, англо-американские власти не желают вмешиваться во внутренние дела Франции, а наше освобождение — это, мол, и есть «внутреннее дело». Странно, ведь высадка в Алжире — тоже «вмешательство во внутренние французские дела», и даже посерьезнее, чем наше освобождение.

*20 марта*. Прошла неделя со времени отъезда англо-американской комиссии. Мы все больше и больше нервничаем.

Приезжал полковник из «Добровольческого корпуса». На предложение поступить в «Добровольческий корпус» для борьбы с немцами мы ответили, что должны быть вскоре репатриированы и готовы служить в Красной Армии, а не в иностранной.

Еще несколько раз приезжали англичане и американцы в наш лагерь, ходили, осматривали, сочувственно выслушивали наши требования и уезжали, ничего не сделав. В разговоре они несколько раз намекали нам, что мы, мол, здоровые люди и могли бы вступить добровольцами в английскую армию или же рабочими в английские саперные отряды. Словом, им нужны рабочие руки и солдаты.

Раз как-то приехали американские квакеры и привезли на грузовиках гражданскую одежду: подержанные пальто, пиджаки, брюки, обувь. Мы несколько приоделись. Они же прислали сгущенное молоко, рис и сахар. Все это американцы сделали так, как они обычно делают в отношении заключенных американских тюрем. Не хватало только очередной раздачи библий, — но репутация «коммунистического лагеря» освободила их от этого.

Из Алжира до нас доходят вести: демократические элементы устраивают митинги и собрания, на которых требуют освобождения политических заключенных и закрытия концлагерей. Народные делегации много раз обращались к Дарлану и Жиро. Но, хотя и Дарлан и Жиро уверяли делегатов, что это будет сделано, на деле все оставалось по-прежнему. Англо-американские власти в эти дела «не вмешиваются».

Сегодня алжирские газеты публикуют приказы и декреты Жиро о восстановлении Республики и отмене всех законов правительства Виши.

*24 марта*. В Алжире идет борьба за наше освобождение. Но фашисты еще сильны и не хотят выпускать нас из своих когтей, несмотря на то, что им самим грозит опасность. До чего же эта банда нас ненавидит!

*27 марта*. В лагерь неожиданно приехали два коммуниста-депутата из Алжира, из числа 27-ми освобожденных ранее. В 2 часа в лагерь пришел Кабош, с ним двое штатских. Оба сердечно пожали руки и пошли с нами в бюро форта. Один оказался депутатом от Парижа — Демуа, другой от департамента Севера — Мартель. Я приветствовал их от имени русской группы и объяснил, что французские власти в Алжире не хотят освобождать нас до репатриации.

*5 апреля*. Сегодня приехали автомобили и на них английские военные — бывшие бойцы интербригад в Испании. Они предъявили документы на освобождение некоторых испанцев и увезли их под носом у ничего не понимавшего Кабоша.

*8 апреля*. Из лагеря уезжает к англичанам целая группа завербованных ими «пионеров» — военных рабочих. И к нам вечером арабы привели трех русских, присланных из другого лагеря. Это бывшие белоэмигранты, прослужившие по 15 и 20 лет в Иностранном легионе в Африке. В награду французы посадили их в концлагерь и даже лишили пенсии. Легионеры эти — горькие пьяницы. Мы их в нашу группу не приняли, и на другой день их отвезли обратно в тот лагерь, откуда они приехали.

*11 апреля*. Нам разрешили ходить в город за покупками. Хлебный паек увеличен до 400 граммов в день. На первый раз с нами за покупками пошел сам Гравель и из кожи лез вон, чтобы мы достали все, что нужно.

*15 апреля*. Из лагеря пришел араб с запиской от Кабоша. Меня вызывают к нему. У меня почему-то екнуло

сердце, мелькнула мысль — вдруг освобождение? Увидев меня, Кабош встал, первый поздоровался и сказал:

— Господин доктор (раньше он называл меня просто по фамилии), я получил телеграмму о вашем немедленном освобождении. Вы свободны с этого момента и можете ехать куда вам угодно. Вы довольны?

Я обомлел, но сдержал себя и сказал, что поеду в Алжир. Кабош заявил, что завтра приготовят мне все бумаги. Я пошел в лагерь прощаться с товарищами. А там уже все знали о моем освобождении. Собралась толпа испанцев, все поздравляли, жали руки. Я шел, как во сне, глупо улыбаясь. Потом вернулся в город, купил вина, соленой рыбы и понес все это в Кафарелли. Часовые-арабы изумленно на меня смотрели — я шел без стражи. Вероятно, Кабош дал им приказ обо мне. В Кафарелли все наши товарищи тоже узнали о моем освобождении от араба-солдата и чуть не задавили меня в объятиях. Сварили суп из риса, привезенного нам американцами…

Годы лагерной жизни кончились. В эту ночь я заснул лишь на рассвете…

Утром пошел в лагерь за деньгами и документами. Товарищи устроили для меня душ. Испанцы разгладили мне шляпу, костюм. Гризар, секретарь Кабоша, не удержался, чтобы не сделать очередной пакости. Написал бумагу, в которой говорилось, что «именуемый Рубакиным» (le nommé Roubakine) освобожден и едет в Алжир. Таков официальный французский тюремный термин, особо унижающий заключенного: его не называют «мсье», как принято во Франции, а просто «именуемый», как будто фамилия человека под сомнением.

Трудно расставаться с товарищами, — столько лет прожили вместе бок о бок. Уложил вещи, роздал что мог. Всю ночь провел вместе с небольшой группой

друзей, в маленькой комнатушке рядом с залами. Устроили ужин — я опять купил в городе вина, рыбы, консервов, фиников. Разговаривали, шутили, вспоминали прошлое, пели. В час ночи за мной пришел Гравель. Он уже купил для меня билет на автобус до Алжира. За билет с меня в лагере тоже вычли деньги. Я пошел в город с товарищем, которому разрешили меня сопровождать. Мрак был полный, какой бывает только в Африке. Мы зашли в кафе и напоследок выпили. Автобус прибыл в темноте. Арабы тоже пытались в него пролезть, грубо толкались. Гравель расчищал мне дорогу, кричал на арабов. Я сел в автобус. Уже светало, машина быстро покатила в предрассветном полумраке. Мы ехали через африканскую пустыню к Алжиру, к свободе.

## В освобожденном Алжире

Странно быть на свободе после двух долгих лет заключения. Странно ходить по улицам без стражи, не ожидая каждую минуту удара в спину прикладом или кулаком. Я испытывал это незабываемое чувство второй раз в жизни: в первый раз — в дни молодости, когда после царских тюрем и сибирской ссылки очутился на свободе в маленьком сибирском городке.

В Алжир приехал поздно вечером. Пассажиры — арабы, французы-колонисты, видно, прошли за время войны хорошую выучку: о политике никто не проронил ни слова. Пассажиры везли с собой картофель, яйца, даже живых кур, которые клохтали под бурнусами арабов. Все свидетельствовало о том, что в Алжире, вероятно, жизнь не такая уж сытая, как мы думали.

Автобус шел только до Блиды — здесь надо было пересаживаться на поезд. Ждать пришлось долго — поезд запоздал часа на четыре. Мимо станции по путям тянулись бесконечные товарные составы, груженные

автомобилями, орудиями, снарядами. Рядом с грузом на открытых платформах сидели английские солдаты.

Наконец, пришел мой поезд. В почти пустом купе я жадно прислушивался к разговору женщин. О войне говорили мало, судачили о ценах на продукты, о том, что можно достать на черном рынке. Словом, та же картина, какую я наблюдал во Франции два года назад, перед тем как попал в концлагерь.

За два года хозяйничанья вишийцев в Алжире, этой житнице Франции, постепенно исчезло все: и масло, и мясо, и ранние овощи, которыми раньше Алжир снабжал Францию. Богатейшая и цветущая страна была доведена до нищеты.

В Алжир мы приехали, когда начало темнеть. В порту, у самого вокзала, чернели громады кораблей, кое-где сверкали огоньки. Над городом темными, зловещими каплями висели заградительные аэростаты. Вдоль берега моря копошились люди, выгружая с пароходов огромные ящики с автомобилями, орудиями, танками, консервами. На перекрестках дорог английские солдаты регулировали движение бесчисленных грузовиков, «джипов», автомобилей с английскими и американскими военными.

Прямо с вокзала я пошел в отель на набережной. Перед отелем, на площадке, стояли зенитки, обложенные мешками с песком, грозно задрав к небу свои тонкие стволы. Вокруг них сидели и ели из котелков английские солдаты. Толпы арабчат вертелись вокруг, предлагая всякую дрянь и жадно заглядывая в котелки.

И вот я в комнатке один, совсем один после двух лет жизни в бараках и палатках, где даже в уборную мы ходили взводом. Быть одному в комнате с умывальником, электрической лампочкой над кроватью, столом и стулом и мягкой уютной постелью, которой я не видел

два года! Больше не надо лежать на нарах плечо к плечу, в грязи! Я бросил мои вещи в угол, сел за стол и стал наслаждаться одиночеством.

После дороги хотелось есть. По совету портье, древнего старика-француза, я пошел в ресторан, увы, было уже восемь часов, а после восьми рестораны закрылись. Однако все столики были заняты английскими и американскими офицерами с дамами, звенели ножи и вилки, в стаканах яркими рубинами сверкало вино. Мне не удалось купить чего-либо, и, голодный, в полной тьме я с трудом добрался «домой». В лагере у меня, как и у многих других, развилась куриная слепота. В темноте я ничего не видел.

Великое слово — дом, даже когда он не твой, когда это просто пристанище, как для путника, застигнутого бурей в поле. Я быстро сбросил одежду, умылся холодной водой и лег в постель. Было тепло, уютно, по-домашнему горела лампочка над кроватью. Но лежать пришлось недолго. На улице раздался резкий свисток. Еще и еще. Я вскочил с постели и подошел к окну. С улицы донесся грубый окрик:

— Эй, там, в третьем этаже, гасите свет!

Я уже успел забыть о войне (из лагеря война казалась далекой) и забыл о затемнении: окно было раскрыто, шторы не спущены. Пришлось закрыть окно и спустить тяжелые занавеси.

Но едва я закрыл глаза, как, казалось, над самым ухом резко и зловеще завыли сирены. Вой их все усиливался, становился пронзительным, страшным. На лестницах послышались торопливые шаги спускающихся людей, взволнованные женские голоса. Это была воздушная тревога.

Вставать не хотелось. Зачем? Не все ли равно: быть погребенным в подвале или убитым бомбой здесь? Не

стоило спускаться, да и после лагеря я как-то не мог еще осознать войну, которая была где-то здесь, близко. В комнату пополз сквозь щели двери и окон желтый дым — Алжир закрывался дымовой завесой. Вдруг где-то рядом начали стрелять из пушек, на набережной против отеля залаяли, как собаки, зенитные пулеметы и «эрликоны», затряслась земля, задребезжали стекла. По лестнице с грохотом мчались вниз жильцы. Пальба становилась все сильней. Через несколько минут послышался свист падающей бомбы и, наконец, страшный грохот взрыва.

Пальба длилась около часа, потом все сразу стихло, только где-то на высотах, над Алжиром, время от времени трещали пулеметы и грохали автоматические пушки. Я встал и выглянул в окно. Дым рассеивался, открывая темное африканское небо с огромными блестящими — звездами. Налет кончился.

Подобные налеты пришлось переносить не раз. Гитлеровцы хвастались, что уничтожили Алжир. «Раз как-то, — рассказывали мне английские офицеры, — мы привезли в Алжир пленных немецких генералов и офицеров из армии Роммеля. Увидя большой город, они спросили: «Что это?» Им ответили: «Алжир». Они недоверчиво засмеялись и сказали, что Алжир давно разрушен немецкими самолетами. Только когда они увидели надпись «Алжир» на вокзале и Алжирский порт, им пришлось поверить, что Алжир вовсе не был разрушен».

Немцы, как и французские фашисты, не только изобретали ложь, но и верили ей сами.

В начале высадки Алжир был сравнительно плохо защищен от налетов. Но американцы и англичане быстро установили мощную противовоздушную оборону. В первые дни после высадки гитлеровские налетчики

разрушили несколько домов, было убито много народу. Но это была одна из немногих удач фашистских стервятников.

На другой день я, по лагерной привычке, проснулся в пять часов утра. Алжир был залит солнцем. Прямо передо мной расстилался порт с красавцами-броненосцами, минными катерами, десятками пароходов. Синело древнее Средиземное море, но на нем не дымили пароходы, не белели паруса рыбачьих лодок. Море перестало быть обитаемым, превратилось в джунгли, где подстерегали друг друга подводные лодки, эсминцы и самолеты. Несколько тяжелых, как утюги, английских линкоров стояло у самого берега. Непрерывно сходили на берег матросы в ослепительно белых матросках и бескозырках. Очевидно, после долгой и тяжелой работы на море они отправлялись в отпуск в город. Военные суда стояли в порту недолго — дня два-три — и затем опять в море охранять караваны, бомбардировать порты, бороться с врагом.

С неповторимым наслаждением шел я по городу, вглядываясь в лица, наблюдая за людьми, останавливаясь у витрин магазинов. Полной грудью вдыхал запах моря, упивался солнцем и морским ветром. Знакомые и друзья ждали меня к обеду в день приезда в Алжир.

* * *

В американских частях в Алжире было много выходцев из Европы — венгров, поляков, русских. Здесь скопилось также множество политэмигрантов всех национальностей. Между ними и американцами соответствующей национальности быстро установились знакомства и контакты. Я, например, часто бывал в семье знакомых коммунистов-венгров, живших в Алжире. К ним нередко заходил солдат-американец, венгр по происхождению. Он рассказывал, что американские

власти следят за солдатами, и последним приходится скрывать свои встречи с местным населением.

Военные власти США захватили в Алжире радиостанцию и каждый день передавали последние известия. Ведал радиопередачами американский журналист Патрик Вальберг, много лет проживший в Париже и хорошо знавший Францию. Его помощником был француз Бернар Лекаш, который сидел вместе с нами в концлагере Джельфа. Он когда-то был членом Французской компартии, затем вышел из ее рядов и стал социалистом. Лекаш был освобожден из концлагеря Джельфа менее чем через месяц после высадки англо-американских войск в Африке. Я побывал и у Лекаша, который встретил меня далеко не так сердечно, как можно было ожидать.

Раз как-то у него собралось несколько французов — офицеров и бывших депутатов-коммунистов, а также несколько американцев. Был среди них и я.

— Зачем вы поддерживаете реакционное правительство генерала Жиро? — спросил один из французов американского журналиста. — Вы же знаете, что его ненавидят французские демократы и патриоты?

— Жиро, — глубокомысленно изрек американец, — патриот. Мы думаем, что и правительство Петэна тоже было патриотичным, только Петэн понимал патриотизм по-своему.

Французы захохотали. По нашему мнению, у Петэна вообще отсутствовал патриотизм. Он выполнял приказы оккупантов именно потому, что боялся французского народа.

Французы заметили, что в Северной Африке не все любят американцев, так как они поддерживают Жиро, и их престиж в силу этого с каждым днем падает.

— Не совсем так, — хладнокровно отпарировал американец. — Многие французы нас очень любят.

— Но любят-то вас те, кто сотрудничал с гитлеровцами, — резко сказал один из депутатов-коммунистов.

Эти французские офицеры служили в армии генерала Леклерка. До войны они были мирными мелкими буржуа. Взялись за оружие по призыву де Голля. Они плохо разбирались в политике, точнее почти ничего не понимали в ней, но они искренне хотели освободить Францию от фашистских захватчиков.

Создавалось впечатление, что в Алжире в тот период армия Жиро состояла из офицеров. Их там было великое множество, причем большинство в крупных чинах. Были полковники и генералы, бежавшие из Франции в момент, когда стало ясно, что с гитлеровскими оккупантами скоро будет покончено. Все они устроились в штабе Жиро. Говорили, что в нем насчитывалось около 300 генералов. Все они получали большие оклады и льготы в отношении продовольствия, жили припеваючи.

Жиро хвастался, что может выставить армию в 500 тыс. человек, в то время как французское население Северной Африки не превышало одного миллиона человек, включая женщин и детей. Ставка была, видимо, на арабов. Их всячески заманивали в армию.

Наряду с этим штаб Жиро избегал принимать в армию французов-добровольцев, которые вступали в нее из патриотических чувств. Принятым же приходилось довольно невесело, так как реакционное офицерство относилось к ним враждебно, обделяло их чинами и орденами и вообще смотрело на них как на «революционеров» и «коммунистов», которых не следует пускать в армию. Один мой знакомый, врач-коммунист, пошел в армию строевым капитаном. Он командовал чуть ли не полком, был тяжело ранен, но в тылу за ним не захотели признать даже чина капитана под предлогом, что у него нет соответствующих бумаг. Горячий патриот, он глубоко страдал от такого отношения к нему.

«Армия Жиро, — говорил он мне, — вовсе не французская армия. Она состоит из арабов, которые ненавидят Францию за то, что она их угнетает и не считает за людей. Они пошли в армию не для борьбы за Францию, а потому что им нечего есть. Наши генералы нарочно составляют армию из арабов, так как рассчитывают сделать из нее, когда ее перекинут во Францию, полицейские силы для подавления французских партизан и коммунистов. Эта армия предназначается вовсе не для освобождения Франции, а для ее угнетения; арабы не станут разбираться, кто эти французы, против которых их посылают. Во-первых, они недостаточно сознательны, чтобы разобраться в этом. Во-вторых, они ненавидят всех французов как своих врагов».

Капитан ошибался насчет сознательности арабов, но несомненно одно: Жиро рассматривал эту армию, как армию наемников, которую можно легко бросить против французского народа.

Несмотря на происки реакции, Алжир начал оживать. Распад режима Виши происходил непрерывно и стихийно. Законы Виши еще не были отменены, а уже пришлось открыть тюрьмы и распустить некоторые концлагеря. Пришлось также обуздать полицию и кое-кого из нее удалить.

Группа «Комба» теперь открыто устраивала собрания, на которых ораторы требовали чистки администрации от фашистов и восстановления демократических свобод. Депутаты-коммунисты, только что освобожденные из тюрьмы под Алжиром, выступали даже по радио. Эта группа депутатов выпускала в свет еженедельную газету «Либерте».

Освобожденные из тюрем и лагерей хлынули в Алжир, где «Общественная помощь» оказывала им значительное содействие. Сотни интернированных бежали

из лагерей в Алжир, где жили открыто, и полиция не осмеливалась их трогать.

В мае «Общественная помощь» организовала в Алжирской опере большой вечер в пользу освобожденных из концлагерей и тюрем.

Алжир — один из красивейших городов Африки. Он вытянулся вдоль моря узкой полосой, спускаясь к синим волнам Средиземного моря ослепительно белыми домами. Город занимает полосу между морем и горами, шириной метров в пятьсот, а местами даже и меньше… Строиться вверх ему некуда. Но зато можно выкапывать повсюду на склонах удобные, прочные бомбоубежища. Между домами виднелись входы в убежища, многие только строились, и строились основательно, словно война могла продлиться еще много лет.

Я ходил по улицам и глядел на витрины — почти все они были пусты. Но в некоторых магазинах имелись товары — американские ботинки, туфли. Только продавались они по ордерам мэрии. И тут я увидел сандалии из альфы с деревянными подошвами, те самые, которые мы делали в лагере Джельфа. Они стоили 47 франков. Нам за них платили по 3 франка. Их охотно раскупали алжирские модницы, которые щеголяли в этих сандалиях, постукивая деревянными каблучками по тротуарам.

Вдоль дорог на сотни километров от Алжира тянулись склады орудий, танков, грузовиков, снарядов и горючего. Снаряды были сложены штабелями на полях возле дороги. Их никто не сторожил. На равнинах простирались на десятки километров только что отстроенные аэродромы, на которых расположились рядами «летающие крепости», истребители, транспортные самолеты. Над городом непрерывно рокотали эскадрильи английских самолетов. И в Алжире и по дорогам вокруг

него тянулись колонны военных автомобилей с американскими и английскими солдатами, шныряли тысячи американских «джипов», амфибий, грузовиков. В порту у самых пристаней прилепились английские линкоры, крейсеры, эсминцы и торпедные катера; вдоль пристаней стояли подводные лодки. Иногда в порт заходили размалеванные английские авианосцы, у них на палубе, как игрушки на витринах, были расставлены рядами крохотные на вид самолеты. Странными были эти корабли: сбоку они похожи на любое другое военное судно с мощными трубами, с башнями, как у крейсера, с грозно торчащими из-под палубы орудиями. Но когда на них взглянешь с носа или с кормы, то вдруг оказывается, что все эти трубы, башни, самый капитанский мостик прилажены как-то сбоку, с одной стороны.

Каждый день в Алжирский порт прибывали новые караваны по 40–60 пароходов в каждом. В порту выгружались танки, автомобили, самолеты, ящики с боеприпасами и консервами. Французские и арабские рабочие трудились в порту днем и ночью, и караваны сразу после разгрузки отплывали обратно, окруженные серыми миноносцами, гигантскими броненосцами и другими судами.

Уже тогда было видно, что главную роль в событиях в Алжире играли американцы, а не англичане. Во главе американской военной администрации стоял комиссар Мерфи, ярый реакционер и лицемер. У него была крупная собственность в Алжире. Его другом из числа французов был небезызвестный Жан Монне, финансовый деятель, работавший когда-то экспертом в Лиге наций. В Алжир он приехал из США, где находился в эмиграции после оккупации Франции.

Монне — один из тех дельцов-космополитов, которые весьма характерны для современного капиталистического

мира. Ему было все равно, чьим интересам служить, лишь бы они совпадали с его личными. В данном случае это были интересы монополистического капитала США.

Совсем не чувствовалось, что англичане и американцы — это союзники французов. Заняв Алжир и Тунис, они вели себя там как оккупанты, почти не считаясь с интересами французов.

Позднее, когда в Алжир прибыла советская миссия, мне пришлось работать с нею. Представителем де Голля в Алжире в то время был генерал Катру, старый служака, известный больше как дипломат и администратор, чем как военный. Нам как-то пришлось побывать у него. Жил он за городом, занимая целую виллу. У входа стоял часовой-сенегалец. Нас принял начальник канцелярии, полковник Жуст — типичный французский офицер старого времени, о честным открытым лицом. Жуст все время жил в Алжире. Жиро не взял его в свою армию, так как считал его деголлевцем. При высадке англо-американских войск в Алжире Жуст и его единомышленники оказывали им всяческую помощь, Они перерезали телефонные провода, арестовали генералов, заняли главные здания в городе. Жуст рассказал мне, что тот самый французский генерал, который дрался с американцами при их высадке в Касабланке, теперь был назначен представителем Жиро в Вашингтоне. А другой вишийский генерал, Дейнц, командует теперь французскими войсками на Тунисском фронте. Американцы не возражают против этого. Жуст мне проговорился, что в Египте тоже есть французская армия, которую англичане хотят перебросить на Балканы, чтобы предотвратить там революцию.

* * *

Каждый вечер мне приходилось наблюдать из окна, выходившего в порт, забавные сценки. Английские мо-

ряки возвращались из отпуска в город — многие сильно навеселе. Для большей устойчивости они спускались по лестнице или шли по улице шеренгой, взявшись под руки. Вся шеренга раскачивалась, словно шла по палубе корабля в бурю. У спуска в порт их поджидали арабчата и продавали им свежие яйца. Англичане, как говорят, большие охотники до яичницы, и после долгого и трудного пути моряки особенно рады были полакомиться свежими яйцами и платили за них любую цену. Но яйца надо было нести с собой, в чем? В форменной одежде английских моряков карманов не полагалось. Можно было бы нести в шапке, но по уставу это не допускалось. Оставались только руки. Бравые моряки набирали по пять-шесть яиц в каждую руку и смело шли в порт. Но тут опять-таки возникало новое затруднение: идти прямо, не качаясь, было нелегко. А ухватиться за поручни лестницы нельзя — в руках яйца. И вот моряки медленно и осторожно спускались по лестнице с драгоценной ношей в руках, балансируя, как канатоходцы. На ногах они держались нетвердо, и приходилось хвататься за перила. Ясно, что при этом яйца летели на землю, разбивались. Вся лестница была покрыта яичной скорлупой.

За ними зорко, но осторожно наблюдали военные полицейские, здоровенные верзилы с красными повязками на рукавах. Пока моряки и солдаты еще держались на ногах, они их не трогали, но горе тому, кто, будучи не в силах больше держаться, становился на четвереньки. Полицейские таких подхватывали и куда-то уводили.

* * *

Вскоре после освобождения из лагеря я пошел к доктору Абади, министру внутренних дел «правительства» Жиро. Министерство помещалось за городом,

в здании женского лицея, откуда открывался чудесный вид на Алжир и море. У входа в сад, где находились разные министерские канцелярии, требовалось предъявить документы. Я предъявил советский паспорт. Караульный опешил, но, не спрашивая даже о цели моего прихода, выписал пропуск. Я увидел, сколь магическое действие оказывали теперь советские документы на представителей французских властей.

Абади принял меня крайне любезно, внимательно слушал рассказ о жизни в лагере, о Кабоше, изредка возмущенно вставляя:

— Какой позор, какой позор для Франции!

В заключение я оказал, что пишу книгу о Франции и о лагере, но в ней не хватает одной главы.

— Какой же? — спросил Абади.

— Главы о наказании виновных.

— Ничего, этот пробел мы восполним, — серьезно ответил Абади.

Затем он провел меня в соседнюю комнату, где представил трем видным членам «кабинета» и сказал:

— Я давно знаю доктора Рубакина, он пробыл два года в лагере и рассказал мне ужасные вещи. Это возмутительно.

Но собеседники выслушали его молча, глядя на меня с нескрываемой враждебностью. Это были матерые фашисты, служившие еще при правительстве Виши. Они и сами великолепно знали обо всем, что творилось в лагерях.

Вечером, устав от непривычки от ходьбы и разговоров, я вдруг почувствовал, как ослаб за два года лагерной жизни. Нужно было собрать всю силу воли, чтобы работать, действовать, просто разговаривать с людьми. Как-то острее стало и чувство оторванности от семьи.

Вскоре я побывал у другого министра «правительства» Жиро Андрэ Лабарта, которого знал еще по Парижу. До войны он был директором Бюро изобретений в Медоне, пригороде Парижа.

Андрэ Лабарт со времени гитлеровской оккупации Франции жил в Лондоне. Он не примыкал к группе де Голля и издавал независимый журнал «Свободная Франция».

Приехав в Алжир, Лабарт примкнул к генералу Жиро. В мае 1943 г. его назначили комиссаром, а по существу министром информации. Жиро взял Лабарта на службу в пику де Голлю. А Лабарт соблазнился возможностью побыть хотя бы и недолго в Алжире министром. Но став министром, он остался журналистом, тем же «рубахой-парнем», каким мы его знали раньше. Он не принимал всерьез своего назначения. Впрочем, и окружение Жиро не принимало это всерьез.

Через несколько дней после его назначения на пост комиссара я пришел в женский колледж под Алжиром, в котором размещались «министерства» Жиро и где находилось бюро Лабарта. Мне выписали пропуск. После долгих поисков я обратился к швейцару.

— Лабарт, Лабарт… А кто он такой?

— Лабарт — комиссар информации.

Швейцар удивился.

— Что-то не слыхал о таком. Впрочем, пройдите наверх, там вам покажут.

Долго бродил я по коридорам, различным бюро, но никто не знал, где Лабарт. Наконец, в комнате, где сидело человек двадцать посетителей, снова спросил:

— Вы не знаете, где находится бюро Лабарта?

— Лабарт? Так это здесь! Вы к нему и пришли.

Из соседней комнаты вышел молодой человек секретарского вида.

— Можно ли повидать Лабарта? — обратился я к нему.

Он долго думал:

— Мосье комиссар очень занят, много народу ожидает его приема.

— Но вы все-таки доложите ему обо мне.

Через минуту секретарь вернулся и с необычайно предупредительным видом сказал:

— Мосье Лабарт примет вас сейчас же.

И действительно, через минуту открылась дверь, выглянул Лабарт и, приветливо назвав меня, предложил войти. Под легкий ропот присутствующих, видимо, уже давно ожидавших своей очереди, я вошел в кабинет.

— Там вас ждет много народу, — сказал я Лабарту.

— Да, я знаю, это бывшие посланники и чиновники. Пускай ждут. Мне они не нужны.

Лабарт принял меня как старого друга, кивнув головой, попросил подождать, пока он кончит разговор по телефону, который он вел с Мерфи, представителем госдепартамента США при штабе американских войск.

Волей-неволей мне пришлось слышать весь разговор. Лабарт попросил Мерфи дать визу для въезда в Алжир французам, находящимся в Лондоне, которые нужны для работы в его ведомстве. Оказывается, без разрешения американских властей ни один француз даже из числа участников движения Сопротивления не мог приехать в Алжир. И это называлось «невмешательством во внутренние дела французов». Именно нежеланием «вмешиваться» объясняли в свое время задержку с освобождением нас из концлагеря.

В самом начале разговора со мной Лабарт, предупреждая мой вопрос, сказал:

— Вы, наверное, удивляетесь, почему я пошел служить к Жиро, а не к де Голлю. Но не все ли равно к кому?

И тот и другой генералы, и я не знаю, кто из них лучше, кто хуже.

Лабарт пригласил меня пообедать. Прямо из «министерства» мы поехали в ресторан. На улицах всюду было затемнение. Жизнь, казалось, замерла. Однако в большом роскошном зале ресторана было многолюдно. Сидели и ходили какие-то толстые французы в штатском и разодетые дамы, а также французские и американские офицеры. Лабарта тут знали все: метрдотель, подобострастно изогнувшись, подошел к нему за заказом. Лабарт заказал обед без каких-либо ограничений, хотя в те дни население Алжира испытывало серьезные продовольственные затруднения.

За обедом Лабарт разоткровенничался. Передо мною сидел не министр, а журналист, забывший о своем положении. Ему все было в новизну и непривычно. Его бумажник был набит деньгами, в то время как в Лондоне приходилось несладко. Лабарту льстило подобострастное обращение лакеев и то, что он мог приказывать полицейским, хотя они его и не слушались. Я спросил Лабарта, смогут ли депутаты-коммунисты издавать в Алжире свою газету «Либерте» и есть ли возможность организовать в Опере вечер, посвященный Советскому Союзу? Лабарт добродушно обещал и то и другое, однако, по-видимому, в реальность этих обещаний он и сам мало верил. Тем не менее и то и другое им было осуществлено еще до его ухода из «правительства» Жиро.

В те дни в Алжире скопилось свыше полумиллиона людей. Еще до высадки английских войск сюда бежало множество французов из метрополии, а также евреев. Но и теперь сюда продолжали прибывать беженцы, вырвавшиеся из Франции. Состав их был уже иной: теперь среди них были также фашисты, бывшие приверженцы Виши, делавшие раньше ставку на Гитлера, а теперь

возлагавшие свои надежды на американские и английские правящие круги.

В городе было много американских и английских солдат. Среди военного люда бродили арабы, одни в лохмотьях, с худыми, загорелыми лицами, истощенные работой, другие в белых, нарядных бурнусах и красных фесках. На иностранных военных арабы смотрели с полнейшим равнодушием. По-видимому, считали их новыми завоевателями.

Толпа заливала узкие улицы старого города, сжатого современными десяти-, двенадцатиэтажными домами.

Женщины-арабки, в белых платьях, с лицами, прикрытыми чадрой, из-под которой блестели красивые, лукавые глаза, ходили группами. Но больше всего было арабчат, Они шмыгали в толпе, выпрашивали все что могли у американцев, продавали всякую дрянь, чистили обувь.

Военные — американцы и англичане — жадно поглядывали на женщин. И неудивительно: мне редко приходилось видеть таких красивых женщин, как в Алжире. В результате смешения испанской, французской и итальянской крови создался исключительно красивый женский тип. Недаром с таким увлечением писал о них Мопассан.

Дух Виши чувствовался повсюду — пуповина, которая связывала африканскую колонию с Виши, пока держалась крепко, и никто ее не перерезал. Как известно, первый правитель Алжира адмирал Дарлан после высадки англо-американских войск в Северной Африке прилетел сюда прямо из Виши, где он был заместителем Петэна. Второй правитель, Жиро, бежал из Германии, проехав предварительно через Виши.

— Странный все-таки этот генерал, — заметил как-то в разговоре один алжирец, — каждую войну он

ухитряется попасть в плен к врагу. Ведь генерал Жиро в первую мировую войну тоже был в плену. Попасть в плен, да еще дважды — для генерала и неприлично и слишком много.

В Алжир прилетел на самолете один из главных палачей Петэна, бывший министр внутренних дел Пюше. Он рассчитывал сделать здесь карьеру. К счастью для Франции, по приговору суда его расстреляли. А сколько подобных ему фашистских наймитов осталось на свободе!

Из Лондона приехал Валлэн, помощник полковника фашиста де ля Рока. Фашистская организация «Круа де фе»[4], руководимая до войны де ля Роком, распалась на две группы. Одна из них продолжала открыто сотрудничать с гитлеровцами, другая ушла в партизаны. Но многие члены этой организации вели двойную игру, высматривая, куда подует политический ветер.

В Алжире, узнав, что защита интересов советских граждан поручена шведскому консулу, я пошел к нему. Он оказался швейцарцем, по имени Колер, а по профессии — местным коммерсантом. Встретил он меня очень хорошо и долго разглядывал мой паспорт, причем вовсе не для проверки. Просто ему было интересно увидеть советский паспорт.

— Вы знаете, — сказал он, — я получил инструкции от шведского посольства в Виши о том, чтобы защищать интересы СССР здесь. Но мне ни разу не пришлось столкнуться с советскими людьми. Правда, я получаю много писем от русских с запросами, но это все русские эмигранты. А я должен заботиться только о советских гражданах, имеющих советские паспорта, не просроченные на 22 июня 1941 г. Французские власти

[4] «Боевые кресты» — профашистская организация, существовала во Франции в начале 30-х годов.

меня здесь не признают. Они были назначены правительством Виши.

— А вы получили письма, которые мы вам направили из лагеря? — спросил я.

— Нет, никаких писем я не получал. Я знал, что в лагере есть русские, но никто из них ко мне не обращался.

Стало ясно, что лагерное начальство не отправило ни одного нашего письма. Впрочем, что бы он мог сделать для нас? Ничего.

— Не нужна ли вам какая-либо помощь, — спросил он меня смущенно, когда я уходил. — Быть может, вам нужны деньги?

Я сказал, что мне ничего не надо.

Так мы и расстались. Видел я его еще один раз: он обещал достать мне через несколько дней продуктовые карточки. Без них я ничего не мог купить в магазинах. Обещание свое консул сдержал. В назначенный день я получил продуктовые карточки и даже промтоварную.

Англичане и американцы, приезжавшие месяц назад в Джельфу, сообщили, что в Алжир должна скоро приехать советская миссия. Она-то и займется нашими делами по репатриации.

Когда меня освободили, товарищи дали наказ — обратиться к американским и английским властям с требованием освободить из лагерей в Алжире всех советских граждан для отправки на родину. Поэтому по приезде в Алжир я сразу же направился в американское и английское консульства.

Я начал с английского консульства. Британский консул, высокий, прямой, принял меня очень сухо. Он сказал, что занимается этим вопросом и сообщит мне, когда что-либо им будет сделано для моих товарищей. Однако так ничего и не сообщил. Консул приставил ко

мне майора Ионга, молодого офицера из английской «Интеллидженс сервис», того самого, который приезжал к нам в лагерь с английской комиссией и ничего для нас не сделал. Мне еще не раз пришлось встречаться с ним в Алжире, когда приехала советская миссия по репатриации, а Ионг был приставлен к ней — не столько для помощи, сколько для разведки.

Затем я отправился в американское консульство. Там кипела работа: стучали машинки, бегали машинистки и секретари, в приемной ждали какие-то люди. Консул тоже приезжал к нам ранее в Джельфу с комиссией. Он принял меня сразу же и любезно. Разговор наш был краток. Я сказал ему, что в ожидании приезда советской миссии по репатриации необходимо срочно перевести моих товарищей из Джельфы в Алжир, вызволить их из лагерей. Консул ответил, что он об этом знает, но у него нет помещения в Алжире.

— Но ведь вы можете разместить их временно в палатках?

— Об этом мы и хлопочем. Но это зависит от англичан, а они не спешат их давать.

— А вы не спешите с их получением, — хотелось мне сказать, но я промолчал и только спросил:

— Но почему же вы не можете их сюда перевести?

Консул хитро улыбнулся.

— Вы знаете, ведь у вас в группе не все советские граждане, там могут быть и такие, которых ваша миссия не захочет принять.

— Ну и что же? Миссия разберется сама.

— К сожалению, я пока ничего не могу сделать. Но мы этим вопросом займемся. Обсудим с майором Ионгом из английского консульства, которого вы знаете (он был уже об этом осведомлен). Между прочим, где вы остановились в Алжире?

— В отеле «Руайяль», — ответил я.

— А, знаю, — хитро улыбнулся консул, — ведь владелец этого отеля сидел вместе с вами в концлагере в Джельфе.

Действительно, бельгийский коммунист Делепин, горячий, несдержанный человек, но прекрасный товарищ, был арестован французскими властями в Сирии, где он работал в какой-то торговой фирме служащим, и привезен в Джельфу. Пока он сидел с нами в концлагере, в Алжире умер его отец, богатый человек, владелец крупного отеля, и Делепин стал неожиданно богачом. Он тратил большие суммы, помогая нашим товарищам, купил на свои деньги музыкальные инструменты для оркестра в лагере. У него постоянно были столкновения с Кабошем, который в конце концов упрятал Делепина в тюрьму за то, что тот избил провокатора в лагере. Постарался ему напакостить и бельгийский консул в Алжире, ярый фашист. Все это американский консул великолепно знал. И не удержался, чтобы мне не заметить:

— Но вряд ли Делепин добьется чего-либо от бельгийского консула — тот слишком большой формалист.

«Формализм» бельгийского консула заключался в том, что он был заядлым фашистом. При гитлеровцах он, как и польский консул граф Чапский, вербовал бельгийцев для работы в Германии. Еще совсем недавно он ответил Делепину, просившему об освобождении его из лагеря и зачислении в армию, что не намерен заниматься такого рода делами. На заявление Делепина консул ответил официальным письмом, в котором говорил, что Делепин слишком стар для армии (Делепину было 42 года) и не может быть принят. Это, конечно, была только отговорка. Консул не хотел, чтобы бельгийцы шли сражаться с немецкими фашистами.

От американцев я узнал только одно: советские представители находились уже в пути. Они ждали в Каире самолета. Впрочем, дело, по-видимому, было не в самолете. Фашистское окружение генерала Жиро, да и он сам по понятным причинам не были заинтересованы в приезде советских представителей в Алжир. Поэтому делалось все, чтобы задержать их прибытие, а по возможности и помешать ему.

Мне оставалось ждать приезда советских представителей в Алжир. У консула я встретил Картера, американца, приезжавшего к нам в лагерь с англо-американской комиссией. Я тогда так и не понял, какую роль играет он в американских войсках. Здесь он встретил меня любезно, пригласил завтракать в ресторан. На завтраке присутствовала толстая американская дама — делегатка «Христианской ассоциации молодых девушек». Оба они были очень приветливы и расспрашивали меня не столько о лагере, сколько о том, что, по моему мнению, намерен делать Советский Союз после войны.

Картера весьма беспокоила мысль, что в Европе может произойти революция. Он спрашивал на этот счет мое мнение. Я ответил, что ему лучше знать. Тогда он самоуверенно сказал: «Революции бывают от голода. Если мы накормим французов и бельгийцев сейчас же после их освобождения нашей армией, революции не будет. У нас заготовлены огромные запасы продовольствия и всяких товаров. Как только кончится война, мы переправим их во Францию. И тогда никакой революции не будет».

По приглашению Картера я посетил его бюро. В маленьком переулке большой дом был занят различными американскими «гражданскими» организациями. Тут были квакеры, представители христианских обществ, миссии Рокфеллера и еще десятки других. Все они ходили в полувоенной форме, но без знаков различия.

Здесь же размещалось бюро по промышленности и сельскому хозяйству. Во всех бюро кипела работа, составлялись какие-то карты, диаграммы, готовились доклады. Позже из разговоров с французами стало ясно, что американские войска привезли с собой в Африку огромный гражданский штаб для организации промышленности в Северной Африке и попутно для проведения экономического шпионажа.

28 апреля 1943 г. в Алжир, наконец, прилетели советские представители. Сразу же по приезде они посетили министра иностранных дел «правительства» Жиро — Сент Ардузиа и побывали у Абади.

На другой день наши представители отправились в Джельфу. По дороге одна из двух машин потерпела аварию, так что мы доехали до места только с наступлением темноты, и наши представители так и не увидели лагеря. Авария, если она даже и была случайной, в чем я сомневаюсь, оказалась на руку лагерному начальству. По дороге заехали в лагерь Берруагия, где также содержалось несколько советских граждан. Комендант Берруагии, по-видимому, не знал, как принять представителей из СССР. Он вопросительно поглядел на наших французских спутников и, заметив, с какой предупредительностью они отвечали на наши вопросы, понял, что должен вести себя соответственно.

Приехав в Джельфу, советская миссия сразу же прошла в форт Кафарелли, где их с нетерпением поджидали оставшиеся в лагере заключенные. Темнело, освещения в камере не было. До часу ночи при свете самодельных масляных лампочек продолжалась беседа.

В семь часов утра надо было возвращаться в Алжир. Французские спутники торопили нас. Все было ясно: они боялись, что советские представители увидят лагерь. Но последние, зная, что в лагере сидят товарищи

из Западной Белоруссии, которых не включили в советскую группу, потребовали встречи с ними.

Кабош услужливо подскочил:

— Вам незачем терять время и идти за ними в лагерь. Их приведут сюда.

И действительно, их тут же привели. Так советских представителей и не допустили в лагерь. Кабош очень боялся этого. Товарищи рассказывали, что накануне нашего приезда Кабош приказал охране сдать винтовки, чтобы не создать впечатления, что советские граждане все еще находятся под стражей.

4 мая 1943 г. по требованию советской миссии и по приказу английских властей все члены советского коллектива в концлагере Джельфа были освобождены и доставлены в Алжир. Но здесь англо-американские власти с помощью французских властей попытались изолировать наших товарищей от местного населения. С этой целью их разместили не в самом Алжире, а в тридцати километрах от него, вдали от населенных пунктов. Поездки в Алжир без разрешения были запрещены. Разрешение мог выдать французский полицейский комиссар. Он же должен был ведать выдачей разрешений на посещение лагеря посторонними лицами. Неспроста английские власти поместили нас так далеко от города: ни они, ни французские власти не хотели, чтобы о нас знали в Алжире, чтобы у нас установился контакт с местным населением. Разрешения на поездку в Алжир французские власти выдавали редко и неохотно. Наши товарищи жили в полной изоляции.

Мы были возмущены отношением к нам англо-франко-американских властей и их попытками создать здесь для нас замаскированный концлагерь.

В этих условиях было решено полностью игнорировать назначенного к нам комиссара лагеря, а право выдачи разрешений на увольнение в город и на посещение

нашего лагеря предоставить выбранному нами и утвержденному советской миссией начальнику эшелона. Вскоре после этого французский комиссар уехал из лагеря и больше не вернулся.

Постепенно лагерь превратился в место паломничества демократических элементов Алжира и даже английских солдат, которые приходили побеседовать с нами, послушать наш хор. У нас установились с посетителями наилучшие отношения. Было заметно, что им крайне интересно общение с советскими людьми.

Привожу некоторые записи из моего дневника тех дней.

*20 мая*. В Алжир прибыли с тунисского фронта два грузовика с французскими солдатами и офицерами из армии Леклерка. Публика тепло приветствовала бойцов Леклерка. Это — первые бойцы из армии, которая сражалась за Францию.

В Алжире учреждено Общество сближения с СССР. Инициатива исходит от местных французов.

*23 мая*. Сегодня хоронили скоропостижно скончавшегося депутата-коммуниста Проше, одного из 27 сидевших в тюрьме в Мэзон Карре и недавно освобожденных. Похороны, собравшие около пяти тысяч человек, вылились в грандиозную манифестацию демократических сил Алжира. Пришли представители правительства Жиро, префектуры и т. д. Процессия растянулась более чем на километр. На кладбище депутат-коммунист Флоримон Бонт произнес речь. Полиция отсутствовала. Деятельность компартии официально не разрешена, но коммунистов пока «не беспокоят».

В наш лагерь под Алжиром привезли группу красноармейцев, взятых в плен в начале войны. Гитлеров-

ские власти отправили их сначала на работу в Италию, а затем в Тунис. Здесь они работали вблизи линии фронта. Их почти не кормили. Местное население — французы и арабы — всячески помогало советским военнопленным. В некоторых лагерях в первую же зиму погибло 80 % советских военнопленных. Гитлеровцы ограбили пленных до нитки — отобрали личные вещи, одежду, сапоги, и люди ходили зиму босиком, почти без одежды. Командиров, комиссаров, а также евреев расстреливали на месте. Среди прибывших красноармейцев было два лейтенанта.

*2 июня*. Сегодня вечером в Алжире объявлено осадное положение. Помещение Радио-Франс занято войсками Жиро, солдаты заперты в казармах. Адмирал Мюзелье, служивший ранее де Голлю, перебежал в Алжир к Жиро и назначен его помощником. Опасаются, что начнутся крупные беспорядки.

*7 июня*. Вчера вечером в Алжире состоялся конгресс «Сражающейся Франции». Организаторы прислали нашей делегации официальное приглашение на этот конгресс. Заседания происходили в огромном кинотеатре «Мажестик». Зал был переполнен. Ведь это был первый в Алжире открытый митинг «Сражающейся Франции». Ждали выступления де Голля. На сцене в первом ряду почетного президиума сидели депутаты-коммунисты, среди них Моке, у которого гитлеровцы расстреляли семнадцатилетнего сына как заложника. Перед эстрадой в помещении для оркестра стояли с автоматами наизготовку два солдата армии Леклерка. Мне навсегда запомнились их лица — молодые, бодрые, решительные, покрытые загаром Ливийской пустыни. Конгресс открыл председатель группы

«Комба» — Капитан. Говорил он веско, по-профессорски, но не ярко и не убедительно. После него выступил социалист Филипп, член Лондонского Национального комитета.

Де Голль говорил гладко, литературно, ни одним словом не упомянул о своей программе, не наметил каких-либо политических перспектив. О борьбе говорил в самых общих выражениях.

После де Голля должен был выступить от имени депутатов-коммунистов Вальдек Роше. Но едва де Голль кончил речь, как Капитан вполголоса сказал сидящим рядом с ним: «Идемте скорее из зала, пока Роше не начал речь. Поставьте пластинки с маршем». Эти слова Капитана были запечатлены на пленку — кинооператор успел повернуть микрофон в его сторону. Когда же публика стала кричать, требуя предоставить слово Вальдеку Роше, оператор запечатлел и эту сцену. Заседание конгресса окончилось. Выступление Вальдека Роше не состоялось.

*8 июня*. На будущей неделе наш эшелон покидает Алжир. Кончилась наша африканская эпопея, скоро будем на родине. Перед отъездом в театре Опера состоится первый митинг Общества сближения с СССР. Мне поручили сделать доклад, хор исполнит советские песни. Учредители общества хлопочут об организационной стороне собрания.

Вчера произошли изменения в составе «правительства», Жиро и Лабарт не вошли в него. Де Голль не пожелал их видеть в правительстве. В помещениях «министерств», или, как их называют теперь, комиссариатах, пустота, никто ничего толком не может объяснить, даже швейцары не знают имен новых министров, министры не знают, где они будут заседать. Новые ми-

нистры называются «комиссарами». Почти все они в прошлом чиновники, люди, массам неизвестные, многие из них определенно профашистского толка и связаны с крупными финансовыми кругами.

*12 июня*. Я переехал в лагерь, откуда мы все вместе выедем на родину.

Часов в восемь вечера, когда я был еще в гостинице, ко мне пришел генеральный комиссар полиции города Алжира Лафон. Он сказал, что префект полиции хотел бы ознакомиться с моим докладом сегодня же. Я ответил, что с удовольствием покажу его префекту, но, так как он уже просмотрен и утвержден нашей миссией, ничего в нем не может быть изменено, иначе мне придется от него отказаться. Ознакомившись с докладом, префект не сделал никаких замечаний.

*13 июня*. Сегодня состоялся первый митинг Общества сближения с СССР. Зал был переполнен, огромная толпа собралась на площади. Билетов не было — их не успели напечатать. Поэтому по алжирскому обычаю все клали при входе деньги на подносы — кто сколько мог. Надо было заплатить за аренду зала — 3 тыс. франков и другие расходы. Публика собралась пестрая. После вступительного слова председателя, профессора Даллони, слово взял 25-летний алжирский поэт Жербо, секретарь нового общества. Он произнес очень интересную и искреннюю речь. Выступая от имени поколения молодых французов, которые родились после Великой Октябрьской социалистической революции в России, он сказал: «Это поколение тянулось к СССР, стремилось узнать о нем возможно больше». Затем на сцену вышел наш хор. И вот впервые со времени освобождения от гитлеровцев со сцены Оперы зазвучали

«Марсельеза» и «Интернационал». Публика выслушала оба гимна с необычайным вниманием. Зрители устроили настоящую овацию. Хорошо был встречен также мой доклад. В зале были представители уже не той Франции, которую я покинул два года назад. Это была даже не Франция времен до германо-фашистской оккупации. Франция возрождалась.

Когда после собрания мы уезжали в лагерь, нас провожали толпы народа. Французы обступили машины, жали нам руки, кричали: «Да здравствует Советский Союз!», «Да здравствует Красная Армия!» И долго махали платками, пока наши грузовики медленно проезжали по улицам города.

К моменту отъезда из лагеря нас набралось более 200 человек. Выяснилось, что на самолетах всех отправить невозможно. Было решено отправить нас поездом в Тунис, а оттуда пароходами в Египет. Из Египта по суше — поездом и автотранспортом.

Наш отъезд, как и все передвижения во время, войны, держали в глубочайшей тайне до последнего момента. И все-таки, когда объявили, что отъезд близок, у каждого нашлись важные и срочные дела. Надо было починить одежду, поправить расползавшиеся мешки или развалившиеся чемоданчики и т. п.

*14 июня*. Сегодня, в семь часов утра, мы свернули палатки — вещи были уложены заранее. В лагерь прибыли английские грузовики. С бьющимися сердцами мы уселись на них, начался долгий путь на родину через равнины и горы Туниса, затем по синим волнам Средиземного моря, через Египет, Палестину, Багдад и Тегеран.

# Часть третья. Путь на Родину

Труден и сложен был путь нашего эшелона на родину. Нам предстояло преодолеть восемнадцать тысяч километров пути, пересечь территорию девяти стран, горячие пески Сахары, цветущие апельсиновые рощи Алжира и Туниса, синие волны древнего Средиземного моря, голубоватые холмы Палестины, камни Сирийской пустыни, оазис Багдада и дикие горы Ирана. По этому гигантскому пути шел наш маленький эшелон, эшелон людей, боровшихся за свободу, исстрадавшихся в фашистских тюрьмах и концлагерях, людей из многих стран Европы, единственной целью которых было вернуться на родину, в Советский Союз.

Нас было свыше двухсот человек. Мы возвращались на родину в дни самой кровавой войны, какую когда-либо видел мир. Для одних родина много лет была чужой страной, для других неизвестной вообще, третьим казалась недостижимой мечтой.

Среди нас были бойцы интернациональных бригад в Испании, партизаны, воевавшие с врагом во Франции, попавшие в лапы к фашистам, поляки, украинцы и белорусы; были в эшелоне русские белоэмигранты, давно покинувшие родину, а также евреи со всех концов света. Таковы мои товарищи по страданиям.

Часть из них родилась в Польше, Западной Украине и Белоруссии или в Буковине. Они никогда не были в Советском Союзе. Для них он стал новой родиной. В большинстве случаев эти люди принимали активное участие в революционной борьбе в подполье, сражаясь против фашизма в Испании, долгие годы томились в фашистских тюрьмах, в ссылке, подвергаясь пыткам и мучениям.

Другие наши спутники находились прежде в стане врагов, в прошлом были белоэмигрантами. В эмиграции они прошли суровый путь, научились жизни и труду, осознали свои ошибки и борьбой против фашизма завоевали право вернуться на родину, которую покинули 25 лет назад. С глубоким волнением возвращались они домой.

Третьи платили за ошибки своих отцов, бежавших от революционного гнева русского народа. Они родились на чужбине, были молоды, кое-как говорили по-русски и никогда еще не были в Советском Союзе. Они знали о нем лишь по книгам, газетам и рассказам. И для них путь на родину был не только разрывом с прошлым и осуществлением мечты, но и началом новой жизни. У многих из них там, в чужих странах, оставались близкие, любящие и любимые — жены, дети, родители.

И, наконец, в нашем эшелоне были освобожденные из плена бойцы Красной Армии, вывезенные фашистами на работу в Италию, а затем в Африку, где мы и повстречались с ними.

Мне хочется рассказать несколько подробнее о некоторых из моих товарищей по фашистским концлагерям, наших спутниках по эшелону.

Прежде всего о начальнике эшелона поляке Т. Высокий, стройный человек, инженер по образованию, он прошел суровую школу революционного подполья в Польше, где еще до войны работал в компартии. Окончив офицерскую школу, служил в армии солдатом. Он всегда увлекался военным делом и, когда началась гражданская война в Испании, уехал туда добровольцем, храбро сражался в интернациональной бригаде. Проявив себя как способный офицер, он стал майором и командовал большим подразделением. В 1939 г. вместе с частями интернациональных бригад и испанской рес-

публиканской армией перешел французскую границу и был интернирован в одном из лагерей, созданных Даладье. Шесть лет просидел он в концлагерях в тяжелейших условиях. Однако не пал духом и своим мужественным поведением снискал уважение коллектива заключенных в лагере Джельфа. Перед нашим освобождением из лагеря мы включили Т. в список совграждан, и благодаря этому ему удалось уехать с нами. Приехав в СССР, он сразу вместе с другими поляками ушел на фронт с польской дивизией имени Костюшко и сражался до конца войны. К концу войны он был уже полковником польской армии.

Хорошо запомнился Юлек, поляк, 26 лет, студент. Он также служил лейтенантом в испанской республиканской армии, отличался необыкновенной храбростью. Человек чрезвычайно скромный и тихий, пламенный польский патриот, убежденный коммунист, он готов был отдать товарищу все, даже последнее. Приехав в СССР, Юлек также вступил в польскую армию, пошел на фронт и был тяжело ранен. За воинские подвиги ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После выздоровления Юлек вновь вернулся на фронт.

Когда мы встретились с ним после войны в Москве, куда он приехал в отпуск, я увидел прежнего тихого, задумчивого молодого человека, со взглядом, всегда устремленным как будто вдаль, в будущее. К тому времени он уже был майором.

Ш. родом из Западной Украины. Совсем еще молодой (ему было 25 лет), он выглядел старше своего возраста. Но стоило ему заговорить, как лицо его преображалось, он молодел. Рабочий-самоучка, из бедной семьи, убежденный коммунист, он отличался редким политическим чутьем, умением правильно оценить обстановку и события. Ш. много читал, и у него

с годами выработалась привычка верить только книгам и пополнять свои знания только из них. Знаний же у него было много, но все они бессистемны, с большими пробелами. В Испании Ш. служил комиссаром бригады и, несмотря на молодость, пользовался большим уважением за храбрость и умение правильно объяснить политическую обстановку. В демократической Польше Ш. находится в настоящее время на ответственной работе. Была среди нас группа евреев из Палестины, приехавших туда из России или из Польши. Многие из них почти не знали русского языка и говорили только на древнееврейском или на жаргоне. Это были убежденные коммунисты, в большинстве рабочие, сражавшиеся против фашизма в Испании.

Мне особенно запомнился среди них Семен К., человек умный, чрезвычайно развитой политически, хорошо разбиравшийся в событиях и людях. Он приехал в Палестину из России еще юношей, долгое время был одним из активных работников компартии, затем несколько лет просидел в английской тюрьме. В Испании он был политкомиссаром, а у нас — секретарем ячейки или своего рода политическим вожаком коллектива. Позже, когда мы находились на территории Палестины, Семен сказал мне, что немцы расстреляли в Париже его жену. Об этом он узнал через Международный Красный Крест.

Так называемая группа «бессарабцев» состояла из пяти человек, троих звали только по именам — Гриша, Саша и Миша, двоих — по фамилиям: Ризнер и Врбов.

В лагере они неизменно держались вместе, жили в одной палатке. Мне пришлось прожить с ними несколько месяцев, и я поражался чисто родственным отношениям, установившимся между этими молодыми товарищами. Такую дружбу, да еще испытанную в боях,

перед лицом опасности в Испании, мне редко приходилось встречать.

Кубанский казак Турутаев уехал из России во Францию с остатками армии Врангеля. Он хотел работать. Но у него не было документов, и его арестовали и посадили в тюрьму. Затем он был выслан из Франции. Но ни одна страна не хотела принять без документов русского белоэмигранта. Его, как мяч, перебрасывали из Франции в соседние страны, оттуда обратно, и каждый раз он попадал в тюрьму. Больше половины своей жизни во Франции он провел в тюрьме, хотя не совершил никакого преступления. Изголодавшийся, исхудавший до последней степени, Турутаев был озлоблен на все и всех и ненавидел Францию, людей. В лагере ему никто не помогал, да он и не обращался ни к кому за помощью.

Несмотря на его ненависть к нам, мы решили втянуть его в наш коллектив, так как знали, что он не предатель и не шпион. Мы стали приглашать его на праздники. Сначала он шел неохотно, но постепенно стал более «ручным» и аккуратно посещал собрания. Беседы о политике слушал внимательно и старался их усвоить.

Приехав в СССР, он поступил в Красноводске на работу механика в гараж и оказался превосходным рабочим, мастером своего дела.

Литовец Водай, грузный мужчина, высокого роста, боец из интернациональных бригад в Испании. По профессии шофер-механик, в лагере он был одним из тех, кто больше всего страдал от голода.

Но наиболее красочной фигурой в лагере был, пожалуй, сапожник Житомирский. Человек немолодой, необычайно подвижной и разговорчивый, он был выходцем из Одессы. В лагере он открыл сапожную мастерскую, в которой всегда толпились заключенные в надежде заполучить что-нибудь из еды. Человек он

был добрый и всегда делился с товарищами по лагерю всем, что имел.

Студент Сергеев — русский, сын белоэмигрантов — выехал из России ребенком, вырос во Франции, там учился, прекрасно говорит по-французски. Изящный, тоненький, он любил математику и поэзию и все время записывал в тетрадь стихи различных поэтов. Он воевал в Испании против фашистов.

Разнообразен был состав нашего эшелона. Но каковы бы ни были эти люди в отдельности, в нашей среде они держались всегда вместе, будучи спаянными коллективом. Коллектив сплачивал людей, был великой силой, которой боялись наши враги и которую уважали интернированные в лагере.

Все эти люди, уезжая на родину, хоронили тяжелое прошлое, расставались с настоящим. Впереди у них было светлое будущее.

Там, в лагере, в Африке, беседуя между собой, мы не раз вспоминали о прошлом. Теперь, в пути, мы говорили только о будущем. Одних оно пугало своей неизвестностью, других радовало, но всех волновало до глубины души.

Да, для всех нас это было не путешествие, это был путь на родину… Как все это близко и вместе с тем далеко! Близко ко времени — всего полтора десятка лет отделяют меня от видений войны и Востока. Далеко в пространстве — десятки тысяч километров легли между нами. Что пережил мир за это время, что пришлось мне пережить! Миллионы людей погибли в боях, еще больше погибло от рук фашистов, без боя, медленной смертью от голода и лишений…

Я вижу себя еще молодым в далеком прошлом, медленно идущим по этапу в Сибирь среди подобных мне «арестантов». Затем я студент в Париже, где, забыв

недавнее прошлое, штыки часовых и грязные нары тюрьмы, страстно вбирал в себя знания. Прошло много лет, но и теперь я отчетливо вижу пламя первой мировой войны, сорвавшей меня с места, бросившей в окопы Франции. Перед глазами вновь Средиземное море, в котором, уцепившись за пояс, плаваю, теряя сознание, после потопления нашего транспорта вражеской подводной лодкой. Из горнила жизни — к смерти, а от смерти — опять к жизни, и снова могучая сила бросает меня в мир, на стройку новой жизни.

Приходит Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г. — и снова борьба не на жизнь, а на смерть.

Начинаются новая жизнь и личное счастье, окрыляющее в борьбе. Я вижу себя затем среди небоскребов США, на маленьких фермах, затерянных в южных штатах, в Африке, в Египте. Наконец, новый вихрь — вторая мировая война, буря, сорвавшая меня с места, погубившая все то личное, что было создано за многие годы и казалось вечным.

И кажется мне порой, что я, подобно герою Уэллса из книги «Когда спящий проснется», очнулся через сотни лет и вижу кругом сверканье новой, радостной жизни. Но в ней уже нет никого из тех, кого я любил, с кем жил, потому что меня от них отделяют сотни лет.

Путь на родину для меня явился путем к новой жизни, которую следовало строить заново. Справлюсь ли я с этой задачей? И жизнь уже не та, и я не тот, но молодость души упорно восстает и борется против арифметики лет.

Вечная, непрерывная борьба за жизнь, страстное желание жить, чтобы увидеть победу над фашизмом, напомнили мне один из эпизодов моей жизни. Он произошел со мною здесь, на ласковом, солнечном

Средиземном море более 35 лет назад. Молодым, только что получившим звание врача, я плыл из Марселя в Салоники на военном транспорте. Империалистическая война была в самом разгаре. Каждый день подводные лодки немцев топили в море суда союзников. Наш транспорт также был взорван торпедой. Раненый, со сломанной ногой, я успел спрыгнуть в воду. Через несколько минут большое судно в 11 тысяч тонн водоизмещения затонуло.

На меня набегали волны, тянули вглубь. Я с трудом плыл, поддерживаемый спасательным нагрудником.

Захлебываясь, глотая соленую, смешанную с маслом и нефтью воду, я плыл, плыл, неизвестно куда. До берега были сотни километров. Я пробовал кричать, но из-за ветра никто не мог меня слышать. И никто не видел меня, мелькавшего, подобно соломинке, на огромном пространстве воды, между волнами…

Зашло солнце, быстро опустилась южная ночь на все сильнее и сильнее волновавшееся море. Я уже не чувствовал боли в сломанной ноге, не ощущал холода ноябрьской воды, меня захлестывало, и я не мог дышать. Шли минуты, часы, никто меня не спасал. Порой я тонул, но, как только мысленно решал «не противиться судьбе» и соленая вода набиралась в рот, снова со всей силой пробуждалась жажда и воля к жизни. Я выплевывал воду и снова плыл, каждый раз заново возвращаясь к жизни.

Так всю ночь я боролся с морем, боролся за жизнь. На рассвете, находясь в полубессознательном состоянии от усталости и холода, я вдруг заметил вдали шлюпку с нашего корабля. Из последних сил поплыл к ней. Меня тоже заметили и вскоре подобрали. Так я остался жить и стал свидетелем многих событий, перевернувших и потрясших мир и не раз менявших направление и моей жизни.

## Отъезд

Наступил день отъезда. Едва взошло солнце, мы уже были на ногах. На огромных американских машинах нас привезли на небольшую железнодорожную станцию, где собрались провожающие — местные русские белоэмигранты, алжирские друзья. Некоторые русские отправляли вместе с нами сыновей, которым было разрешено вернуться на родину, другие пришли просто посмотреть на нас, советских людей.

Мы сидели на станции, мимо проходили бесконечные товарные составы. В раскрытые двери виднелись лошади, пулеметы, пушки. На платформах громоздились танки, броневики, огромные орудия с вздыбленными стальными хоботами. На платформе, свесив ноги, сидели в расстегнутых рубашках и коротких штанах молоденькие, почти мальчишки, английские солдаты.

Они равнодушно смотрели на проплывающие мимо них станционные здания, населенные пункты, нашу пеструю толпу.

Наконец подали состав. Он состоял главным образом из товарных и только двух-трех классных вагонов. Сопровождавший нас английский офицер из «Интеллидженс сервис» разрешил занять места.

Мы вошли в невероятно душный вагон, втиснулись вчетвером в свободное купе, все другие уже были заняты английскими офицерами.

Тронулись в путь. Поезд шел медленно. Вдоль железной дороги тянулось шоссе, и по нему непрерывно мчались в обе стороны колонны грузовиков, амфибий, танков. Иногда видны были гигантские аэродромы с сотнями «летающих крепостей». К этому времени, по-видимому, вся махина американской техники была пущена в ход.

Утром мы приехали на какую-то маленькую станцию около Константины. В двух-трех километрах от станции был расположен огромный лагерь с длинными рядами крохотных палаток, каждая на одного человека. Вход в нее был завешен толстой марлей от комаров.

Впрочем, в лагере были также длинные деревянные бараки, в которых размещались кухня, столовая и какие-то служебные помещения. Рядом с этим лагерем находился другой лагерь, в котором содержались военнопленные — итальянцы и немцы, взятые в плен английскими войсками под Тунисом.

В лагере все было готово к нашему приезду, нас быстро разместили и накормили.

К вечеру стало свежо, пошел дождь и палатки промокли. Но как только дождь прекратился, от полотнищ пошел пар и все быстро высохло. По дороге мы успевали стирать белье на станционных водокачках и сушить его за несколько минут на солнце у окна вагона.

На другой день мы снова разместились в душных вагонах и. продолжали наш путь. Теперь поезд шел еще медленней, чем прежде, так как началась зона, где месяц назад шли ожесточенные бои. Населенные пункты всюду были разрушены. Горы становились выше. Между ними в широких долинах простирались хлебные поля, оливковые рощи, апельсиновые и лимонные плантации. Они уходили вдаль до горизонта, и, казалось, им не было края. Начинался Тунис — другая житница Франции. Война опустошила здесь поля, разрушила деревни, согнала население с насиженных мест. Поезд часами стоял на разрушенных станциях. Я подолгу сидел у окна, вглядываясь в проплывающие мимо бесконечные оливковые рощи — главное богатство Туниса. Иногда проплывали грандиозные развалины римских храмов и театров.

А поезд медленно тащился к югу, к Суссу и Сфаксу, где мы должны были пересесть на пароход.

Как-то вечером на одну из небольших станций, где остановился наш поезд, пришел воинский эшелон, в нем ехали в Алжир войска 8-й английской армии. После первых фраз завязались дружеские беседы с английскими солдатами, наш хор решил спеть русские песни. И вот на платформе, между двумя составами, окруженные тесной толпой английских солдат с загорелыми от солнца лицами мы пели русские и советские песни, а затем «Интернационал». Англичане слушали очень внимательно, хотя сопровождавший нас английский офицер и пытался помешать этому ночному концерту.

Английские солдаты долго аплодировали нам, а их горнист сыграл какую-то военную мелодию, некоторые из них также спели свои песни.

Далее поезд шел еще медленнее. Путь был исправным, но опасались мин и актов саботажа.

В Сусс мы прибыли рано утром, и нас отвезли в лесной лагерь за город. Но в городе мы все-таки побывали, хотя много ходить не пришлось, так как большинство кварталов и домов было заминировано и английские саперы еще не успели очистить их от мин.

В лесу мы разместились на полянке в палатках. От дерева к дереву были протянуты веревки, на которых висели надписи: «минировано». Невольно возникала мысль: не повешены ли эти надписи специально для того, чтобы мы не уходили из лагеря.

Рано утром следующего дня мы выехали на грузовиках в Сфакс. Этот старинный арабский город очень похож на Сусс, но значительно больше. В центре города, так же как в Суссе, находится цитадель, вернее, старинный арабский квартал, обнесенный красивой стеной с башнями, из-за которой торчат верхушки минаретов

и купола мечетей. Вокруг раскинулся европейский квартал с богатыми коттеджами. Население покинуло город, на улицах видны были только английские солдаты, да команды саперов, очищающие дома от мин. Город пострадал от бомбардировок меньше, чем Суос, но порт был разрушен основательно. Повсюду из воды виднелись трубы и мачты потопленных судов и фелук. Врезавшись в наклонную набережную, стояло странное по форме судно, у которого вместо носа была широкая платформа, откинутая на берег. По ней свободно можно было въехать на судно на автомобиле. В открытом трюме стояли два танка. Это было десантное английское судно.

И вот мы на этом судне. Нас разместили в огромном помещении. С нами плыли около двухсот французских матросов — экипаж для стоявших в Александрии французских военных судов. Матросы были все молоденькие, в большинстве жители метрополии.

К всеобщему удивлению, неуклюжее на вид судно понеслось с неожиданной скоростью. Через полчаса мы пересели на огромный пароход, стоявший на якоре на рейде.

Началась морская жизнь — второй этап нашего пути на родину.

## В море

При ближайшем ознакомлении наше судно оказалось старым немецким лайнером, захваченным французами еще в прошлую войну, а теперь реквизированным англичанами и превращенным в военный транспорт. На капитанском мостике возвышались четыре башенки из гофрированного железа, в них «эрликоны» — мелкокалиберные длинноствольные зенитные пушки, возле которых дежурили артиллеристы. Там же находилось несколько зенитных пулеметов, а на корме и на носу —

довольно большие орудия. Словом, получилось внушительное военное судно.

Экипаж судна оказался разношерстным. Офицеры, механики и начальство — англичане. Матросы и боцманы — индусы из португальской колонии Гоа. На судне, если учесть нас, пассажиров, можно было насчитать представителей не менее 20 национальностей.

В каютах, даже при открытых иллюминаторах, нестерпимая духота. На ночь, с заходом солнца, иллюминаторы плотно закрывали и задвигали крышки так, чтобы малейшая искра света не пробилась наружу. Вентиляции на судне не было никакой, и ночью мы задыхались.

Кормили нас по четыре раза в день в офицерской столовой. Мы съедали все, даже горчицу, которую вскоре перестали ставить на столы по приказу капитана, заметившего наше пристрастие к этому «лакомству».

Настроение у всех было радостное. Очень редко наши разговоры о прошлом касались жизни в лагере.

Пароход шел медленно, а охранявший нас миноносец, как сторожевая собака, вертелся вокруг в поисках подводных лодок. На горизонте виднелись берега Африки: мы пересекли залив между Сфаксом и Триполи.

Нам роздали спасательные нагрудники и приказали носить постоянно на себе. По два раза в день устраивается учебная тревога: ревут сирены, в каютах слышатся тревожные сигналы, из специально поставленных там репродукторов. В таких случаях мы все выбегаем на палубу и строимся повзводно. Порой высоко над нами пролетает английский дозорный самолет.

Когда судно проходило между Критом и Тобруком, капитан уведомил нас, что возможна воздушная атака: на острове Крит находилась крупная воздушная база германских вооруженных сил. Атаку можно было ожидать к вечеру, перед заходом солнца, — излюбленный гитле-

ровцами момент для воздушного нападения. Нам не разрешалось выходить на палубу. О возможности атаки знали немногие, и, чтобы отвлечь внимание товарищей, «штаб» поручил мне сделать сообщение о странах, через которые мы проезжаем.

К счастью, все обошлось благополучно. Германские самолеты не беспокоили нас.

* * *

Наша жизнь на пароходе постепенно все более налаживалась и входила в «норму». Беспокоило только одно, что смерть подстерегает каждую минуту и достаточно небольшой торпеды, чтобы от нас ничего не осталось.

Выйдя однажды утром на палубу, мы увидели на берегу большой город, совершенно непохожий на Алжир: дома в этом городе были в итальянском стиле — с колоннами, лоджиями и с плоскими крышами. Это был Триполи, столица бывшей итальянской колонии Ливии.

Порт, разрушенный бомбами, казался наполненным затонувшими пароходами. Из воды торчали трубы и мачты, командные мостики, остовы судов, развороченные взрывами или снарядами, обугленные, заржавевшие. Среди них, не пришвартовываясь к набережной, на якорях стояли пароходы, миноносцы, минные катера и корветы. Были тут голландские, греческие, английские и даже французские пароходы. Над городом и портом, медленно вращаясь на солнце, ослепительно блестели серебряные аэростаты воздушного заграждения.

Пароход вошел в порт, осторожно лавируя между затонувшими судами.

Капитан сказал, что мы уйдем отсюда следующим утром вместе с большим караваном судов. На берег нас не пустили, и мы организовали концерт самодеятельности, к восторгу команды, французских и английских

матросов, прямо на палубе. Офицеры и капитан судна глядели на пляски с капитанского мостика, матросы же окружили нас плотным кольцом.

Вечер был прохладный, неафриканский. В вечерних сумерках мягко таяли очертания домов и судов, темных, без единого огонька.

Странной была эта ночь на пароходе, в полуразрушенном порту Триполи, у берега древней африканской земли.

В Триполи на наш пароход посадили пленных германских и итальянских офицеров. Их привели под конвоем двух английских солдат. Пленные были прекрасно одеты, каждый с большим чемоданом в руках, а некоторые даже с двумя. Гитлеровцы вели себя нагло, бесцеремонно разглядывая нас.

Проснувшись рано утром на следующий день, мы услышали, что пароходный винт уже работал, сотрясая судно. Пароход разворачивался, чтобы выйти в море. Кругом наготове стояли пароходы, входившие в наш караван. На них красовались гирлянды разноцветных флажков, так же как и на военных английских судах, стоявших в порту. Все здания в городе были расцвечены флагами. Оказалось, что флаги были вывешены по случаю приезда в Триполи английского короля и британского премьера Черчилля.

В море наш караван поджидали миноносцы, которые должны были нас сопровождать. Один за другим стали выходить из поста пароходы, выстраиваясь на рейде в шахматном порядке. Я насчитал 38 огромных пароходов. Караван направился к берегам Египта, непрерывно перестраиваясь на ходу по сигналу с флагманского корабля. Каждое утро в час подъема с флагмана раздавалась сирена. И каждое утро на всех судах объявлялась боевая тревога.

## В Египте

24 июня нам сообщили, что мы направляемся в Порт-Саид.

С утра наш караван стал производить сложные маневры по сигналам с флагманского корабля. Одни пароходы оставались на месте, другие обгоняли их, третьи отходили куда-то в сторону. Наконец караван разделился на две части, большая часть пошла дальше на восток, а меньшая, в том числе и мы, построилась в кильватерную колонну и направилась к берегу.

Вдали показался египетский берег, низменный, желтый, на котором тонко вырисовывались кисточки пальм. Есть всегда манящая прелесть в африканском пейзаже, от которого веет древними поверьями. Показался порт, на горизонте вырос лес мачт и труб. Это была Александрия. Громадный старый внутренний порт даже не вмещал всех пароходов, и за ним был построен новый. Направляясь во внутренний порт, мы с трудом пробирались между судами. Видно было, что англичане собрали здесь огромную транспортную эскадру для переброски войск.

Наш пароход бросил якорь против крупного старого английского броненосца с громадными орудиями, вздернутыми к небу.

Нам запретили съезжать на берег. Оказалось, что мы зашли в порт лишь для того, чтобы запастись водой, так как на нашем судне пресная вода была на исходе.

Пароход простоял в порту почти целый день. Кругом кипела жизнь: на одних судах шла погрузка, на других — разгрузка, третьи приводились в порядок. В 4 часа дня пароход снова вышел в море.

Еще одну ночь провели мы в море, а на другой дань рано утром дотащились до Порт-Саида. Весь караван судов, с которым мы расстались в Александрии, стоял

здесь на якоре в открытом море. У входа в Суэцкий канал один за другим тянулись пароходы. Между ними скользило множество лодок с косыми парусами, совсем не походивших на рыбачьи. Из воды торчали трубы и мачты трех потопленных в фарватере пароходов.

Мы медленно продвигались ко входу в канал. Вот проплыли мимо длинного мола. На молу толпились арабы и какие-то военные, делавшие знаки капитану. Потом показался левый берег канала, а на нем спрятанные за земляными валами защитного цвета палатки солдат, зенитные орудия, завешанные сетками песчаного цвета огромные пушки береговой обороны, вытянувшие хоботы по направлению к входу в канал. Всюду шныряли военные и полицейские катера, большинство под египетским флагом, но на них, кроме арабских чиновников и полицейских в красных фесках, находились также английские сержанты. Так было пять лет назад, так было и теперь. На набережных, на судах, в лагере — английские солдаты и офицеры. Правда, английские только по форме, а в действительности это индийцы и представители других народов. Но тем не менее всюду царила Англия.

А в небе, над лагерями, над городом, над портом, раскачивались на ветру серебряные шары воздушного заграждения.

Наш пароход медленно двигался по каналу. Наконец, миновав город, он бросил якорь.

В Порт-Саиде нет настоящей гавани, и обычно пароходы стоят здесь недолго. Нам сказали, что здесь нас должны высадить, а пароход пойдет дальше. Вскоре к борту парохода подошла большая самоходная шаланда с металлической палубой. Нам предложили собрать вещи и пересесть в нее.

Нам сообщили, что в Египте мы не задержимся: нас переправят в транзитный лагерь, а оттуда — в Палестину,

объяснив это тем, что египетское правительство не желает видеть нас на своей территории и не выдает нам въездных виз.

Это, конечно, была ложь. Мы знали, что фактически в Египте распоряжаются англичане, и они, а не египтяне, препятствуют нашему присутствию здесь.

Под палящим солнцем, без всякой возможности от него укрыться, мы просидели на шаланде около двух часов. Железная палуба была так горяча, что сквозь обувь жгла ноги. К перилам и стенкам машинного отделения нельзя было прикоснуться руками: до такой степени они были горячи. Только в полдень нас перевезли на другую сторону канала, где находился транзитный лагерь — большие палатки, где были расположены столовая и кухня, и несколько палаток для жилья. Кругом — ни единого деревца, все выжжено солнцем. Нас покормили плохим обедом, опять перевезли через канал и доставили на железнодорожную станцию. Там стоял пассажирский поезд с классными вагонами, в которых бешено крутились вентиляторы. Поезд шел в Каир. Раздался свисток, и мы поехали. Дорога шла вдоль канала. По обе его стороны непрерывной полосой протянулись мощные земляные укрепления, рядами стояли сотни палаток, и было так много пушек, что издали казалось, что это забор из больших кольев. На земле лежали огромные заградительные баллоны. Несмотря на то, что вентиляция не выключалась ни на минуту, в вагонах было очень душно, хотелось пить.

До Каира мы не доехали: нас высадили на станции Эль-Кантара, где мы пересели на палестинский поезд. Поезд мчался по песчаной аравийской пустыне, было холодно, как всегда бывает холодно в пустыне ночью. Из окна вагона виднелись бесконечные песчаные дюны без

признаков жилья. Низко нависло темное южное небо с огромными яркими звездами.

Мне довелось побывать в Египте трижды: в 1916, 1938 гг. и теперь, с эшелоном. Впечатления от него всегда ярки.

В Египте запоминается ярко-синяя полоса широкого Нила с белыми пятнами парусов на фелуках. С двух сторон эту полосу окаймляют две неширокие ярко-зеленые полосы — богатейшая растительность долины Нила. И, наконец, за ними так же ярко блестят болотисто-желтые пески пустыни. Ширина долины Нила местами доходит до 1–2 километров, а иногда и до 10. Это жилая часть страны. Вся история Египта — это история Нила, ее экономика и политика, наука и искусство тесно связаны с Нилом. Прав немецкий писатель Людвиг, назвавший свою книгу о Египте «Биографией Нила».

Вспоминая историю Египта, различные эпизоды из его прошлого, я сопоставлял их с настоящим. Не египтяне, а англичане препятствовали нашей остановке в Египте. Они же везли нас окольным путем, чтобы мы не встретились с местным населением и не могли видеть ничего, кроме английских пушек и самолетов, стоявших вдоль Суэцкого канала.

Нам не позволили ступить на землю Египта. Высадив с парохода, держали под палящими лучами солнца на железной барже, потом перевезли в английский лагерь, а оттуда на вокзал и дальше — в Палестину. Вот все, что мы видели в Египте, когда там хозяйничали англичане.

## В Палестине

Утро застало нас уже в Палестине. Характер местности изменился. Теперь поезд мчался мимо небольших холмов, покрытых цветущими апельсиновыми рощами. Серебрилась листва оливковых деревьев. Слева виднелась

полоса синего моря. Иногда мелькали красивые деревни с современными изящными домиками, окруженные бахчами с арбузами и дынями.

В полдень мы приехали в Хайфу — красивый современный город с высокими серыми домами, спускающимися с гор амфитеатром к морскому берегу.

Нас сразу же повезли в лагерь. Находившийся на окраине города, он состоял из деревянных бараков, лишенных всяких удобств. Кроватей в бараках не было, и нам предложили размещаться на полу.

Мы отказались ночевать в этих бараках. Часть наших товарищей разместили в хорошем бараке, а другие, в том числе и я, ушли из лагеря и устроились в гостинице.

Ночь прошла быстро. По лагерной привычке мы проснулись рано, задолго до восхода солнца. Медленно алело небо над горою Кармель, затем первые брызги лучей заиграли на синеве моря. По дороге мимо гостиницы прошли отряды индийских солдат в английской форме, но с тюрбанами на голове. Впрочем, через час мы тоже преобразились. Английские власти лагеря выдали нам летнюю форму, и мы стали напоминать своим видом английских военнослужащих.

Хайфа оказалась совершенно европейским городом: широкие асфальтированные улицы с нарядными магазинами, по-европейски одетая толпа, в которой очень мало арабов в халатах. Но что нас больше всего поразило — это количество полицейских. На всех улицах они прогуливались по двое, английские в пробковых шлемах, еврейские и арабские — в черных барашковых шапках. Ни в одной стране я не видел столько полиции. В Палестине имелось три вида полиции: арабская, наблюдавшая только за арабами, еврейская — за евреями, и английская — за теми и другими, а также за всеми другими гражданами. А как полицейские дей-

ствовали — мы очень скоро увидели сами. В автобусе был обнаружен пассажир-араб без билета. Кондуктор-еврей его высадил, арабские полицейские тут же его подхватили и втолкнули в помещение полицейского поста. Через минуту оттуда послышались звонкие удары и громкие вопли арестованного.

Знакомясь с городом, мы наглядно выяснили, что три четверти его населения понимают, а многие даже говорят по-русски. В магазинах мы обращались к продавцам только по-русски. Популярность СССР в Палестине была в то время так велика, что с нами обращались особенно предупредительно. До войны здесь к СССР относились враждебно. Но во время войны население Палестины убедилось, что единственной в мире страной, защищавшей евреев, был Советский Союз.

Английским властям не нравилось, что мы задерживались в Хайфе, и с первого же дня нашего пребывания в нем они старались выпроводить нас оттуда.

Однажды английский комендант лагеря объявил, что нас переводят в другой лагерь, близ Хайфы, так как сюда прибывают новые английские части. Через несколько часов мы были готовы к переезду, и грузовики помчали нас по гладкой асфальтированной дороге, вдоль которой через каждые несколько километров виднелись огромные английские военные лагери, на сотни метров тянулись склады с боеприпасами, с продовольствием. Казалось, что Палестина превратилась в огромный военный лагерь.

Сначала мы ехали вдоль морского берега, затем дорога круто повернула в горы, и вот уже 80 километров позади, однако конца пути все нет и нет.

Наконец у небольшого еврейского селения машины остановились. Никакого лагеря здесь не оказалось. В поле белели лишь 4 палатки, и это было все.

Английский полковник, встретивший нас довольно прохладно, сказал:

— Ваши офицеры могут разместиться в палатках.

— А остальные? — спросил начальник эшелона.

— Остальным придется спать на земле, под открытым небом. Ночи здесь теплые.

— Прикажите дать машины, мы сейчас же поедем обратно, — заявил наш начальник эшелона.

Полковник сделал удивленный вид.

— Вы не хотите здесь остаться?

— Мы не только не хотим этого, но и удивляемся, как вы, наши союзники, позволяете себе предлагать нам подобное.

Полковник смущенно пожал плечами.

— У меня приказ из Хайфы. Если вы не хотите здесь оставаться, я должен запросить Хайфу.

— Запросите, если хотите, но мы здесь не останемся ни минуты.

После переговоров по телефону поведение полковника заметно изменилось, и он не возражал против нашего возвращения в Хайфу.

Вернулись мы в Хайфу поздно вечером. Бараки наши были пусты, никакие воинские части их не заняли. Комендант лагеря, встретивший нас, был смущен и не переставал повторять, что ждал прибытия новых частей, но их пока нет.

И еще два дня провели мы в Хайфе. Нам разрешили выходить в город. Нарядные магазины были полны товаров, но все в них очень дорого. Рабочие почти ничего не могут купить. Прожиточный минимум так высок, что заработка жителям не хватает на оплату питания и квартиры.

Для английских офицеров в городе был специальный магазин. В нем по дешевым ценам можно было купить превосходные вещи.

# Выдержки из дневника

## Путь через пустыню

*3 июля*. Сегодня мы должны выехать. Уложены вещи, сделаны последние дела. Наступила минута отъезда. На каждый грузовик пришлось менее чем по 10 человек. Ехать было бы просторно и приятно, если бы не палящее солнце.

Дорога вьется между невысоких холмов, характерных для Палестины. Апельсиновые рощи исчезают, селений становится все меньше и меньше, мы углубляемся в пустыню, по мере того как приближаемся к Трансиордании.

Жара все усиливается. Нет больше свежего ветерка с моря, как в Хайфе. На невысоких горах, от которых пышет жаром, раскинулись еврейские «коммуны». Издали они напоминают лагери. Часто вместо домов в них палатки или бараки, и только иногда маленькие домики, выстроенные по-военному в одну линию.

После нескольких часов пути мы въехали в неглубокое ущелье, вернее, овраг, на дне которого текла небольшая древняя библейская речушка — Иордан, похожая на горный поток.

У моста, переброшенного через речку, находится каменное здание, напоминающее форт. Здесь машины остановились. Английский офицер и несколько солдат проверили документы, и мы въехали на территорию Трансиордании.

От моста дорога петлями взбегает в гору. Местность совершенно пустынна. Всюду высятся только голые скалы, на которых изредка лепятся жалкие арабские деревушки. На склонах гор пасутся, питаясь неизвестно чем, стада баранов и верблюды.

В три часа дня прибыли в первый трансиорданский город — Ирбит. Это, собственно, и не город, а какое-то нагромождение жалких хижин, вылепленных из грязи. Кое-где встречаются небольшие каменные дома, принадлежащие шейхам. Со всех сторон нас облепили одетые в лохмотья люди, старые и молодые. Они протягивали руки, выпрашивая «бакшиш» — милостыню.

Рядом с городом находился огромный английский военный лагерь, почти пустой. Английские офицеры ходят по городу, как хозяева, арабы низко кланяются им.

После короткой остановки мы снова двинулись в путь. Теперь горы кончились, мы ехали по широкой равнине, поросшей желтой травой. Было нежарко, свежий ветерок приятно обдувал нас. В 26 милях от Ирбита пересекли линию узкоколейной железной дороги, идущей перпендикулярно к шоссе. У пересечения дорог — снова английский лагерь с большими каменными строениями, окруженными палатками; рядом военный аэродром, вокруг которого около 200 грузовиков и несколько броневиков с орудиями. Километрах в двух от лагеря — большая арабская деревня. От нее расходятся три прекрасные асфальтированные дороги. Удивительна эта страна с большим числом английских военных лагерей. Кажется порой, что в ней нет ничего, кроме песка и камня, но зато проложены замечательные дороги, не очень-то нужные местному населению. Причем дороги эти непрерывно ремонтируются и расширяются.

Начинало темнеть, и, съехав с дороги, мы остановились на широком пустынном поле. Хотя недалеко от нас находился почти пустой английский военный лагерь с бараками и палатками, нам пришлось расположиться на ночлег прямо на земле. Вокруг нас безбрежная равнина, окаймленная на горизонте холмами, вверху без-

облачное небо. Хочется все время пить, но воды нет, кроме запасов во фляжках.

Но как здешняя пустыня не похожа на африканскую! И совершенно с иным чувством смотрим мы на нее. Там, в Джельфе, мы видели из лагеря, за колючей проволокой, далекие синие склоны гор, покрытые лесом. Они казались нам чем-то недостижимым. С невыразимой тоской смотрели мы на них. Они как будто являлись частью нашей тюрьмы. А здесь пустыня изумляет своей красотой. Ночью над нами совсем близко горят огромные, необыкновенно яркие звезды. В абсолютной тишине ни звука, а в далекой деревне ни одного огонька. Арабы ложатся спать с закатом солнца.

В пять часов утра нас разбудили. Мы поднялись, поеживаясь от приятного утреннего холодка, а через час уже ехали дальше. Жара снова начала усиливаться, каменная пустыня встречала нестерпимым зноем. Через каждый час мы останавливались, чтобы дать остыть моторам. Дорога была отличная, но совершенно пустынная. За день мы встретили всего до десятка английских военных машин.

За день мы проехали 128 миль — это была примерно средняя скорость в нашем путешествии. Ехать можно было главным образом по утрам, до полдня. В полдень солнце палило так нестерпимо, что ни о каком продолжении пути не приходилось и думать. По дороге ни одного селения, ни одного человека. Кругом бесконечная пустыня, равнины да холмы, покрытые черными камнями. Издали местность напоминала колоссальных размеров наждачную бумагу, покрытую блестящими колючими осколками — рассыпанных камней. Раза два-три вы видели на горизонте силуэты пасущихся верблюдов. Воды нигде не было. Идти пешком по такой пустыне было бы невозможно.

Наши шоферы-индийцы — очень приятные и вежливые, дисциплинированные люди. С нами едут 33 шофера-индийца и молодой лейтенант, тоже индиец. У нас с ними сразу установились самые дружеские отношения. В них не было и тени чопорности и замкнутости англичан.

*5 июля*. Дорога идет по плоскогорью на высоте свыше 1000 метров, поэтому не так жарко. Кончились камни, началась голая песчаная пустыня. Перед глазами все время маячат миражи. На горизонте видим большое синее озеро с пальмами вокруг него. Мираж так ярок, что мы принимаем его за действительность. На одной из остановок, увидев такое «озеро», несколько наших товарищей взяли полотенца и пошли купаться. Шли, шли по пустыне, а «озеро» не приближалось. Так ни с чем и вернулись.

Сегодня проехали 120 миль. Утром пересекли границу Ирака. У дороги в пустыне стоит столб с надписью по-английски: «Трансиордания», немного подальше — другой, и на нем тоже по-английски: «Ирак». И больше ничего. Ни строений, ни таможни, ни сторожевого поста.

В Ираке тянулась та же выжженная солнцем пустыня с черными камнями, гладкая и твердая. Часто мы сворачивали с шоссе там, где его чинили, и ехали по пустыне с такой же скоростью и так же удобно, как и по дороге. Откуда-то дул горячий ветер, обжигая грудь. Крутились песчаные смерчи, порою поднимаясь очень высоко, в виде каких-то двух длинных воронок, составленных острыми концами высоко над землей. Смерчи крутились, крутились, потом редели, рассыпались, осыпая нас мельчайшей песчаной пылью.

К полудню мы приехали в первый иракский город — Рутба. Он похож на города Трансиордании: одноэтажные белые дома из камня с плоскими крышами,

в центре большой каменный форт с английским флагом и с большой радиостанцией. Здесь нас также не разместили в городе, а отвезли километра за три от него, в лагерь, где мы и отдыхали на этот раз в палатках.

С тех пор, как мы едем по Ираку, добавилась только одна особенность: над пустыней все время кружатся английские военные самолеты. Лагеря, в которых ночуем, все занумерованы. Так, в Палестине мы ночевали в лагере № 163, а на границе Трансиордании я видел лагерь № 215. Уже одни цифры показывают, какое огромное количество английских лагерей было разбросано по всему Востоку.

*6 июля 1943 г.* Сегодня самый жаркий день нашего путешествия. Горячий ветер обжигает лицо, к металлическим частям машины нельзя притронуться рукой — получаются ожоги, от жары лопаются камеры.

Теперь пустыня становится песчаной. Повсюду золотится на солнце гладкий желтый песок. Вдали внезапно появляются миражи с водой и также же внезапно исчезают. Вдоль дороги попадаются странной формы песчаные холмы, похожие на дома или на стены каких-то сказочных городов, занесенных песком. Говорят, тут и вправду были когда-то города, и весь этот край был цветущим оазисом. В нем была сложная система оросительных каналов, строившихся веками. Нашествия других народов с Востока, непрерывные войны разрушили все это, города опустели, дома рассыпались, их занесло песком.

Постепенно и холмы исчезли. Теперь мы опять мчимся по гладкой песчаной равнине. Жара усиливается, шоферы начинают засыпать за рулем.

И вот наконец стоянка, такая же, как и другие: голая песчаная площадка, недалеко от английского военного лагеря.

На другой день утром наш врач-поляк, доктор Самет, проснувшись, стряхнул с себя большого черного скорпиона.

Одного из наших красноармейцев скорпион укусил в руку. Вся рука и предплечье вздулись, отекли, он кричал от невыносимой боли. Опухоль не спадала в течение нескольких дней. Боль стихла, но не сразу. Надо сказать, что он дешево отделался.

За вчерашний день мы проехали 144 мили — самый большой перегон за все время. Сегодня проехали только 120. Дорога, несмотря на ремонт, стала совсем плохой, всюду — ямы, рытвины.

Быстро приближаемся к Багдаду. Навстречу нам стали попадаться караваны машин.

## Вокруг Багдада

Часа в 4 дня мы увидели на горизонте полосу синей воды и решили, что это тоже мираж. Однако синяя полоса не исчезала и не отодвигалась по мере нашего приближения. Она становилась шире и ярче. И мы поняли, что теперь это настоящая вода. Нам сказали, что мы находимся у озера Хабиния, около Евфрата. Озеро было необыкновенно синим, как всякая вода в пустыне, а берега — без единого деревца.

За озером опять начиналась пустыня. Миль через двадцать показалась широкая полоса большой реки — это был Евфрат. Переехав через реку по широкому деревянному мосту, мы очутились в небольшом арабском городке. Низенькие двухэтажные дома, чахлые пальмы между ними, в окнах убогих лавчонок — арбузы и дыни, облепленные мухами — та ли это благословенная Месопотамия, которая описывалась в библии как земной рай? По Евфрату медленно тянулись маленькие буксиры, тащившие барки. Если бы не эти пароходики, то в

остальном город был бы, вероятно, таким же, каким он был тысячу лет назад.

Проехав пыльный городок с жалкими пальмами, мы снова очутились в совершенно голой местности. Через некоторое время вдали показался город с большим количеством высоких пальм. Это был Багдад.

Не доезжая пяти километров до города, наш караван свернул в огромный лагерь, сплошь заставленный большими палатками с двойными стенками — одни полотняные, другие из тонкой марли от мух. Здесь мы должны были ночевать. После сытного ужина мы еще долго ходили по лагерю, вглядываясь в очертания Багдада, над которым в облаках пыли было видно зарево электрических огней.

Несмотря на усталость, в эту ночь почти никто не мог спать из-за духоты. Путь через пустыню кончился. Родина казалась уже близкой, и волнение охватывало нас все сильней и сильней.

На следующее утро в 4 часа мы выехали, полусонные, из лагеря и направились в Багдад. Пересекли огромный понтонный мост через реку Тигр, столь же широкую, как и Евфрат, и такого же грязно-желтого цвета. За мостом начинался город, утопавший в садах и пальмах. Мы обогнули город по широким улицам его окраин, густо засаженных пальмами. Среди зелени пальмовых рощ виднелись роскошные виллы багдадских богачей.

Мы выехали на шоссе, ведущее в Иран. Было еще очень рано, небо чуть посветлело от утренней зари, взошло солнце над далекими вершинами иранских гор. Дорога прекрасная, асфальтированная. На перекрестках английские военные полицейские регулируют движение, как на улицах Лондона.

Наконец город кончился, мы проехали последнюю пальмовую рощицу. На берегу Тигра вздымались 12 высоченных труб какого-то завода. Дальше начиналась

пустыня. Минут через пять мы ехали по ней, и только на горизонте оставался, синея, как оазис, Багдад, окаймленный зеленью пальмовых рощ.

## В Иране

Солнце печет, но уже не так сильно, как в знойной пустыне. Мы не выспались в эту ночь, поэтому улеглись на мешках в машинах. Но здесь дорога уже скверная, машины подпрыгивают на ухабах, как мячики, и трясет нас ужасно. К вечеру прибыли в большой английский лагерь, в центре которого укрепленная транзитная станция с хорошо построенными домиками. Здесь проходит граница с Ираном. Мы думали, что остановимся на ночлег, но это, очевидно, не входило в планы английской администрации, и нас снова повезли дальше, по пустынной дороге, еще километров десять, где у склона горы мы и остановились. Грузовики, которые привезли нас сюда, уехали, на другой день за нами должны были приехать другие машины.

Мы торжественно распрощались с проводниками-индийцами, которые везли нас до этого места от Хайфы. Эшелон выстроился на площадке. Индийцы выстроились против нас. Перед ними встал их офицер-лейтенант. Начальник нашего эшелона произнес речь, в которой выразил наши симпатии к народу Индии. Английский сержант перевел речь на английский язык лейтенанту, а тот перевел ее на язык хинди. Затем с короткой речью выступил лейтенант. Он сказал, что они никогда не забудут советских граждан и считают для себя честью и радостью везти нас на родину. Мы подарили солдатам папиросы, пожали им руки. Прощанье закончилось. Им надо было уезжать.

Ночь была теплая, ясная, но сон ни к кому не шел, вставать пришлось снова очень рано, в половине пятого. Ровно в пять приехали грузовики.

*9 июля 1943 г*. Мы снова в пути, теперь уже в Иране.

В первый день после отъезда из Багдада мы проделали 200 километров, сегодня, на второй день, только 80, так как по дороге через горные хребты ехать быстро невозможно.

Дорога все время вьется по горам. Они красивые, с мягкими очертаниями, хотя и совершенно голые. В долинах попадаются иранские деревни — жалкие домики из глины без окон, с облезшими от дождя стенами, похожие на растаявшие головы сахара. На плоских крышах хижин стоят кровати. Там и тут женщины с красивыми грустными глазами выбивают пыль из ковров — настоящих, роскошных, старинных персидских ковров. В домах пусто: ни стула, ни стола, ни даже скамейки. Только на земляном полу лежат ковры.

Первую ночь в Иране мы провели в специальном транзитном лагере в 30 километрах от Керман-шаха.

Не знаю, когда были построены эти лагеря вдоль дороги из Багдада в Тегеран, но все они однотипны и похожи скорей на укрепленные форты средневекового типа. Обычно это — обнесенные невысокой каменной оградой площадки, на которых рядами построены из камня хорошие одноэтажные здания. Посередине лагеря находятся офицерский барак с небольшими комнатками без мебели. Рядом с ним большой барак-кухня, а перед ним, под навесом, деревянные столы. Все указывает на то, что лагеря построены англичанами для себя.

Начиная от Ханекина дорога идет по горам. Мы поднимаемся все выше и выше, а порой спускаемся в глубокие долины. Едем довольно медленно, не больше 12 миль в час.

На другой день мы приехали в Керманшах — пыльный и грязный иранский городишко с одноэтажными домиками под плоскими крышами, напоминающими

чем-то старые русские провинциальные города. Керманшах славится производством знаменитых персидских ковров.

В Керманшахе произошла наша первая встреча с советскими людьми: навстречу нам выехали сотрудники советского консульства, пригласившие нас посетить консульство.

Вся советская колония встретила нас радушно, встреча была сердечная и торжественная. Она взволновала нас до глубины души.

Иранские обычаи наложили отпечаток на жизнь советского консульства. Прием был устроен в восточном стиле, и в другое время мы бы восприняли его иронически. Но здесь, когда мы после долгих лет, а некоторые из нас впервые увидели советских людей, мы особенно остро ощутили и почувствовали близость родины. Все для нас было чрезвычайно трогательно.

Консул встретил нас приветственной речью. Она была краткой, сердечной и простой. Один из наших товарищей в ответ сказал несколько слов. Но больше всего нас растрогали дети сотрудников консульства — бойкие, здоровые советские дети. Они прочитали стихи, спели песенки, в меру сбившись и запутавшись в тексте. Но это их не смутило. Наш хор спел в свою очередь лучшие песни своего репертуара. Незаметно пролетели 3 часа, нам надо было прощаться с гостеприимными хозяевами и снова садиться в машины.

## Снова в пути

В 12 часов дня выехали из Керманшаха. Дорога шла по широкой необыкновенно зеленой долине между высоких горных хребтов. Это — древний путь из Индии и Китая в Европу, путь, по которому в течение тысячелетий шли караваны с шелком и парчой, пряностями и фруктами из

Ирана и Индии и оружием из Европы, путь «шелка и золота», путь бесчисленных вторжений в Европу. В 38 километрах от Керманшаха мы увидели огромную скалу, на которой высечен барельеф времен персидского царя Кира с надписью на трех древних восточных языках.

*11 июля 1943 г.* Остановились на ночевку в лагере, в точности похожем на предыдущий: ограда, внутри которой находились палатки и каменные строения — кухня да лавка для офицеров.

Недалеко от лагеря — иранская деревня. Дома из серых камней, скрепленных простой глиной, сливаются с серым цветом пустыни, и их нелегко заметить с дороги. Окон в домах нет, летом жители спят на крыше. Вход в дом обычно завешен персидским ковром, побелевшим от пыли и времени.

Покинут последний лагерь на чужой стороне. Мы едем в Казвин — зону расположения советских войск. Навстречу нам и, обгоняя нас, движутся бесконечные колонны американских грузовиков. В два часа дня мы, приехали на советскую военную заставу.

С каким волнением вглядывались мы в лица советских офицеров, встретивших нас на заставе, мы были готовы броситься им на шею и расцеловать их! Ведь перед нами были представители героической Советской Армии, за славными делами которой мы так следили и успехам которой радовались вдали от Родины.

## В Казвине

В Казвине — маленьком, пыльном городишке — нас разместили в большой вилле, где уже были приготовлены для нас постели.

Вечером с нами беседовал офицер. Он рассказал о положении на фронтах; ведь со времени отъезда из Хайфы мы почти ничего не слышали об этом. Беседа

произвела на всех сильное впечатление. Самое же главное, что на этот раз все новости были сообщены нам советским человеком — офицером Советской Армии.

Затем нам показали советскую кинохронику о боях на фронте, и это взволновало всех нас еще больше, чем политбеседа. В образах и лицах проходили перед нами на экране героические картины борьбы Советской Армии против фашизма, за родную землю.

Мы разошлись только в 12 часов ночи, настолько возбужденные, что даже не чувствовали усталости. Еще долго мы не ложились спать, обмениваясь впечатлениями о первом дне, проведенном среди советских людей.

## Последний этап

На другой день, когда мы поднялись в 4 часа утра, в саду уже дымили походные кухни, а у ворот стояли грузовики. Наскоро поев, мы уселись на машины.

Дорога проходила по долине, окруженной со всех сторон хребтами высоких и голых, мрачных гор.

Мы настолько были захвачены своими думами и тем, что ожидает нас на родине, что совсем не обращали внимания на окружавшую природу и людей.

Мы мчались к Тегерану с бешеной скоростью. И через два часа с небольшим мы въезжали в город. Проехав по широкой асфальтированной улице с роскошными виллами, мы попали в другую часть города, где преобладали грязные тесные улицы и ободранные домишки. Вдоль тротуаров в бетонированных канавках — потоки грязной воды, отсюда берут воду для питья, и здесь же моют ноги. Мы проехали, не останавливаясь в городе, прямо к вокзалу, довольно красивому зданию европейского типа. Там нас ожидал специальный поезд из 8 хороших удобных пассажирских вагонов. И машинисты, и кондукторы в поезде были русские.

Проводить нас на родину пришел представитель советского посольства в Иране.

В поезде мы почти одни. На обед мы получили борщ с мясом, жареных цыплят, великолепное мороженое.

Железная дорога обслуживается нашими войсками. Туннели и мосты охраняют бойцы Советской Армии в стальных шлемах на голове.

Я много видел на свете красивых мест, но и меня поразила красота этой высокогорной дороги. Поезд быстро миновал унылую равнину, на которой стоит Тегеран, и вошел в изумительно красивую горную долину, обрамленную необычайно причудливыми скалами, от которых невозможно оторвать глаз. Дорога все время поднимается, и поезд ползет все выше и выше, через туннели, и вот она уже идет по карнизу на склоне высокой горы. Далеко внизу виднеется лента железной дороги, по которой мы поднялись сюда. Нас тяжело тащат два мощных паровоза. Вот состав уже на уровне облаков, исчезает в них. Вокруг нас голые, выветрившиеся грозные скалы. В тумане, по карнизу поезд продолжает карабкаться вверх, пересекая мосты над пропастями. Наконец начинается спуск. Мы вынырнули из облаков. Далеко внизу видна небольшая станция. Но сколько туннелей и поворотов мы еще должны сделать, чтобы добраться до нее. Станция то покажется впереди, то останется сзади, так как после каждого поворота в туннеле мы едем в противоположную сторону. Все это напоминает Швейцарию, но гораздо грандиознее. Дорога построена солидно, смело и красиво.

*14 июля 1943 г.* Приближаемся к советской границе. Еще день-два — и мы ступим на родную землю. Наш эшелон заканчивает свой путь.

В Бендер-Газе поезд остановился. Это порт в 20 километрах от Бендер-Шаха, где мы должны пересесть на советский пароход.

И вот мы в Бендер-Шахе, на пристани, в ожидании парохода до двух часов ночи. Так как пароход все еще не приходил, нам дали брезент, на котором мы и растянулись. Утром грузимся на довольно большое красивое судно. С волнением смотрим на красный флаг, развевающийся на корме.

Было как-то непривычно и странно плыть на пароходе, сверкающем огнями бесчисленных электрических лампочек. В Каспийском море не было вражеских подводных лодок, над ним не летали германские самолеты. Все это не походило на плаванье по Средиземному морю. Казалось, война уже кончилась.

Никто из нас не заснул в эту ночь. Волнение достигло предела. Позади остались годы пребывания в тюрьмах, концлагерях, годы, когда человек перестает быть самим собой. Впереди — новая и для многих из нас необычная жизнь.

Наступило утро, жаркое, влажное. Вдали показался низкий песчаный берег, на нем небольшие домики. Это Красноводск — конечный пункт нашего долгого пути. Пароход вошел в залив и пришвартовался у пристани. Сойдя на берег строем, по-военному, мы кричали «Ура!», пели «Интернационал» — необыкновенно радостно быть на родине, чувствовать ее.

В привокзальной столовой нас накормили сытным обедом, а затем разместили в прекрасном, большом, светлом здании школы. Наконец-то у нас были кровати с матрацами, с чистым постельным бельем.

Отсюда мы должны были разъехаться в разные концы великого Советского Союза. Я и теперь, спустя много лет, не могу без глубокого волнения вспомнить наше прибытие на родину.

* * *

Почти два года провел я в тюрьмах и концлагерях Франции и увидел, до какой степени фашизм, будь он германский, итальянский или французский, — тупое варварское орудие отмирающего класса. Он взывает ко всему скверному, что есть в человеке, он стремится превратить людей в бандитов и негодяев. Путем подачек, милостей, почестей он привлекает на свою сторону трусливых, жадных и жестоких людей. Реакционная буржуазия, используя фашизм как последнее орудие в борьбе за свое существование, хотела бы разложить народы ядом фашизма, увлечь их за собой в бездну, похоронить будущее человечества.

Когда я вспоминаю теперь о годах заключения в концлагере, я вижу, до какой степени всех нас спасала от отчаяния уверенность в том, что фашизм будет уничтожен, Советский Союз будет победителем. Не было ни минуты, когда бы эта уверенность ослабевала. Она сплачивала коллектив, вселяла в нас бодрость.

Вера в силу и окончательную победу Советского Союза была в нас так сильна, что мы заражали ею и других заключенных, не входивших в наш коллектив.

После прибытия на родину прошло много лет. Часть людей из эшелона погибла в боях с врагом. Другая, к счастью, большая, — честно трудится в городах Средней Азии, в Сибири, на Украине, в Молдавской ССР, в Москве и Польше. И в этом состоит главное в нашей сегодняшней жизни.

# Оглавление

**Александр Николаевич Рубакин**

# В водовороте событий

**12+**

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

# Наши проекты

**www.biblioclub.ru** – Университетская библиотека онлайн, электронная библиотека для вузов и ссузов

**www.lib.biblioclub.ru** – Библиотека NON-FICTION, онлайн-библиотека научной и познавательной литературы

**www.art.biblioclub.ru** – Арт-портал «Мировая художественная культура» и Арт-библиотека, интерактивная галерея произведений мирового искусства

**www.biblioschool.ru** – «Библиошкола» и «Читающая школа», онлайн-библиотека школьной образовательной литературы и книг для внеклассного чтения

**www.read-analytic.ru** — «Аналитик чтения», программа для оценки сложности текстов и читательских компетенций учащихся

**www.new-gi.ru** — «Новое поколение», интеллектуальный центр дистанционных технологий

**www.english-direct.ru** — Ресурсный центр изучения иностранных языков и курсы иностранного языка онлайн

**www.enc.biblioclub.ru** — «Энциклопедиум», сайт классических, академических и авторских энциклопедий и онлайн-справочников

**www.directacademia.ru** — «Директ-Академия», учебно-методический центр обучения цифровым технологиям в образовании

**www.lms.biblioclub.ru** — Центр профессионального онлайн-обучения «Электронные курсы». Платформа дистанционного обучения

